

Песня и жизнь

№2, 2008



№2, 2008

*Писма из России*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ,  
ИЗДАВАЕМЫЙ  
СЕРГЕЕМ ЯКОВЛЕВЫМ

при участии  
*Льва Аннинского,  
Андрея Битова,  
Михаила Кураева,  
Валентина Курбатова,  
Владимира Леоновича.*

Корреспонденты:  
*Роман Всеволодов (Санкт-Петербург),  
Елена Зайцева (Владивосток),  
Елена Романенко (Челябинск),  
Геннадий Сафронов (Иркутск),  
Виталий Тепикин (Кинешма),  
Светлана Тремасова (Саранск),  
Сергей Филатов (Бийск).*

Директор издательства  
*Леонид Слуцкий.*

ИЗДАЕТСЯ  
ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД

МОСКВА  
«Знак»



Журнал «Письма из России»  
выпускается на благотворительные  
пожертвования.  
Авторы и постоянные сотрудники  
денежного вознаграждения не  
получают.

Макет: Александр Архутик

Верстка: Марина Кузнецова

Корректор: Светлана Терещенкова

В оформлении использованы  
автографы Владимира Леоновича

При перепечатке ссылка на журнал  
«Письма из России» обязательна.

© С.А. Яковлев, 2008

Редактор-издатель не всегда разделяет  
убеждения и вкусы авторов.  
Слова «Бог» и «бог» сохраняются в  
авторском написании.

Рукописи и предложения принимаются  
в электронном виде по адресу:  
[sayakovlev@yandex.ru](mailto:syakovlev@yandex.ru)

Издательство «Знак»  
101000, Москва, а/я 648  
тел.: (095) 361-93-77  
e-mail: [znack1993@rambler.ru](mailto:znack1993@rambler.ru)

Отпечатано в ПЦ МЭИ,  
Москва, Красноказарменная ул., 13  
тираж 500 экз.  
заказ №

# Содержание

## ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- 5 **Валентин Курбатов**  
(Псков)  
И ПОЙДЕМ, И ПОЙДЕМ...

## ПЕРЕПИСКА РЕДАКТОРА

- 7 **Валерий Сердюченко**  
(Львов)  
МЫСЛИ «ПРИКАРПАТСКОГО ТУЗЕМЦА»

## ПОВЕСТЬ

- 27 **Александр Майоров**  
(Смоленская область)  
НОЧНЫЕ ДИАЛОГИ С МОЛЧАЛИВОЙ БАБОЧКОЙ  
Главы из романа

## ПРИМЕТЫ

- 39 **Сергей Филатов**  
(г. Бийск Алтайского края)  
РУССКИЕ СЕЗОНЫ  
Рассказы

## ПОЭЗИЯ

- 58 **Степан Ботиев**  
(с. Малые Дербеты, Калмыкия)  
ХЛЕБНИКОВО ПОЛЕ

## ПРЯМОЕ СЛОВО

- 68 **Владимир Леонович**  
(д. Илешево Костромской области)  
ИЗ КОСТРОМСКОГО ДНЕВНИКА

## ПРЕМЬЕРА

- 98 **Елена Борода**  
(Тамбов)  
ТРИ РАССКАЗА



## ПРОШУ ПРИНЯТЬ

- 126 **Николай Болдырев-Северский**  
(Челябинск)  
МЕЖДУ ЧАРОЙ СИЛЫ И ЧАРОЙ ДУХА

## ПРОСТЫЕ ПИСЬМА

- 146 **Валентина Ефтифеева**  
(с. Сrostки Бийского района Алтайского края)  
ЛЮБА БАЙКАЛОВА ИЗ СЕЛА СРОСТКИ

## ПРОКАЗЫ

- 150 **Валерий Ланин**  
(Курган)  
СТИХИРА
- 157 **Александр Шааранин**  
(Вологда)  
ЖЕЛЕЗНАЯ ЦЕПЬ СО СТРОГИМ ОШЕЙНИКОМ

## ПРИТЧА

- 171 **Федор Яковлев**  
(Иваново)  
БОМЖ-МАНЬЯК

## ПОСТСКРИПТУМ

- 179 **ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА**

Валентин Курбатов

## И пойдём, и пойдём...

Давно думаю, как бы хорошо нам поглядеть на матушку-литературу как на служение, на проповедь, как на церковь, чем она была да перестала быть. Очень этому разговору время.

Потому что, если мы не будем обманываться вместе с политиками (для кого обман и успокоение, усыпление народного беспокойства только профессия), а просто оглянемся в своей душе, семье, городе и мире со всей открытостью обыкновенного человеческого сердца, мы увидим своё одиночество и беззащитность, свою отдельность и отдалённость друг от друга. И догадаемся о глубине замечания одного умного христианского писателя, что раньше всякий город был как человеческая семья и живое единство, а сегодня каждый человек как разорённый город. Думаю, что и сами убеждающие нас в обратном политики наедине с собой чувствуют себя не лучше.

Церковь стоит твёрже, потому что у неё старая школа и тысячелетняя выучка служить в пехоте и знать, что «бой идёт не ради славы – ради жизни на земле». И жизни осмысленной, исполненной чести и красоты. Хотя и она живёт не в небесах, а с нами и в нас, и тоже не может миновать общих недугов, ибо её служители сделаны из того же человеческого и исторического материала, что и мы.

История миновавшего столетия с самого его начала, с эпохи несчастных войн и череды революций, на наших глазах совершила гибельную, но и, странно сказать, грозно вопрошающую работу. Мы извержены из уютной, теплой материнской утробы наследованного существования и естественного течения дней. Все корни оборваны, родословные деревья посечены. История исковеркана лукавыми разночтениями, потому что её толкователи давно озабочены не истиной, а приспособлением её к своим политическим целям. У нас уже нет прав даже на наше прекрасное прошлое. Мы его не заслужили. Нам только ещё предстоит стать достойными, чтобы оно вернулось к нам по праву, приняло нас в себя, как своих детей.

Мы помимо воли оказались перед опасностью недоверия ко всякой истории и разочарованы во всех социальных учениях. А в вере мы ещё только «экскурсионны» и только обживаем церковные стены, больше пока примерно изображая верующих, чем являясь ими в настоящей свидетельской глубине.

Так вот тут-то и можно говорить о вызовах нашего невесёлого времени. Нам выпадает счастливая возможность встать перед опасностью с открытым лицом.



Поневоле пришла пора каждому русскому человеку поглядеть в себя дальше той спасительной поверхности, которой мы обычно ограничиваемся, чтобы не ранить сердце опасной глубиной действительной жизни. Бог с нас не за поверхность спросит. Во всяком случае, спросит с русского писателя, который всегда проходил со своими героями до конца такие пути, каких сам порой по недостатку сил не мог бы пройти в собственной жизни.

И мы не по утренним новостям, как они ни мрачны, а именно по литературе, которая разворачивает каждую новость в полноту человеческой судьбы, знаем, как действительно страшна жизнь, как она уклончива, как деятельно пуста. На наших глазах она готова сдаться потреблению и уступить победительным «храмам» супермаркетов с их апсидами и башнями, с их алтарями рекламы и «иконами» молочных рек и кисельных берегов, машин и компьютеров.

Князь мира сего всегда умел облекать соблазны в нарядные платья гуманизма и прогресса, «инновационных технологий», «информационных пространств», «поликультурных проектов». За ним только смотри. Он готов отнять у Бога и обмирщить не одну литературу, а и всю жизнь нашу, лишив её тайны святости и простоты. Готов выдать нас государству, которое уверено, что оно ставит на довольствие и саму нашу совесть, освобождая от ответственности и понимания.

Но, слава Богу, ремесло писателя и великая традиция литературы не позволяют нам сдаться и по-прежнему учат стойкости перед устремлениями «подавляющего большинства» и зоркости в выборе между вечно нарядным грехом и бедным милосердием.

Лучшая литература (а есть, есть, конечно, и на глазах множащаяся, растленная и растлевающая худшая!) по-прежнему, как матушка-церковь, знает, что её дело не подолжаться ни к общественному мнению, ни даже к Богу, а оставаться с человеком, и снова и снова вставать с ним по утрам с простым знаменем и орудием молитвы «Отче наш», с которой всякий труд – Церковь. А труд писателя и вовсе, ибо он властен погубить или спасти душу.

Мир бросает нам вызов. Что ж, примем его со старинным русским мужеством, не ожидая скорых побед, не смущаясь тем, что каждый день надо начинать с начала. Любовь дело не прибыльное и не выигрышное. Она, по слову апостола, «долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Видите – одно «не, не, не...».

И потому остережёмся измерять даль предстоящего нам пути. А просто пойдём.

Как острожно переживаются, обнимаются душой  
через дальние русские пределы! Широка наша  
Сибирь-матушка! Повея от Павла до  
Иркутска доверие, повея от Красноярск до  
Кострома и от них до Москвы - чинит  
насть государства и переключится вверх. Но  
как живое русское сердце в себе удерживает  
и доверия и дружную сердцу не кто-то есть,  
то и удержит, это государство государство  
и адеи удержит, а сердце сразу услышит  
сердце, которое это бы в них один - и некая  
близость, некая близость и держит ему не  
указ, обнимаются и переживаются, держатся!

Спасибо, Сергей Ананьевич!

Д. Селевский  
из Павла - в Москву 30.10.04

Валерий Сердюченко

## Мысли «прикарпатского туземца»

*Для меня было большой радостью узнать о существовании в городе Львове серьёзного исследователя русской литературы XIX века, а при этом ещё и остроумного критика и яростного публициста. О научной ценности трудов Валерия Сердюченко пусть судят специалисты. Скажу только, что мне было интересно читать его книгу о Достоевском и Чернышевском, я нашел в ней много созвучного собственным размышлениям и, главное, насущного – да иначе о русской классике мыслить и писать невозможно. Но уже сам выбор темы, сочетание на первый взгляд несочетаемого убеждает меня в замечательной способности Валерия Леонидовича быть вне конъюнктуры, «моды» и доминирующих в умах представлений о должном, а при этом самому создавать эту «моду» в хорошем смысле слова. Таков он в выборе предмета научного исследования, таков же – неожиданный, парадоксальный и бесспорный – в роли критика современной русской литературы. Литературы во многом ослабленной, в чём-то свихнувшейся, остро нуждающейся в помощи хорошего лекаря.*

*Есть закономерность в том, что соискатель вот уже много лет является любимым автором лучших литературных журналов, издающихся в российских столицах; что он, проживающий ныне в силу рокового и, я бы сказал, весьма глупого стечения обстоятельств не просто в далёком отсюда городе, но в другой стране, представил свою работу на кафедру русской литературы Московского государственного университета.*

*Сергей Яковлев*

*(из выступления на защите докторской диссертации В. Л. Сердюченко).*

\* \* \*

Дорогой Сергей Ананьевич!

Вот, решил послать Вам свою новую коротенькую статью<sup>1</sup>, в которой Вас с удовольствием цитирую. Не откажитесь познакомиться с нею, она является развёрнутой метафорой этой Вашей цитаты...

Мы тут во Львове постепенно погружаемся почти в библейскую нищету и затворничество. Российская периодика перестала приходить совершенно, биб-

<sup>1</sup> Валерий Сердюченко. Дерусификация. – «Нева», 1997, № 4. (Здесь и далее примечания редактора-издателя.)



лиотеки позакрывались, потому что денег никому не платят, москальское телевидение отключили. Впрочем, царство божие внутри нас.

А почему Вы не черкнёте мне хотя бы пару строк, кто сейчас в «Новом мире» с кем и против кого, и принялись ли Вы за прозу, чтобы я заранее стал Вас рецензировать. Мне пришло в голову, что если бы Вам, Б. Екимову, П. Басинскому, ну и мне, никого не боящемуся в силу своего провинциального уединения, объединить свои усилия для «русификации» русской литературы, привлечь в этот благородный «Арзамас» других достойных, – мы бы «им» всыпали. Как сказал Л. Толстой, если плохие люди на всём земном шаре объединяются, то хорошие должны в конце концов сделать то же самое.

Также хочу прибавить к корпусу ваших афоризмов в «Страннике»<sup>2</sup> свой собственный, недавно пришедший в голову: «Кто писатель? Тот, кто презирает человечество, задыхаясь от сострадания к нему»...

Всегда Ваш В. Сердюченко.

13/V-97.

\* \* \*

*Дорогой Валерий Леонидович,*

*с огромным интересом прочел вашу статью и ещё раз испытал всегдашнюю к Вам симпатию, доходящую до абсурдного чувства духовного единства. Расхождения мелочны, не хочу на них останавливаться. (Впрочем, одно серьёзно, оно касается цитаты из меня: у меня там вопрос, а у Вас утверждение! Я протестую против такой трактовки. Это именно вопрос, и банальнейший. Чужой, не мой. И я в своем романе<sup>3</sup> даже не снисхожу до ответа на него!)*

*Вы пишете, это замечательно. Я – нет. В эту зиму и весну на меня сыпались несчастья и неприятности житейские, мелкие и крупные. Не оправдываюсь, ибо для меня самого не писать и есть самое большое из несчастий, но ссылаюсь.*

*Я с удовольствием войду в означенную Вами компанию, сочту за честь. Только, скажите, станет ли от этого чуть менее тошно жить в России? И чуть менее страшно? Если да, я готов. Если нет, то пусть уж лучше каждый сам по себе упирается. Очень больно нынче жить. Кажется, присутствуешь при последних часах общего издыхания. Нужен очистительный ветер, ураган. Их сметет, нас сметет (нас-то в первую очередь!), но что-то же и останется. Вот с таким ужасным, ужасным чувством я продолжаю путь. Посмотрим, что получится.*

*Благодарю Вас за письма, за память обо мне. Надеюсь в скором времени войти-таки в норму, если опять не стукнет, и попытаюсь Вам соответствовать...*

9 июня 1997 г.

\* \* \*

Дорогой Сергей Ананьевич!

Ваше письмо, датированное 6-м маем, получил только 24-го.

Да-а... На «Новый мир» плевать, он давно уже таковым не является, но мне Вас жалко. О случившемся уходе Залыгина я слышан, но мне как-то в голову не пришло, что эти василевские сразу примутся и за Ваше увольнение...

<sup>2</sup> «Странник (Литература. Искусство. Политика)» – журнал, издававшийся С.А. Яковлевым в 1991 – 1993 годах.

<sup>3</sup> Сергей Яковлев. Письмо из Солигалича в Оксфорд. Роман. – «Новый мир», 1995, № 5. В.Л. Сердюченко откликнулся на этот роман статьей «Чаадаев из Солигалича» («Нева», 1996, № 5), а впоследствии неоднократно ссылался на него в других статьях.

Могу поправить Ваше настроение тем, что мои дела тоже сделались несладки. В связи с достижением пенсионного возраста меня переизбрали лишь на один год и лишь на 0,75 доцентской ставки. Гипотетическим поплачком могла бы стать срочная защита докторской диссертации, но она должна быть предварена монографией по теме, а где я возьму денег на её издание, не говоря уже о безумных расходах на организацию самой защиты? Жена в связи с тем же пенсионным возрастом тоже может быть в любой момент уволена, и мы автоматически превращаемся из более-менее обеспеченных в двух нищих стариков с пенсией по 25 долларов каждому.

А Вы с супругой относительно молоды, Москва – единственный город в СНГ, где практически нет безработицы. Работает же Олег Павлов охранником в больнице?

Могу также утешить Вас тем, что в нашей университетской конторе творится примерно то же самое, что и в вашей.

Беспредел, хватать мешки вокзал уходит, кража и продажа ставок, должностей, званий, вакансий – ну как, поправил я Вам хоть немного настроение?

Вы написали, однако, что покамест остаётся в своем кабинете. Если бы и к получению этого письма это было так, то я на Вашем месте немедленно врезал бы в дверь новые замки, забрал домой компьютер и вообще унёс бы из редакции всё, что попадётся под руку, потому что через пару месяцев вместо Вас это начнут делать другие, а Роднянскую<sup>4</sup> просто выкинут из окна, чтоб не болталась под ногами. Я так понял из Вашего письма, что в Вашем нынешнем кубле единственный боец Василевский<sup>5</sup>. Вот с ним бы я и стал биться, причём в буквальном, физическом смысле, он оторопее, а в милиции звонить не станет, а если и станет, то и пусть – что он будет говорить в телефон? Что его бьёт по морде и посылает на хуй его же сослуживец? Милиция сейчас вообще на звонки не реагирует. Да ещё из какой-то «редакции». Костырко<sup>6</sup> – тот в драку не полезет, кишка не та, и, следовательно, за Василевского никто не будет заступаться.

В. Сердюченко, Чаадаев из Солгалыча 193

чая в виде благотворительного гранта подающего в самый разгар перестроечного смещения умов на противоположный конец Европы, в цитадель несоветского порядка и спокойствия, тихий университетский Оксфорд. Неожиданная сюжетно-психологическая коалиция, не так ли? Тем более неожиданная, что наш герой, как выясняется, «чужой среди своих» в среде завсегдатаев демократических клубов и мэддотельвишнев, урожденных во самоздате. Они требуют рыночных реформ, прав личности, свободы духа, возвращения буквы «ят» в русский алфавит, ему нужно нечто иное: другой жизни. Потому что то, как он существовал до сих пор, назвать жизнью невозможно. В заботах о судьбах отечества и человечества он не удостоился обустроить свой собственной. Не построен дом, не посажено дерево, не выращен ребенок, нег ни кола ни двора до такой буквальной степени, что они с женой ютятся на подомковной даче бывшего приятеля, откуда их так же выжидают в конце концов более выгодные съёмщики. Перед нами, собственно говоря, соригинальный интеллектуальный божок, который заслуживал бы в таком качестве истинского презрения, если бы не говорил и не писал обо всем этом с отчаянием самоубийцы. И не был в каждой строке своего «Письма» столь искренен, пронизателен и талантлив.

В Оксфорде ему открывается некая фундаментальная и прозаическая истина. А лишь тот человек и тот народ имеют право на духовное времяпрепровождение, кто изо дня в день, из поколения в поколение с упорством муравья отвоевывает у хаоса окружающего бытия квадратуру цивилизованного быта. Духовная культура, создаваемая за покоившимися столами в стенах со свисающими обоями под шум вечно неиспранного бачка в туалете, утеряна, потому что в ней не закоренилось главное: физического самоуважения личности. С умалчением неопита оксфордский стипендиат вкладывается в жилища, домашние интерьеры, вечное окружение своих новых знакомых, таких же гуманитариев, как он сам, — Боже, в какой бесшабашной, первашиевой, наспех сколоченной действительности пребывает его московские друзья, эти чеховские Пети Трофимовы, завсегдатаи с вечно растегнутой ширинкой! Почему из одного и того же пса, дерева и камня в Англии создавали одно,

а его соотечественники совсем другое, неужели они способны создать нечто надежное, утверждённое на камне, только из-под Петровской или сталинской палки; но уходит жестокое прорабы, и горе-строители вновь разбредаются кто куда, в привычные нищенские пределы.

«Значит, один народ из поколения в поколение с терпением и верой возводил из камней дивный храм, олицетворял туманный мир вокруг себя от пыли, мусора и шумами, чтобы увидеть его озаренным божественным смыслом; другой же бездумно опустошил, загадил и в конце концов отверг большую болящую страну, а теперь ходит по миру с протянутой рукой, сторая от завистливых благополючных соседей».

Измученный этими «русскими вопросами», следящий комплексом собственной и национальной неполноценности, наш герой додумывается до вполне безумной затеи, ритуального жеста: во время посещения королевой их университетского города вынести на своем балконе плакат «Your majesty, save the Russia», а затем греснуться головой об оксфордские камни на глазах у изумленной сити и самой Her Majesty.

Вместо этого, пережив подобие духовной революции, он возвращается на родину. И убеждается лишь в том, что его жизненная карта бита бесповоротно и окончательно. Друзья исчезли, растерялись в постперестроечной сити: кто нырял в услужение новым властям или «новым русским», кто поддался за границу, иные же просто канули в волны житейского моря. Его горько любящие жена, мать, сестра выжат вилочные нищенское существование. Попытки вернуться к литературной деятельности кончатся ничем, потому что вчерашние издатели, редакторы, читатели сами рыщут в поисках золотого тельца, а то и просто куска хлеба. Его поэзия, иные словесами говоря, здесь больше не нужна, да он и сам, пожалуй, не нужен.

Но остается соломинка. Да-то, в чухломских глубинах России, есть город с платящимся названием Солгалыча, а в нем шагающийся дом, оставленный ему в наследство покойной теткой. Туа-то наш герой, вооруженный конштоком Оксфорда и жалкой суммой фунтов стерлингов, и отправляется. Он ренил — внимание всем утеряющим! — *стремительно* свое устье наследства, превратить его в Дом, стоящий на камне. Тем из ответственных гуманитариев, кто не вына еще в марксистский андерборг ро-

<sup>4</sup> Роднянская И.Б. – в ту пору редактор отдела критики журнала «Новый мир».

<sup>5</sup> Василевский А.В. – в ту пору и.о. главного редактора журнала «Новый мир».

<sup>6</sup> Костырко С.П. – сотрудник «Нового мира».

Сергей Ананьевич, умоляю, не отдавайте кабинета! Устройте круглосуточный пикет на рабочем месте, деритесь – они элементарно опизденеют от такого поворота, они же чернильные.

А я бы, если бы имел ночной доступ, дал сто факсов во все стороны, что помещение «Нового мира» захвачено бандой заговорщиков. Скандал всегда нужно доводить до психологической невыносимости, а Вы, извините, изящным слогом описываете «Дорогу в зазеркалье».

Я бы, конечно, поддержал Вас фельетонным словом, но его сначала нужно написать, а потом разослать, а потом ждать – ну и что, что «они» будут опозорены, если Вас перед тем с работы выставят?

Так что, увы, в настоящий момент могу поддержать Вас только советом. Поверьте моему *личному* опыту, я однажды удержался на работе только потому, что стал лупить начальника и его жену и пригрозил, что буду бить их, пока не убьют меня самого. Да по-другому сейчас никто и не поступает в ситуации, подобной Вашей!

Но всё это, конечно, ужасно.

23/V-98

\* \* \*

Дорогой Сергей Ананьевич!

Прихожу домой с работы, а жена: «Звонил Сергей Ананьевич и сказал, читайте чем быстрее «Независимую газету», там про меня написано»<sup>7</sup>. Ну, Вы даёте, Сергей Ананьевич! Упрекаете меня в забывчивости, а сами никак не можете взять в толк, что на Западную Украину вообще не поступает никакой москальской периодики и что моя осведомлённость в российской общественно-литературной жизни зиждется на каторжном преодолении невозможного...

Я ждал от Вас:

во-первых, сообщения об окончательной судьбе собственной статьи;

во-вторых, сообщения об окончательной судьбе собственной статьи...

А Вы, как тот Гоголь: «Ой, этот Сердюченко еще не так здорово понимает про мою гениальность, чтобы не обременять меня своими дурацкими заботами».

Дорогой Сергей Ананьевич, Вы в моей жизни, как и я в Вашей, занимаем тридцать пятое место. Когда я хочу, чтобы кто-нибудь стал моим Личардой верным, я для начала делаю его Личардой верным. Таков закон человеческих отношений, и иначе не бывает, а Вы согласны? Мне один шизанутый богачей долларами платил за то, чтобы я ежедневно доказывал ему, какой он весь из себя неповторимый и оригинальный. Я считаю Вас гениальным писателем, да дело в том, что я себя считаю не менее гениальным критиком. Вам кажется, что центр Вселенной – это Вы, а мне и любому другому кажется, что центр Вселенной – он. Впрочем, именно мне так не кажется. Всякого страдающего гоголевскими заёбами я бы отправлял в арестантские роты и содержал бы там, пока сей не сообщит, что он... Впрочем, вот Вам выдержка из моей очередной (разумеется же гениальной) статьи:

Берётся любой, слишком много о себе понимающий, и начинает избиваться. Какою будет реакция избиваемого?

«Как это? Меня? Но это невозможно! Я особенный! Прочь от моих чресел, гнусные недоумки, эти чресла божественны!»

<sup>7</sup> Письмо С.А. Яковлева о перевороте в журнале «Новый мир», публикация которого стала возможна только спустя полтора года после известных событий. См.: «Независимая газета» № 189 от 9.10.1999 г.

Но гнусные недоумки продолжают молотить божественного палками.

Тот требует немедленно сообщить о преступном недоразумении в ЮНЕСКО, Кремль, Лигу правозащитников, Академию Лазурных гор – тщетно. Избиение усиливается, и неповторимый выдавливает:

– Хорошо, презираю, но уступаю. Согласен именовать вас не гнусными недоумками, а всего лишь презренными негодяями. А сейчас дорогу мне, вот вам пара регалий с моего наряда – и мне пора, меня ждут на сцене, на трибуне, на конгрессе Гениев и Талантов.

Ноль внимания. Никаких регалий здесь никому не нужно и никаких Кремлей никто не боится. Град палок.

– Ай! Ой! Согласен не называться впредь Чайльд-Гарольдом! А быть им только молча!

Сто порций палок.

– Хорошо, я и в самом деле не Чайльд-Гарольд! Не Наполеон, не Жорж Занд и не надежда нации! Мне больно, мамочка!

Сто ударов.

– Я по-оня-ал!..

Что же он понял, спрашивается? Он понял (нужно надеяться), что он такой, как все. Комбинация психофизических рефлексов, мыслящий тростник.

– Так кто ты?

– Не бейте. Я мыслящий тростник.

Так вот я и говорю. Полюби ты меня, как самого себя, а тогда я тебя тоже полюблю, как самого себя.

Не сердитесь за эту дружескую выволочку, Вы всё равно мне дороже очень многих в этом мире, который я скоро покину. Крепко жму руку

... и сажусь за статью о «Новом мире». Это будет не фельетон, но скорее скорбное отпевание последней скрижали русской литературы...

25.10.99

P.S. Только что выловил из Интернета первую сетевую версию «Нового мира», творение рук Костырко. Они там все морды свои фотографические повывставляли, с указанием всех своих биографических данных, и только что домашних телефонов с адресами не дали! Во идиоты, а?

\*\*\*

*Дорогой и многоуважаемый Валерий Леонидович!*

*Знали бы Вы, как горько я был уязвлен известием, что мне отведено в Вашем сердце лишь 35-е место. Я-то твердо рассчитывал на 34-е!*

## КАДРОВЫЙ ВОПРОС В «НОВОМ МИРЕ»

Уважаемый Виталий Товисвич!  
В № 165 «Независимой газеты» от 07.09.99 напечатана беседа Марии Ремизовой с главным редактором журнала «Новый мир» А.В. Василевским. Оглавлена она «Золотая середина», и в ней Василевский излагает свое кредо: «Надо каждый день бить лапками».

Отдавая должное присущему Вашей газете юмору, опасаясь, однако, что в данном случае ирония будет замечена не всеми читателями. А вот рассуждения о том, что нынешний «Новый мир» – это журнал «литературного мейнстрима», «наиболее универсальный», что он печатает «большие книги больших современных писателей» и дает новым талантам «наилучший сегодня шанс заявить о себе», и особенно заверения Василевского, что он является хранителем «75-летних традиций» «Нового мира», – это может быть воспринято всерьез.

Фактически Василевский пришел к власти в журнале «Новый мир» в результате переворота. Этому предшествовала откровенная травля прежнего главного редактора, известного писателя Сергея Залыгина: анонимные звонки и письма с угрозами в его адрес, шантаж, другие хулиганские выходы. После ухода Залыгина журналистский коллектив «Нового мира» не проголосовал за Василевского, оказавшегося единственным претендентом на кресло главного редактора. Возглавляемая им инициативная группа слезно упростила коллег назначить Василевского исполняющим обязанности главного редактора сроком на один год. При этом было грубо нарушен действующий Устав АОЗТ «Релакция журнала «Новый мир». Через год никаких переизборов, конечно, не последовало. Аббревиатуру «и.о.» Василевский снял с обложки журнала задолго до истечения срока своих временных полномочий. Эту заданную облегчил обвал добровольных

что нынешний «Новый мир» – это лучшее, что может явить наша литература, а Василевский – законный наследник славных традиций журнала.

С надеждой на понимание,

**СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ,**  
ПРОЗАИК, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ,  
В 1994–1998 ГОДАХ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА  
«НОВЫЙ МИР»  
Москва

ОТ «НГ»

Воспроизводим письмо С.Яковлева. Мнение противоположной стороны, если такое последует, будет доведено до сведения читателей газеты. ■

## ТУПИК

Я живу в подъезде дома, в котором никогда не будет консьержки, как не будет домофона, за установку которого большая часть жильцов платить отказалась. И такой подъезд не единственный.

Читатель подумает, будто я подвожу его к мысли, что мой дом ограничился и довольствуется отлаженным регулярным дежурством всех жильцов у своих подъездов. Ничуть не бывало. Такого дежурства у нас нет, и организовать его мы не можем. Несмотря на самодеятельные объявления и собрания, на укеры, адресованные тем, кто не откликается на призывы, подавляющая часть жителей под разными предлогами от дежурства отказывается.

Эту глущу равнодушия и нескрываемых намерений спрятаться за спины более совестливых соседей (одновременно посмеиваясь над ними) своими силами не сдвинуть. Необходима реальная пролупанная во всех деталях, психологически обоснованная организующая власть всех уровней.

Фактически власти говорят: «Мы не можем справиться с проблемой, но признаться в этом не хотим». Поэтому – сами! А «сами» – не получается. В этом и состоит тупик. ■



*И однако же я звонил Вам три раза (имея в виду исключительно Ваши, не мои интересы), и все три раза не находил Вас дома...*

*Повторяю то, что передавал по телефону: Ваша статья завёрстана в журнал<sup>8</sup>, скоро выйдет, и если не хотите испортить отношения с журналом (и со мной) – никуда её больше не давайте, а если отдали, заберите назад. Перспективы у Вас здесь широкие: не говоря уже о публицистике, которую я продолжаю от Вас ждать, есть мысль отдать Вам целиком на откуп народившийся в журнале с Вашим появлением отдел критики – под рубрикой «Скрип пера». Так что скрипите и рассказывайте нам о скрипящих!*

*Посылаю то, что может заинтересовать Вас (не меня). Мой интерес лишь в том, чтобы Вы не писали неправды обо мне (лучше ничего, чем неправду), а что Вы напишете про Ельцина, его охранника, тестя его охранника и копающуюся у последнего на огороде Б., мне совершенно безразлично. Уже невмозготу торчать там, где «дерьмо летает», по выражению одного нашего бравого генерала. Удаляюсь в иные пределы. Хотя бы мысленно. Это моё оберегаемое международными конвенциями право...*

12.11.99 г.

\* \* \*

*Дорогой Валерий Леонидович!*

*Вчера, когда ходил на почту отправлять Вам большое письмо (дорого, чёрт!), случилось нечто, заставившее меня продолжить разговор с Вами.*

*Это нечто была лужа у дверей. Кто-то, воспользовавшись сумеречным временем до включения на лестнице света, нассал на площадке в тёмном углу.*

*Пришлось взять ведро, мыльного порошку, хлорки и убрать всё это.*

*И тут мне пришла в голову запоздалая – не метафора, а отчётливое тождество – мысль. У меня был журнал «Новый мир». Это был мой журнал. А кто-то поглумился и в него нассал. Да так, что уже и не убрать.*

*Сейчас ведь глумление вышло у нас на первое место в ряду средств достижения успеха. Чуть кто прилюдно проворовался или убил кого – тотчас выдвигает свою кандидатуру. Первое в сочетании со вторым обеспечивает гарантированную победу.*

*Когда Р. по зову Залыгина только пришла в журнал, я уже там работал. Хотите моё первое впечатление от неё?*

*У неё не было тогда ни кабинета, ни стола, посадили её на табуретке. Посидев, она вдруг ворвалась к нам в отдел публицистики и заявила сидевшему рядом со мной редактору (с которым давно была знакома), что у неё пропала сумочка. Заявила громко, с оскорблённым видом и выкатив на нас бесстыжие глаза.*

*Что за несчастный русский человек, Вы знаете, читали, наверно, у Мережковского. Когда при мне воры кричат «держи вора!» (а они, надо заметить, существа с крепкими нервами и всегда так кричат) – я краснею. Покраснел и в тот раз.*

*Сумочка вскоре нашлась у Р. же под табуреткой, и дело не в ней, как Вы понимаете. Дело в знакомстве.*

*Когда я пришёл в «Новый мир» во второй раз, я уже знал, что от этой стаи можно ждать всего. И поэтому не стеснялся съпать хлоркой. О таких как Костырко и Василевский я бы просто не упоминал...*

*А тут являетесь Вы со своим: «А что имел в виду многоуважаемый Костырко, когда написал в своей статье то-то и то-то?...». Конечно, во Львове мы для Вас все равны...*

<sup>8</sup> Российский исторический журнал «Родина», где С.А. Яковлев в это время работал редактором отдела публицистики.

Дорогой Валерий Леонидович! Я могу Вас понять и сочувствую Вам. Но Вы, по моему, ни черта не поняли ни во мне (хоть и писали про мой роман, за что я остаюсь Вам благодарным), ни в том, что на самом деле произошло в «Новом мире».

Вы ждали от меня победы над такими? Вы надеялись на адекватное глумление и паскудство с моей стороны? В литературе я могу сколько угодно злословить про своего героя и его близких, воображая себе невероятные гадости про всех. Но в жизни я не позволю ни Р., ни Костырьке, ни даже

Вам хоть пальцем тронуть меня, или мою жену, или кого бы то ни было, кто мне дорог. В жизни я, простите, больше похож на мои статьи, чем на мои же романы. Я ригорист. Когда учился в мореходке, давал в зубы всем, кто глядел на меня косо. Краснея, мучаясь сомнениями, но – давал. Получили от меня и новомирские подонки. В глазах приличных людей им уже не отмыться, а что до «победы» – я уже показал Вам, как и кем она нынче достигается. Думаю, они побеждают ненадолго.

Свое «35-е место» оставляю на Вашей совести. Надеюсь, оно всё-таки не связано с переменой моего мундира, и если так – вполне им доволен.

Позвольте под конец ещё упрек Вам: Вы очень неряшливо цитируете, над Вашей статьёй для «Родины» я долго страдал в библиотеке, поправляя её по источникам. В следующий раз постарайтесь не цитировать по памяти ничего, даже Пушкина.

Ваша статья понравилась Аннинскому. Он-то и помог мне её удержать. Постарайтесь всерьёз обдумать наши к Вам предложения – Вы можете иметь здесь постоянный обзорательский кусок (только предметы придётся разнообразить, выбирая всякий раз общественно значимые).

Будьте здоровы! Не как я нынче, скользящий.

14.11.99 г.

\* \* \*

Дорогой Сергей Ананьевич!

Шлю Вам рабочий вариант статьи. На данный момент мне неизвестны две вещи, которые хорошо легли бы в очерк:

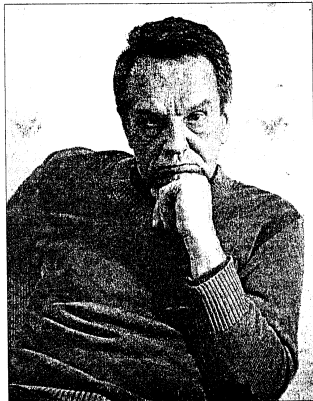
– Как называется зарубежная фирма, которая кинула вас с подпиской?

– В каком номере «НМ» опубликована (если вообще опубликована) повесть С. Зальгина «После инфаркта»?

Не обращайте внимания на то, что Ваша личная «новомирская» голофа не нашла в очерке никакого отражения. Я объясню. Василевский грозит Вам очередным судом за Ваше очередное разоблачение в «Независимой газете». Но он же в своем предпоследнем (№ 10) «Периодическом обзоре» защитил меня

каменяр №4,5 квітень-травень 2001р.

## Валерий Сердюченко: “Интернет подарував мені ще одну біографію”



“Видно, що” “тіпного лаяв’янина” можна лише в Мерекі. Вадите у відео пошуку завантажте “Сердюченко”, і цей інформаційний монстр невідомо як знає вам сотню сердюченочек. Так ми і “знайшлися”: я “знав-лиа” йому сайне прохання про інтер’ю, і він таки залишив на годинку свій “черстват”. Але чому я обрав саме Валерія Леонидовича СЕРДЮЧЕНКА?

Доцент кафедри російської філології, він користується загальноуніверситетською популярністю і як бізнесовий лектор, і як автор гострих контрвоєнних публікацій, але переважно – як консультант творчої студентської молоді у справах літературного Інтернету. Незадовго доцент Сердюченко знімаював перший в Україні студентський семінар з проблем літератури в Мерекі. Зустріч викликала зацікавлення не тільки в Університеті. У нього тріш було не хочати.

– Пане Сердюченко, не припад-но у Вашому семінарі будуть участь студенти з інших країн?

– Так, і т. Мою пошаною виступа-ють іноземці, але тільки з іншою с. в.

– Неймовірно. Ви стаєте читачем

Александрійської бібліотеки, скля-чи вдома. У Інтернеті є все. Сьогодні

кожен поважний вчений має в мере-жі власну веб-сторінку.

Rambler, Yandex. Так ви отримуєте

сповіданий віртуальний паспорт.

Багато також є сайти коротку про-

фесійну біографію: фактові інтереси,

досягнення, публікації. На Заході це

знайомство Citisearch vitae і є не-

від єдиного елементом Ділового спіл-

кування.

– Але чи “потієне” це все сту-

дентська кіншкі?

– Не студентське ціння (і на не-

шесті програвіра), такі послуги

контактую у Львові відносно недо-

роко. Однак, цей інформаційні аспекти

можна розраховувати в українсько-

му Інтернеті?

– Перший українськомовний кон-

курс, який створили «Постітас», по-

блица переважає тільки по 300

грн. Потрачуйте це з багатознач-

ними дисциплінами преміями «Мере-

жевого Діоно» чи «Російської Аме-

рикан» і ви зрозумієте ситуацію. На

жаль, літературні Мерекі поки що

за місяць українського культурно-го

об’єкту. Тому найкращий украї-нський мити Ю. Андрухович та ін-

ші) замулені публіки визнання на

... ..

от нападок какого-то Кациса из «Нового литературного обозрения». Гм. Короче говоря, Василевского я представил в очерке таким образом, что он-де единственный, кого жалко. Там посмотрим. Я вполне допускаю, что он ещё попросит у Вас прощения, когда окончательно запутается с журналом.

Говорил ли я Вам, что получил от Роднянской целую диссертацию с оскорблениями и обвинениями в подлости? Я пожаловался на них с Костырко гл. редактору, а хитро...й Костырко припрятал мой e-mail и подбил старуху на воинственные разоблачения. Как они все карикатурны, однако.

Отдельное и самое главное спасибо – за Ваши ходатайства перед Львом Аннинским и начальством. Рубрика «Скрип пера» – предел моих мечтаний. Жаль, что я познакомился, и то лишь по диагонали, с единственным номером вашего журнала. Но надеюсь со второго-третьего шага попасть в тон. Торжественно уверяю, что статью, которую Вы пробили к печати, я больше нигде не посылал.

Третье спасибо – и извинение – за то, что заставил покорпеть Вас в Ленинке. Но я «віддячусь»!

27.11.99

*P.S.* Через неделю у меня на 2-м курсе очередное обсуждение Вашего «Письма из Солигалича в Оксфорд». В следующем номере «Вопросов литературы» я ставлю Вас и Б. Екимова единственными настоящими русскими писателями XX века. Дай Бог, чтобы не выкинули этого завершающего абзаца.

*P.P.S.* Белинский: «Многолетнее общение с российскими литераторами заставляет меня признать, что абсолютное их большинство были решительно гнусны как личности».

«На переломе 80-х – 90-х годов в журнале возобладали коммуноборческие настроения. Образовалась внутренняя оппозиция, начались распри и выяснение отношений. Второй редакционный эшелон, становясь первым, желал неперемного участия в «процессах». Журнал заполнили многодумные диссертации о «Вехах», неохристианстве, красно-коричневой опасности и т.д. Редующий читатель недоумевал – реформаторы были готовы обходиться вообще без такого старорежимного читателя. Ну его, соцреалиста стоеросового, от него только помеха говорению и писанию либеральных слов. На четвёртом этаже заседал штабной актив, изготавливающий манифесты и меморандумы. «Антисемитизм не пройдёт!» – раздавалось сверху. «Обскурантист, покаяйся! Егору Гайдару и отцу Кочеткову слава!» – звучало с публицистических страниц. Время от времени престарелый главный редактор появлялся в редакции, изумлённо созерцал происходящее и вновь надолго исчезал в своем подмосковном дачном укрышке. Про художественную литературу было забыто. Печатали что угодно, лишь бы не советское...

Все окончательно запуталось и смешалось в головах у поборников демократии – коммунофашизм, платёжные ведомости, Егор Гайдар, «они не пройдут!», арендные у.е. – типичное состояние либерального интеллигента времен буржуазно-демократических революций...

В № 9 журнала за 1999 год напечатан рассказ Сергея Зальгина «После инфаркта». Он автобиографичен. Бывший главный редактор выдал в нём своим многолетним мучителям по полной программе. Появление разоблачительной повести на страницах разоблачаемого издания – нонсенс, одна из загадок

нынешнего «Нового мира». Подозреваем, что в основе этого qui pro quo лежит элементарное разгильдяйство и накопившееся равнодушие ко всему, что не есть клич «дают зарплату!»...»

(Из статьи Валерия Сердюченко «Что происходит с «Новым миром»?»)»

Дорогой Сергей Ананьевич!

Выслал вам очередную материал, с кистриком приложил. Я хочу использовать вас как стилиста и архаиватора. Вы обладатель уникального досье по «Новому миру» — это вам в добавление. Но главное — я отослал первый экземпляр П. Басинскому на дом для «Лит. газеты», а сей час беспокоюсь: работает ли он ещё там, и дойдёт ли письмо, и правильно ли у меня адрес, и ответит ли он, и т.д.

Сергей Ананьевич, не в службу, а в дружбу: позвоните через неделю Басинскому и спросите, дошла ли до него моя статья и что он о ней думает. Ах, как бы я хотел, чтобы она появилась.

Продолжаю ожидать исправленного и утолщённого варианта моей статьи о «Новом мире». Каждое утро заглядываю в почтовый ящик.

Когда мне прийдёт своё дневное письмо Людмила Михайловна?

Будьте благополучны.

10.12.99

Ваш Валерий Сердюченко.

\*\*\*

Дорогой Валерий Леонидович!

Достал Ваш очерк из почтового ящика по дороге на работу, открыл конверт в метро — и всю дорогу покатывался со смеху! Можете себе представить, с каким хмурым изумлением смотрели на меня подземные жертвы капитализма, не улыбающиеся уже лет двадцать! Беру все свои слова назад. Отныне Вы первый в моем сердце, а также первый писатель-юморист России! (Про Украину ничего не знаю.) Вы — законодатель стиля на предстоящие полтора столетия!

*Где Вы это напечатаете? Впрочем, молчите, чтобы не сглазить. Я гордился бы таким приобретением для «Родины», но очень уж всё близко. Нас с Вами сразу декодируют и чем-нибудь пользуют.*

*Нисколько не обижен, что обошли в очерке мою историю (и даже предложу Вам сейчас ещё сократить), что же касается Василевского – Ваши чувства к нему понятны...*

*Вы блистательный профицатель. Думаю, что многое Вы написали, опираясь исключительно на свою интуицию, и это правильно. Если этого и нет, так будет...*

*А я сейчас засел за историю по новомирским дневникам. Получается целая книга! Тоже весёленькая, но без Вашего перца.*

*Жду текстов для «Родины»!*

*8 декабря 1999 г.*

*См. поправки: много неточностей!*

*\* \* \**

*Дорогой Сергей Ананьевич!*

*Ну, как мы их! А сейчас я занимаюсь изгнанием Костырки из Интернета. Я из него сделал там горохового шута, и над ним уже потешаются в интернетовских романах. Над «Новым миром» тоже. Будут знать, как со мной связываться. Почитайте также в «Неве» мои «100 писателей и 38 критиков». Там достаётся Роднянской и Костырке. А в августовском номере «Вопросов литературы» читайте про себя самого.*

*Что до неточностей в статье про «Новый мир», то я хорошо помню, что переделывал тот абзац, где про Вас написано. В смысле времени, когда Вам настучали по голове. Могу поправить Вам настроение: мне тоже настучали на пороге собственного дома за статью «Русские во Львове», которую напечатал бостонский веб-альманах «Лебедь», а потом её бандитским образом перепечатал наш львовский «Поступ», не поставив меня в известность об этом, чтобы не платить гонорару. Но вообще-то побойтесь Бога, Сергей Ананьевич. Я, можно сказать, из-за Вас испортил отношения с самым денежным журналом России, а Вам не нравится, что там какая-то запятая про Вас неправильно поставлена...*

*Почему Вы мне не выслали тот номер «Родины», где напечатана «Интеллигенция и власть»? Да напечатана ли она вообще? И какова судьба «Emigration»? Ответы на все эти вопросы для меня жизненно важны, потому что с нового учебного года я буду получать всего 20 долларов зарплаты. (Между прочим, эти две статьи в «Дне литературы» я тоже обнаружил благодаря Интернету. Редакция об их публикации ничего мне не сообщила – и тоже чтобы не платить гонорара.)*

*Привет Аннинскому. Я его славлю где только можно. А Пашке Басинскому, который не удосужился ответить ни на одно из трёх (!) моих писем, пусть будет стыдно.*

*Крепко жму руку, отвечайте сразу несчастному, нищему и старому, да ещё и побитому...*

*\* \* \**

*Содержание двух последних наших телефонных разговоров так меня разволновало, что я изъясил письмо, Вам написанное, чтобы заменить его вот этим:*

*Сергей Ананьевич, дорогой!*

*Ну, во-первых, если бы я был Вы, я немедленно сообщил бы автору, что присланная им статья не может быть напечатана. Это элементарная культура деловых обязанностей и отношений. Поразительно все вы, москвичи, эгоистичны.*

Во-вторых – это снова во-первых. Я, например, отвечаю на любое письмо в тот же день, как оно было получено. Посудите сами. Получи я от Вас оперативное «да» или «нет», я бы сразу начал пристраивать материал в другие редакции. Да неужели так трудно было сообщить мне по «емейлу» об отказе? Ведь пяти минут это стоило бы для Вас потерянного времени!

Ну да ладно.

Два слова о Солженицыне. Я не успел как следует в телефонном разговоре сообразить, дорожите ли Вы им как спасителем России или как полезным для вашей редакции человеком. Второе я понял бы абсолютно, а первое меня насмешило бы. Этот хитрец стремится удержаться в обойме во что бы то ни стало и продает свой лейбл кому угодно, вплоть до «Плейбоя». Вы что, не знаете о его тамошней публикации? Опять-таки, если бы я был Вы, я позвонил бы в его секретариат и сказал бы такое: «Александр Исаевич, тут у меня лежит на моем редакторском столе кошмарный материал про вас, так вы посоветуйте, выкидывать ли его в мусорную корзину, или дать ему ход». Гарантирую, что Вы оказались бы неожиданным обладателем \$500.

Я этого Солженицына на семь метров под землей вычислил. Когда венгры опубликовали мою статью о нем и снабдили эту статью компроматом из фотоархивов ЦРУ, то мне позвонил кто-то, представившийся его литсекретарем, и единственное, что его интересовало, так это откуда я заполучил эти злополучные фотографии...

Теперь о статье про «Новый мир». Ах, Сергей Ананьевич, даже если она в «Литературной газете» не появится, неужели Вы думаете, что Гуцин и Щербаков удержатся от соблазна размножить её в десятке-другом экземпляров для хихиканья в узком кругу, а потом её не затолкает в Интернет какой-нибудь обиженный «Новым миром» графоман? Ведь моя венгерская статья про Солженицына висит уже на десятке интернетовских сайтов...

Итак, Вы пишете фельетон о нынешних насельниках «Нового мира», но каждый персонаж превращается в демонический образ. О! Вы наделены уникальной способностью мыслить образами. Таких, как я, множество, таких, как Вы, единицы. Я уже готовлюсь поднять рекламный шум вокруг вашего будущего романа, если не помру к тому времени от старости и злости.

Уф, устал от этих темпераментных сетований. Но вы всё-таки подумайте над ними, дорогой Сергей Ананьевич. Жизнь выигрывают те, кто роется в её знаменателях, а не числителях, знаменатели же таковы, что цель оправдывает средства.

\* \* \*

*Хотел дождаться обещанного мне из Питера № 1 «Невы», чтобы поглядеть, что же написали там Вы и обменяться впечатлениями, но, получив сегодня Ваше гневное послание, отвечаю немедленно.*

*Да, у меня туго с ответами на письма. Я вообще пишу гораздо труднее и меньше, чем Вы. Для письма мне нужно примерно столько же собираться, сколько для повести или большой статьи. У каждого свои недостатки. Я, по крайней мере, не способен через несколько лет знакомства обозвать Вас... ну хотя бы Иваном Леонидовичем<sup>9</sup>. Да ещё в тексте, предназначенном для широкой публики. А Вы вот весь в этом: сколь плодовиты, столь и небрежны.*

*Отвечаю насчёт Солженицына: критически взирая следом за Вами на его художественное дарование (за исключением нескольких всем известных шедевров), я не могу, однако, не уважать его судьбу. Я вообще уважаю протестантов и ненавижу конформистов,*

<sup>9</sup> В одной из статей В.Л. Сердюченко была допущена в отношении Яковлева подобная оплошность.

Валерий Леонидович. Сам насквозь протестант и духобор. И его переживания в эмиграции мне тоже близки и понятны.

Вам они тоже понятны, но Вы сочиняете из этого комикс. Вы умеете быть патриотом (чего?) и работать по заказу. Я не умею.

Лично я не могу похвалиться вниманием ко мне Солженицына. Не знаком и со слухами, на которые Вы намекаете. Мое отношение к нему – взгляд простого среднерусского обывателя. На мой взгляд, он (пока) вёл себя достойно. Этого достаточно, чтобы не поливать человека. Достойных у нас очень мало. Я не журналист, не Доренко какой-нибудь, чтобы «мочить» направо и налево.

Эмиграция наша достойна сожаления и осмеяния. Но не судьба Солженицына; и Вы прекрасно об этом знаете, судя хотя бы по отношению к нему разных Войновичей.

Это мой Вам ответ. Что касается журнала «Родина», тут могут быть разные мнения, поэтому я пока и не давал Вам твёрдого ответа. Наберитесь терпения. От «Литературки» вон сколько ждёте – и ничего... Но если можно это напечатать в другом месте, а для нас написать что-то более морально устойчивое – действуйте. Именно об этом я сказал по телефону.

И что же Вы так нервно реагируете?

Ваша посылная выходила на связь с журналом и получила, вероятно, гонорар. Надеюсь, он подвигнет Вас на новые труды (все-таки побольше, чем в «Неве»).

Спасибо Вам за добрые воспоминания. Иногда буквально выживаю благодаря Вашим комплиментам – так худо всё вокруг...

Сергей Апанасевич!

Очень меня беспокоит гонорарная сторона нашего сотрудничества. Напишите об этом своему начальству. Скажите, что он (то есть я) на самом деле стою на удивительной высоте, если ему займётся как следует.

Если удастся получить по этой линии доверенности деньги за №12 – очень хорошо высалаю эту доверенность вам, а она Зайкова к тому времени уже не горизонте объявится. Ох, не полюбите меня материально.

– не добрались ли вы до №5 «Вопросов литературы»? Там я в пух и прах раздолбал весь литературный Интернет – какой шум в результате во всех его виртуальных ЛИТО поднялся!

– не напишались ли вы на следующий, шестой номер «Вопр. литературы»? Там тоже должна бы появилась моя статья, где я воздаю вам высшие почести, а вот сейчас волнуюсь: появилась ли? не выбрали ли почести?

– можете передать Л. Аннинскому, что я и его представляю (искренно) в статье «100 писателей и 28 критиков», которая выйдет скорее всего в «Неве». О вас упомянул тоже.

(см. на обороте)



\* \* \*

Получил Ваше письмо. Вы такой человек, на которого хочется топтать ногами и объясняться в любви. Ваш очерк о собственной семье<sup>10</sup> поднял в моей душе такую волну воспоминаний о «Солигаличе», что я вновь принялся его перечитывать. Это как в девятнадцатом веке: «А не почитать ли нам, господа, на ночь “Мертвые души”?» Ангел водил Вашей рукой, когда Вы писали эту книгу. А Ваша статья в «Общей газете» уже предложена к обсуждению во львовском Обществе им. А.С. Пушкина.

Обзор с моими умозаключениями по Вашему поводу вроде должен все-таки появиться в апрельском номере «Вопросов литературы». У этой статьи была трудная судьба, мне возвращали ее три (!) раза, потому что там задеты многие «родные и знакомые Кролика»...

О моем патриотизме неизвестного содержания. Вот если эта «Русская проза на пороге третьего тысячелетия» все-таки появится в «Вопросах литературы», отсылаю Вас к ней: да погибнет Россия, но сохранится ее литература, потому что второе-то первым и является.

О Солженицыне. Этот тип объективно увеличил количество ненависти в мире. Есть люди, которые могут есть, пить, переваривать пищу, только ненавидя. Пристойность поведения Солженицына в эмиграции – что Вы, собственно говоря, имели в виду, пища это? А я Вам ещё раз повторяю, что существовал «проект Солженицына», оплаченный скрытой строкой американского бюджета. Подозревал, не подозревал ли об этом Солженицын – одному Богу известно. Но результатом этого проекта стал разгром обожаемой Вами России! – «Нет, он все-таки кумир моих младенческих мечтаний, его не трогайте»...

Так что передавайте мою «Emigration» своему руководству, не прогадаете. Вас всех вызовут к Путину и предложат стать новыми гуру российской цивилизации.

Теперь о гонорах. Для сравнения: вы заплатили мне 784 рубля, «Литературная газета» 520 рублей, «Вопросы литературы» – нищенские 225 рублей, а про гонорары «Невы» и говорить не хочется. Впрочем, и ваши 784 рубля – это тоже не та тысяча, которую вы обещали. Но в сравнении с другими я согласен родного отца есть с маслом за такие деньги, какие платит «Родина».

Я написал гневное письмо Павлу Валерьевичу (Пашке) Басинскому – примерно с теми же укорами, которые к Вам постоянно обращаю. Послал ему «Зануду» и «О Викторе Топорове». Не отвечает. Звоню по телефону. Притворяется, что кому-то их передал... что он не в курсе... что Алла Латынина... Все вы там чёртовы конформисты и неорганизованные лентяи. А ведь я этого Пашку только что не Белинским объявляю в каждой очередной публикации. При случае передайте ему это – но прежде всего передайте, что существует определённая культура профессиональных обязанностей и отношений – а Вы согласны? Какие-то там статьи какого-то прикарпатского туземца имеют на редакторском столе равное право – согласны ли Вы с этим?

Ответьте, чем скорее, по каждому пункту...

\* \* \*

Дорогой Сергей Ананьевич!

Только что переговорил с С. Лурье («Нева») по телефону и хочу поделиться с Вами. Лурье, оказывается, прекрасно осведомлён о публикации про «Новый мир» в Интернете и активно распространяет её по Ленинграду. Впрочем, она саморас-

---

<sup>10</sup> Сергей Яковлев. Деревенское кладбище. – «Общая газета», 1999, № 50 (в сокращении); полный вариант см.: «Родина», 2000, № 3.

пространяется: на мой «емейл» пишут обиженные «Новым миром» графоманы из Новой Зеландии.

И не только. Написал мне дуэльное письмо тот самый Дмитрий Быков, о котором я толковал Вам по телефону, да Вы такой фамилии не слышали, и правильно. Это такая либеральная <...> из телевизионного «Пресс-клуба», «Собеседника», «Новой газеты». Я ему назначил личную встречу – покамест не отвечает.

Но дело сделано. Хай трэпэшуть.

Получил гарантию от «Дипломата», что моя статья с дифирамбами в адрес автора «Солигалича» будет напечатана в 6-м номере. Напомню, что это такое долларовое издание для дипломатических семейств, аккредитованных в России.

Что до «Вопросов литературы», то я им также позвонил. Ответили в том смысле, что я ставлю их в сложное отношение с фондом Наумана (который оплачивает толстожурнальную тусовку). Тем не менее сказали, что прочитали «Солигалич» всей редакцией и согласны опубликовать статью, как только ситуация устаканится. Главное, что они по-читательски за нас с Вами...

P.S. Только что заглянул в Интернет. Шум вокруг статьи про «Новый мир» продолжается. Грозилась разрушить мою Web-страницу.

\* \* \*

*Дорогой Валерий Леонидович!*

*С прискорбием узнал о посетившем Вас недуге. По телефону просил глубокоуважаемую Светлану Михайловну<sup>11</sup> выразить Вам моё соболезнование, но она почему-то сказала, что «фано». Я также посетовал, что у Вас характер... – «Ужасный!» закончила она за меня, хотя я собирался сказать совсем другое: беспокойный.*

*Однако мы с ней оба сошлись во мнении, что люди с Вашим (ужасным, беспокойным, открытым – каким хотите) характером болеть не должны. Чего Вам и желаю.*

*Передо мной только что пришедшее Ваше письмо. Вы живёте, вероятно, слишком быстро, и я за Вами не поспеваю. Впервые слышу, например, про журнал «Дипломат». А также не могу понять, о чём идут переговоры с «Вопросами литературы»: всё о той статье, где Вы помянули меня рядом с Екимовым, или о чём-то ещё? При чём тут их сложные отношения с фондом «Наумана» (это ещё кто такой?) и что должно «устаканиться»? Значит ли это, что даже моё имя в еврейской московской прессе под запретом? Что-то Вы меня пугаете. (С кем говорили-то про меня? С Лазаревым-Шинделем?)*

*Я ведь на «Вопли» тоже кое-какие виды имею, так что мне хотелось бы знать, что там творится.*

*Меня очень радует, что Лурье Вам помогает и что великая Ваша статья про «Новый мир» кем-то читается. Но жаль, что не на привычных бумажных страницах...*

*Немного огорчило, что Вы не послушались меня и не поправили статью, вышедшую вместе с моей в «Неве». Я ведь хлопочу не о себе, а об исторической правде. Утешает только мысль, что чем больше пугать, тем сильнее бьёт по мозгам.*

*Ну да ладно, скоро я всех вас, дилетантов, выведу на чистую воду. Дописываю 12-й лист (!) своей хроники о «Новом мире». Кончаю. Сочная получилась драма. А по сюжету – триллер<sup>12</sup>.*

*Дорогой Валерий Леонидович, в № 6 идёт Ваша «Интеллигенция», красивыми картинками разукрашенная, а дальше я в растерянности. Ни «Эмиграция», ни «После Ельцина» меня не вдохновляют, а главное, я очень боюсь Вас здесь «сорвать». Каждый*

<sup>11</sup> Жена В.Л. Сердюченко.

<sup>12</sup> Сергей Яковлев. На задворках «России». Роман-хроника. – «Нева», 2001, № 1–2. Отд. изд.: М.: Логос, 2004.

*Ваш шедевр встречает биологическое отторжение у определённой части редакции, и им только дай за что-нибудь зацепиться – мигом угробят. Так что нельзя допускать слабину. Не пишите больше «взгляд и нечто». Давайте концептуальные кирпичи! Пожалуйста. Очень жду. Ну что Вам стоит.*

*Если ничего не пришлёт, буду готовить имеющееся. Но – очень боюсь, правда. Не за себя, за Ваши стабильные доходы.*

*17.04.2000*

*\* \* \**

Мою статью о «Новом мире» распустила нью-йоркская газета «Новое русское слово». Это сделано благодаря «емейлу» и Интернету. Меня уже публикуют в Израиле. Тоже благодаря тому же самому.

Где Вы надеетесь напечатать свою версию «Нового мира»? Не сомневаюсь, что это будет вещь на уровне Солигалича. Вы талантливый, дьявольски талантливый человек. Но и невозможный. Впрочем, все талантливые люди такие.

Костырко я изгнал из Интернета окончательно. Зайдите в Сеть, наберите там rereglet.ru и там найдите на «морде сайта» рубрику «Стрелы Сердюченко». Откройте её и прочитайте «Костырко и Быков, фотомодели Сети». За полчаса здорового хохота ручаюсь.

*P.S. О! Только что костыркинско-быковская компания накатала на меня очередной «e-mail» в наш ректорат. Уровень интернет-образованности провинциального украинского вуза вы себе представляете. «Що ми маємо робити и як нам на то реагувати».*

*\* \* \**

*Получил от Вас наконец-то письмо со статьёй о парамонове (чего-то мой компьютер не хочет печатать парамонова с большой буквы, ну и ладно). Статья мне понравилась, хотя и обладает, на мой вкус, рядом логических и эмоциональных зияний; как будто Вы немного подустали (а может, просто торопились). Читателям «Родины», в массе невежественным, стоило бы, наверно, представить парамонова объёмнее. Тем не менее начинаю статью готовить, а если захотите что приписать и дополнить – милости прошу. О результатах «прохождения» сообщу дополнительно.*

*Дорогой Валерий Леонидович, я с большим прискорбием только по получении этого Вашего письма узнал, что Вы ещё не получили гонорар за № 6. Процедура остаётся прежней: Вы должны дать новому лицу собственноручную доверенность на получение именно этого гонорара именно в этом номере, а он должен явиться с ней в нашу бухгалтерию. И так будет повторяться всякий раз. Я не имею возможности брать Ваши деньги либо передавать их кому-то. Гонорар Вас (Вашего поверенного) дожидается, я уточнил...*

*Очерковая книга про «Новый мир» завершена и готова ко всем видам публикации. Я счастлив, что сбросил с плеч этот груз, и занимаюсь теперь усадительными fictions...*

*10 октября 2000 г.*

*\* \* \**

*«Вы хотите песен, их есть у меня!»*

Примерно в таком духоподъёмно-жизнерадостном духе написал мне только что Кувалдин и подписался: «Руководитель современной русской литературы Ю. Кувалдин». И тоже предложил возобновить сотрудничество. Увы, безгонорарное, а это в моем нынешнем уволенном положении мне не очень подходит.

Вот, повергаю к Вашим стопам «Размышления нового разночинца». Сориентировано (по-моему) не на литераторов, а именно на ваших разночинных читателей.

Да-да, как я по телефону рассказал, так и было. Сетевая репутация «Нового мира» выходит ещё более бездарной, чем бумажная. Поищите в Интернете regerlet.ru, там найдите «Сердитые стрелы Сердюченко», а там «Новомировские обиды». Вы там, между прочим, тоже присутствуете.

А ту мою бумажную статью «Что происходит с “Новым миром”?» перепечатал солидный американский альманах «Чайка». И даже гонорар выплатил. А бросившегося туда за разъяснениями Костырку послал на три буквы.

Меня пригласили в Москву на всемирный съезд Достоевистов в конце декабря. Если здоровье позволит и выберусь, обязательно встретимся.

P.S. Сергей, если бы Вы устроили мне в «Родине» постоянную рубрику, гонорарный процент был бы Вашим. Это я безо всяких обиняков говорю, времена сейчас деловые, лихие.

\* \* \*

*Валерий Леонидович, дорогой, не шлите мне, бога ради, никаких коммерческих предложений, они меня оскорбляют – и в публичном, и в личном плане. Поверьте, я бесконечно люблю Вас как писателя и делаю для Вас всё, что могу. Без всяких там одесских штучек. Во-первых, сотрудничество с Вами мне как редактору выгодно. Во-вторых, интересно (опять же как редактору).*

*Ваше предложение о постоянной рубрике рассмотрено в верхах. Постановили: дать Вам шанс и предложить обозначить несколько первых тем для постоянной полосной рубрики «Скрип пера». (Полоса у нас содержит 5–6 тыс. знаков.) Из присланных Вами «Размышлений нового разночинца» мне лично понравились все, но начальство выбрало только первый сюжет «Бедные люди», его-то и будем готовить. Можете судить, сколь строг будет отбор. Лучшие, если Вы пришлёте перечень предлагаемых социально-исторических тем (вполне конкретных), а мы отметим интересующие нас. Постарайтесь, Валерий Леонидович, как я старался для Вас. Статьи должны быть разнообразными, адресными и ёмкими по мысли, угадывающими некий назревший конфуз. Шлите сразу и очередную (следующую) статью. Надеюсь, у нас получится.*

*Мою «Хронику» перепечатал «Роман-журнал» (№ 9). Вышла ещё одна чудная рецензия в «Дне литературы» (Нины Красновой; до этого там же писал обо мне Кувалдин, а в «Литературке» – Топоров).*

*Когда-нибудь я войду в Интернет и разберусь там со всеми, но пока недосу...*

*30 октября 2001*

\* \* \*

*Дорогой Валерий Леонидович, получил и прочёл статью<sup>13</sup>. Это настоящий постмодернистский шедевр: много крику и никакого смысла. По-моему, Вы еврей, потому что только они могут создавать постмодернистские шедевры. Ну и энергии у вас на десятерых <.....>, что весьма подозрительно мне, анемичному русскому. Я тих и скромн и не люблю упоминания своего имени всуе.*

<sup>13</sup> Статья, по поводу которой написано это письмо, утрачена.

### Побитому задворнику от побитого затворника

Дорогой Гомер российского задворья! Тебя приветствует обитатель задворья украинского, прикарпатский туземец Сердюченко, тоже физически пострадавший однажды на пороге собственного дома от местных любителей словесности. О, как крут сегоднешний читатель! Так и норовит обозвать жидомасонской сволочью, а то и стукнуть по голове чем-нибудь тяжелым при случае.

Но не будем отчаиваться. Не бьют - значит не читают. Предлагаю объявить прямо на презентации твоей книги о создании "СПП" ("Союза Побитых Писателей") и принимать туда только по предъявлении справок о нанесении увечий хотя бы средней тяжести.

Славил тебя и твой роман в "Неве", "Дне литературы", "Канадиан ИНФО", американской "Чайке", на сайтах "Русского Переплёта", "Лебеда" и ещё прославлю.

"Сергея Яковлева - в Главные Хронописцы Старого и Нового мира!"

Твой В. Сердюченко



*А насчет постмодернистских тенденций в мозгу – подумайте. Вы слишком увлеклись полемикой с этим миром и, погрузившись в него, ему же уподобились. Страшная зараза.*

*Я всё-таки думаю, что обожаемая Вами витальность существует не только там. Она и в Солженицыне, и в моем любимом Дедкове, – а они ни слова не пишут без новой или хотя бы вполне ясной мысли. Не говоря уже о Пушкине с Толстым. Пускай сейчас век Быковых и Немзеров – мне на них, простите, чихать. У меня одна жизнь, и мне важно в этом сумасшедшем доме сберечь рассудок и помочь сделать это другим (в идеале – всей нации)... Дело совсем не в идеологии, но в здравом смысле. Иначе нас действительно куда-нибудь погонят как стадо весело блеющих баранов.*

*Вот Вам моя отповедь. Производите смыслы, какими бы крамольными они ни были. Не производите «массовой культуры», даже если она обманчиво кажется доходной. А то совсем тошно.*

*Сердечно Ваш*

*С. Яковлев.*

\* \* \*

Дорогой Сергей Ананьевич!

Высылаю Вам очередную статью взамен той, которую Вы не хотите печатать.

### Пасынки

Месяц тому назад автор познакомился с документом, который наполнил его недоумением пополам с состраданием. Судите сами:

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Пресс-релиз

*В преддверии президентских выборов по предписанию Председателя Международного сообщества писательских союзов (МСПС) Сергея Владимировича Михалкова и Первого секретаря МСПС Арсения Ларионова Союз российских писателей, Союз писателей Москвы и журнал «Дружба народов» изгоняются в никуда, «в снег» из здания на Поварской, 52, ранее принадлежавшего Союзу писателей СССР. На выселение даётся три дня. Помещения архитектурного памятника XVIII века («Дом Ростовых», описанный Л.Н. Толстым в романе «Война и мир») уже долгие годы сдаются Международным сообществом в коммерческую субаренду (рестораны, продовольственные магазины, турагентства и т.д.), которую С. Михалков и А. Ларионов, вероятно, предполагают увеличить за счёт помещений изгоняемых творческих союзов...*

*Обращаемся ко всем с просьбой помочь российским литераторам отстоять своё право на жизнь и на труд в стенах родного писательского дома и предотвратить реальную угрозу надругательства над отечественной литературой и культурой.*

*Сопредседатели Союза российских писателей (подписи).*

Итак, интеллигенция, десятилетиями талдычившая об ужасах советской тирании и отсутствии свободы слова, обрела наконец свободу от всего на свете.

И что же?

А то, о чем мы читаем в приведенном документе: «Обращаемся ко всем с просьбой помочь российским литераторам отстоять своё право на жизнь и на труд».

Особенно смешит это дилетантское и беспомощное «ко всем». Эти литературные лишенцы оказались неспособными даже вычислить реальных адресатов своей челобитной. Пару раз их мельком показали по телевизору: кучка бомжей в обшарпанных дублёнках толчется у входа в «Дом Ростовых», который они полагали своей пожизненной вотчиной и из которого их выставили «в снег» и «в никуда». Когда вспоминаешь, какие квартирно-служебные хоромы, Дома творчества, здравницы по всему морскому периметру СССР занимали десять тысяч писателей в советские времена, невольно убеждаешься в правоте Мао Дзэдуна: «Интеллигенция – самая глупая часть нации». С египетских времен ей не жилось так комфортно, как при советской власти. Так нет же, верная привычке плевать в колодец, из которого пьют воду, и наступать на грабли собственной значительности, она выставила себя из этого оранжерейного пространства и сейчас мается, соблазнённая и покинутая, с фотографиями академика Сахарова на голой стене. Жалко её? Автору этих строк – нисколько. Он тоже угрызался в своё время гражданскими правами, бубнил диссидентскую лабуду типа «за нашу и вашу свободу!» и требовал возвращения буквы «ять» в русский алфавит. Чаемые перемены наступили – и переселили автора на шесть огородных соток, с которых кормятся он и его семья.

Но это ладно. Имя и личность Валерия Сердюченко интересны только ему самому и ещё нескольким ценителям его азотнокислого таланта. А вот именитые инженеры человеческих душ оказались совершенно неприспособленными к демократическим переменам жизни. Призывавшие штурмовать советские небеса и с изумлением обнаружившие, что эти небеса на них же обрушились, они маются сегодня со своими хилыми плакатиками в центре Москвы, а мимо них проносятся на лихих колесницах реальные князья свободы и рыночно-

го бабла. Дважды и трижды проклятый в процитированном «Пресс-релизе» Сергей Михалков был всегда востребован временем, обществом и государством. Сначала – как образцовый детский поэт, затем как автор советского гимна, а ныне в качестве владельца пароходов, ресторанов и газет. Он не на словах, а на деле осуществил переход в новорусский Иерусалим.

Вы, нынешние, ну-тка?

Не могут, потому что слабаки.

Часто приходится слышать, что литература сегодня вообще никому не нужна. Как сказать. Есть литература и литература. От литературы XIX века у царей синели носы. Нынешние свободомыслы впадают при имени Достоевского в коленопреклонённый транс, забывая, какой публицистической оглоблей действовал этот человеколюбец на страницах «Времени», «Эпохи» и «Гражданина». Лев Толстой? «В России теперь два царя, Николай Второй и Лев Толстой. Разница между ними та, что первого не слушают и не боятся, а второго слушается вся Россия» (В. Короленко).

Авторы «Современника», «Русского дела», «Эпохи», «Русского вестника» были вхожи одновременно в коридоры власти и в подпольные революционные центры, а об эмигрантском «Колоколе» и говорить не приходится: его постоянным читателем был сам царь. (И придворные хитрецы клали ему на стол поддельные выпуски этого издания, чтобы просвещённый монарх не слишком раздражался безобразиями, творящимися в его отечестве.)

Но и советская литература заставляла уважать себя. Она строила Днепрогэсы и сражалась в Испании, её сажали в тюрьму и президиумы ЦК, звание члена Союза писателей стоило не меньше, чем членство в партии, а генсеки гордились тем, что они ещё и писатели. Леонид Брежнев, например, предпочитал печатать свои мемуары именно в оппозиционном «Новом мире», прекрасно зная гамбургскую цену этому изданию. В литературу шли тогда ахейцы, жизнелюбы, знающие толк и в придворной интриге, и в дионисийской забаве. Фадеев, Симонов, Леонов, Твардовский, с одной стороны, а с другой – Пастернак, Платонов, Бабель, Ахматова, – но и те и другие обладали редкостной витальной энергетикой, своего рода талантом жизни. «Меня может убить только прямое попадание в лоб», – говаривал Платонов.

Нынешняя же писательская порода производит горестное впечатление. В середине перестройки на печатную поверхность вырвались всевозможные постмодернистские Никифоры Ляписы и Хины Члек с Дмитриями Галковскими и Вячеславами Курицыными во главе. Они наполнили сады российской словесности таким блудом и матом, что хоть святых выноси. Ваш покорный слуга уже докладывал в одной из своих статей, что моя коллега по университету вынуждена была отменить спецкурс «Особенности литературного процесса 90-х годов» из-за того, что студенты отказывались (или стеснялись) понимать предлагаемые им тексты. Прошло время, соросовские даяния прекратились, и весь этот сексуально озабоченный кагал исчез с печатных страниц, поскольку выяснилось, что ничего иного, как ругаться матом и колебать треножки, он не умеет.

Кто же остался?

Остались престарелые шестидесятники, перечисленные в «Обращении». Эти литературные старцы вызывают у автора определённое уважение, потому что у них в какой-то момент сработал инстинкт самосохранения. Слишком велик был искус остаться при литературных бармах, не потеряв при этом насыженных служебно-гонорарных мест. О, эти московские литературные



особнячки советских времен с их зальцами, буфетами, ковровыми дорожками, вахтёршей на выходе и метро в трёх минутах ходьбы! Вальжный ритм жизни, три присутственных дня в неделю, чай с баранками, а то и с коньячком у шефа, милейшая Руфь Соломоновна с гонорарной ведомостью («Да не ошиблись ли вы, Руфь Соломоновна?» – «Ах, как можно, товарищ редактор»), выездные заседания в Переделкино, профсоюзные путевки в Дзинтари и споры, споры, споры о литературных событиях. Обсуждался сигнальный номер, и чувствовался ответственный секретарь, и отъезжал на служебной «Волге» главный редактор на дачу, и разъезжались сотрудники, чтобы в домашней тиши заняться надомной творческой работой... Где они, эти золотые денёчки? Было и прошло, дорогие мои вольнодумцы, сверстники наших общих диссидентских игр и забав. Горестно созерцаю по телевизору, как вы влачите сегодня под стенами собственных редакций, откуда выставили в конце концов и вас. За что боролись, на то и напоролись. Если бы вы были холодны или горячи и умели ударить кулаком по столу так, как это получается сегодня у Солженицына, – никто бы не посмел выставлять вас на двор. Но вы не холодны и не горячи, а всего лишь теплы, поэтому не нужны никакой власти, ни обществу, ни государству. Общаешься с вами, и нападает зеленая тоска. Автор сего достаточно порядочный человек, чтобы не цитировать свою с вами поимённую переписку. В общих чертах она сводится к тому, что вас кидают: с гонорарами, рабочими местами, издательскими тиражами. Сего бы ни за что не произошло, стань вы реальными, а не библиотечными ревнителями своих претензий и прав.

Обрати внимание, читатель, на подписи под этой горестной челобитной. Там сплошные лауреаты Президентских премий. Но они, подобно щедринским пустолясам, проболтали свой литературно-гражданский аванс и ресурс и поэтому тоже выселены «в никуда».

05.02.2004.

*Львов, Украина.*

Александр Майоров

## Ночные диалоги с молчаливой бабочкой

Главы из романа

1

Полночи не спалось. Бабочка по комнате летала. Этой весной настоящее нашествие бабочек, а комаров нет до сих пор, хотя им, наверное, проще проникнуть... Бабочек не трогаем. Символ души, только не помню, в какой именно мифологии. Зачастили ко мне души, которым тоже не спится. Мысленно в путешествие эту пригласил. Подумал: а не пройти ли немного по дорогам? Вспомнить разные-разные дороги, по которым ходил, да и тропинки, если и они в памяти остались...

Почему бы и нет?

Просто с ними общаться, с бабочками. Почти так же, как с облаками. Мысленно говоришь: “Мисс Бабочка, не могла бы ты притихнуть? Присесть, отдохнуть, поскольку очень громко для ночного насекомого летаешь! Не шурши! Давай, ты попробуешь настроиться на мои мысли, а я тебе про дороги расскажу”.

И если затихает она, пусть и не сразу, а секунд через двадцать, то можно сказать: “Спасибо, мисс, за понимание. Слушай!”

Первая дорога была бесконечной, как Китайская стена, о существовании которой я ещё не знал. Маленьким был, пяти лет ещё не исполнилось. Дед с папой землянику приносили из леса, и мне очень хотелось в настоящем лесу побывать. Меня не брали, говорили – в парке погуляем, а я возмущался, поскольку уже нагулялся там. Я требовал, чтобы меня взяли в самую заросшую чащу. Мне хотелось посмотреть на настоящих волков и медведей. Казалось, что лес должен быть таким, как его рисуют в детских книжках. Все звери там свободные, и никаких клеток.

Знаешь, мисс, я вот пытаюсь сейчас вспомнить, а как обстояло дело с лешими? Да, верил ли я тогда в леших, водяных и прочую нечисть? Пытаюсь, пытаюсь и не могу... Получается, что не верил, но вместо леших появляется в памяти какое-то тёмное пятно, и не знаю, с чем его сравнить, понимаешь? Силуэт, стук, не подбираю названия, но страх это вызывало настоящий. Где я с ним встречался? Не помню, но вот оно, чёрт его дери, выплывает из воспоминаний, но не так

уж и страшно, да? Мы тут вдвоем, да? Это значит, что и страх на две половинки разделился. Мне стр, а тебе – ах... Или наоборот? Не исключаю, что страх этот из очень раннего детства, когда, по словам мамы, я чуть не умер от пневмонии. Бабочка моя! Уже смешно, так? Почти умереть – это, наверное, как почти забеременеть. Но метка остается зачем-то... Нужный кому-то отличительный знак. Напоминание. Помнишь, как страшно было? Когда чуть не умер? Эй, ты, Чёрное пятно, иди сюда! Будь рядом с этим парнем, чтобы не забывал или не забывался.

Прости, мисс, ты снова по комнате разлеталась. Я ведь про дороги обещал, а забрёл в чашу какую-то подсознательную. Боль от уколов в попу четырёхмесячную почувствовал, совсем неожиданно...

Я требовал.

И меня взяли в лес.

“Всё по-настоящему?” – спросил я папу.

“Да. Только не ныть там!” – ответил он.

Я – к игрушкам, фляжку детскую нашёл, из белой пластмассы, на красном шнурке. Компас очень долго искал. Клянчил нож, но мне его не дали. Не настаивал, в первый раз и без ножа можно.

Заснул сразу! Сейчас бы так, да не получается.

Разбудили меня в шесть утра. Я специально умылся холодной водой. Так суровее, ведь мы в лес пойдём!

На улице – непривычно прохладно, солнца не видно – в облаках небо. Зябко, зеваю. На мне свитер, трико

(мисс, так мерзко тогда спортивные штаны называли) и синие резиновые сапоги. И идти я стараюсь чуть ли не строевым шагом, как солдат. Фляжка через плечо. Мама хотела компота налить, но я отказался. Очень гордо отказался. Только воду. Солдаты не пьют компот! Он для девочек.

Интересно! Дома ранним утром кажутся незнакомыми. Редкая машина удивляет, будто что-то новое увидел. Потому что тихо-тихо вокруг, как сейчас.

И вот он – лес. И дорога, широкая, грунтовая, только тогда я слова “грунтовая” не знал. Никакого асфальта.

Идём-идём-идём.

Я по сторонам смотрю. Если лужу вижу, то в неё сворачиваю, чтобы прошлепать, потому что... Сапоги уже грязные, а штаны ещё – чистые. А они одинаковыми должны быть! Мисс, ты не заскучала? Поверь, я сам не знаю, почему я так думал, но ведь думал, точно помню! Про сапоги и штаны. И про то, что желательно порвать эти штаны, чтобы всё взаправду было, ведь мы в настоящий лес идем, а не в какой-то там зоопарк. Ссадины тоже обязательны, кстати!

Говорил им: “Мы уже пришли! Почему мы в лес не заходим?”

Мне отвечали: “Здесь нет земляники!”

“Откуда вы знаете?”

“Знаем!”

“А волки здесь есть?”



“Нет”.

“А там будут?”

“Не знаем!”

Долго шли по большой дороге, потом свернули на маленькую, совсем лесную, на которой луж было больше, и лягушки появились, и какая-то серая птица промелькнула пятном. Воздух изменился, насыщеннее стал. И бабочки, на тебя, мисс, похожие, взлетали, если я палкой по кустам бил. Прости, а? Просто... Скучно столько времени идти и ничего, о чём фантазировал, не увидеть. Да и не палка это была, а ветка большая, потому что комары уже проснулись, а я терпел мужественно (хорошее слово, а?), только увидел, что и дед веткой машет, и отец... Сдался. Разочаровался немного, а как иначе? Вот он, лес – справа, слева... Ты словно в нём, и одновременно на дороге.

Наконец свернули. В лес!

Облака к тому времени исчезли, а солнца стало до духоты много.

Я увидел землянику, тут же, как первооткрыватель, закричал: “Вот она! Вот! Пришли!” Ага, мисс, мне сказали, чтобы не кричал, а то придут волки, а земляники здесь мало, поэтому надо идти дальше, пробираясь через крапиву, кусты и поваленные заросшие мхом деревья.

“Ты не устал?”

“Нет!”

Какое там устал! Успевал попутно козявок-гусениц в специальную коробочку собирать. Снова прости, мисс! Но они, то есть вы, то есть, прости, но такие интересные! И комары не замечаются, когда пытаешься найти кого-чего-нибудь.

Поляна. Земляничная! Присели. Попили. Они чай, я – воду. Они закурили, я нюхал дым. Да, вредно, но ведь и приятно почему-то? Хороший запах табака, мисс.

У папы в рюкзаке две большие банки, у деда – три маленькие. О своем личном рюкзаке я только вчера мечтать начал. Не успел выклянчить. Папа взял маленькую банку, и дед тоже, а я закапризничал. Психологически проще собирать в маленькую, а потом пересыпать в большую. А если сразу в трёхлитровую, то время останавливается... Она всегда на дне, эта земляника. Её просто невозможно собирать в достаточном количестве. Признаться в этом стыдно, остается только смотреть, как у них наполняются маленькие баночки, и они – бах! В большую! И сразу результат виден. А я кидаю ягодки, кидаю, а толку... Жарко в свитере, но не снять, ведь комары. Хуже волков! Скоро и слепни прилетели, это было моё первое в жизни знакомство с ними. Дед научил шутке: если поймать слепня, эту огромную кровососущую муху, наплевать ей в глаза хорошенько, а потом отпустить, то она словно с ума сходит! Не знает, куда лететь, не видит! Я представлял, что внутри слепней сидят маленькие летчики-фашисты, и плевал на стекла их самолётов, и они взлетали свечкой вверх или врезались в деревья... Про ягоды я забыл. Я вёл неравный бой с насекомыми. Всё стало неинтересным, мисс... Нет ни волков, ни медведей. Только жгучее солнце, комары и слепни. И некуда бежать.

“Ты ведь обещал не ныть”.

Стараюсь не ныть. Молча мучаюсь. Но получается плохо. То и дело ною, говорю, что никогда больше не стану кушать эту дурную землянику. Пытаюсь, одним словом, ругаться, но:

“Ты ведь обещал не ныть”.

И я снова не ною какое-то время.

Знаешь, Бабочка, а ведь они собрали полные банки. Не иначе им леший

помог. Я не понял, как это произошло, но смотрю – вот они, банки, стоят в траве, до краев, невесомая прозрачно-зеленая тля гуляет по ягодам. Как им это удалось?

Дед свёрток из рюкзака достал, развернул, а там – сало и хлеб. А я сало в детстве и из колбасы выковыривал, не знаю почему, мисс, невкусным оно казалось. К тому же тут оно подтаявшее было, неприятное на вид. Хлеб пожевал. Батона бы, с компотом, но... Нет! Для девочек. Все правильно, жую чёрный хлеб. Сурово! Но запиваю чаем, потому что вода очень тёплой стала, невкусной.

На обратном пути я очень плохо себя вёл. До большой дороги терпел изо всех сил. Фляжка казалась тяжёлой, я вылил из неё воду. Мне дали чаю. Я, мисс, как-то не подумал и допил его, понимаешь? Совсем допил. А меня не остановили. Не ходил я так много своими ногами, вот в чем беда. Они словно и не мои стали. Неподъёмные. Я попросился на руки. А папа посмотрел так, будто обдумывал что-то, и отказал мне в этом. И дед отказался взять меня на руки.

Я обругал их всеми ругательствами, которые знал к тому времени! Странно, но матерных слов я тогда не знал, а знал бы – и матерными бы обругал. Потому что... Я был в отчаянии, мисс, я не мог идти.

“Я не могу идти! Ааааааа!” – Я разревелся по-настоящему.

“Тогда тебе придется остаться здесь”, – сказал папа.

Такое было страшно слышать от отца. Как – остаться? До ночи? Навсегда? А как же волки?

А они пошли вперёд. И я ощутил полное отчаяние. Безнадёжное. И побежал, когда они скрылись за поворотом. Посмотрел направо-налево, волков не увидел, но что-то подстегнуло меня так, что побежал! Несмотря на сапоги, облепленные высохшей грязью.

Они!

Обманщики!

Они не собирались уходить. Сидели на обочине, курили и о чём-то говорили.

Ждали меня.

Я... От пережитого я всё забыл, и что чая нет. Попросил пить. У меня от страха пересохло горло.

“Ты всё выпил. Терпи, мы тоже хотим пить”.

Не помню, как дошел до города. Но помню, что я отстал от них, подошел к заросшей тиной луже, лёг на землю и сделал пару глотков. Пару таких кайфовых глотков из лужи! Я бы и больше выпил, мисс, но увидел маленьких головастиков и испугался, что проглочу...

Было мне, мисс, тогда около пяти лет.

А сейчас я чувствую, что усну... Я хотел про разные дороги тебе рассказать... Про счастливые, по которым летишь, как на мотоцикле. Про печальные и грустные... Эта, может, и скучной тебе покажется, но она первой была, понимаешь? Я её первой запомнил, а это, мисс, важно... Э... Ты, это, прилетай, про другие расскажу. Могу про страшные... У меня есть ещё истории для тебя про дороги. Дороги... Пока, мисс.

Сплю.

## 2

Продолжим? Хм, как бы обратную связь наладить? Тебя, мисс, послушать хочется. Вот интересно мне, как бабочки без дорог обходятся? Про пчёл знаю, что есть у них трассы свои, так ведь там одна цель – мёда больше собрать. Работяги!

Нельзя им без оптимально рассчитанной дороги – обестолковится труд, если каждая пчёлка своим путём полетит. Я и про птиц знаю, что влияет на них магнитное поле Земли, что вот отмени его, и закружат хаотично, без ориентиров. Не доберутся до Африки из нашего леса. Думаю, тебе не доводится летать на такие расстояния. Ты ведь не бабочка-монарх, в конце концов. Получается – нет у тебя дороги. Только не придумывай, что есть, иначе не сидела бы здесь... И вот как оно? Без пути? А? Молчишь. Не хочешь говорить на эту тему. Тогда, как тебе другая? Не поможешь разобраться? Вот меня ночь всё больше и больше к себе забирает, руки у неё чёрные и холодные, но я не сопротивляюсь. Люди, как и бабочки, дневными и ночными бывают. Дневным быть – это как бы норма такая, почти обязательная. Не получается, мисс. Забирает меня ночь, ворует у дня. Большинство людей уже сны видят, а мои ещё не готовы, видимо. К утру подоспеют. Молчишь. И ничего мне не остается, кроме как рассказать тебе ещё про одну дорогу. По ней можно было и не идти, а точнее – не бежать, распугивая-расталкивая случайных прохожих. Ну это я так сказал, чтобы понятно было... Лично я в случайных прохожих не верю, и хватит об этом. Так вот, по той дороге можно было и не спешить, если хорошенько подумать. Но не получилось, наоборот – запыхался. Словно усилилась какая-то магнитная линия Земли и потянула меня.

И было мне уже не около пяти, а целых двадцать лет! Замечу, что немного перевоспитался к тому времени – сало из колбасы уже не выковыривал. Да и не было тогда никакой колбасы... Рис был, кубики бульонные были да ноги куриные, и то не всегда. Вся страна так жила, то есть не вся, но почти... Я жил один, работал. Какая разница – где, всё равно тебе это неинтересно. Вместе со мной работала девушка, только я тогда называл её женщиной. Она была старше меня на четыре года, понимаешь? Прожитые года толкают, как локомотив, все установки, сдвигают их... Вот покажи мне сейчас девушку лет двадцати семи, и ни за что не посмею назвать её женщиной.

У нее был полуторогодовалый сын. И больше никого. Не знаю про её папу, маму, может, и были, только... Сразу видно, что она одна, с сыном. Согласен, мисс, язык людей очень интересен, часто парадоксален. Я тоже был один, хотя у меня и папа, и мама, и сестра! Бабушка с дедушкой ещё не умерли. Потому и рассказываю тебе, что очень уж наши отношения с той девушкой поначалу оказались на ваши, бабочкины, похожи... Как-то быстро мы сошлись. Она воспитывала не только своего сына, но и меня. Нет, вместе не жили. Не дошло до этого. Группу “The CURE” ты тоже не знаешь, мисс... Я к тому, что есть у них песня, которая, если не ошибаюсь, называется “Пятница – День Любви”. Подписываюсь под этим утверждением, только с оговоркой. Это, мисс, не любовь, пусть и похоже по дви-



жениям. Это – как у бабочек, а вот потом – как повезет. Но где пятница, кстати, там и суббота.

Постепенно зародилась скорее привязанность, чем любовь. Да и легче было переживать те времена не в одиночку. Уверен, она не отказалась бы тогда от мужа, если б кто нашёлся на эту роль. Не нашлось, потому что таких, какой ей был нужен, оказалось мало. Я вот писал выше – “почти вся страна”. Но ведь не вся? И вот ей был нужен человек, живущий по другую сторону от этого “почти”. Мы нравились друг другу. Мы скучали, когда расставались... Но ведь этого мало, как думаешь, мисс? Я в то время больше на мотылька был похож, что один день живёт. Никаких путей не видел перед собой, лишь где-то внутри меня, глубоко-глубоко, сидела какая-то уверенность, что именно так мне и надо сейчас жить.

Как-то раз я вошел в курилку. Она сидела с девушками-женщинами-коллегами на банкетке и рассказывала им что-то волнующее. У неё были испуганные глаза.

– Может, в милицию? – спросила Вика-наборщица у неё.

– Я разберусь, – только и ответила она.

Вышла.

– Что случилось? – поинтересовался я у всех сразу.

– Ничего-ничего...

“Милиция”, “разберусь”, “ничего”, – эти три слова разве что идиота не заставят заволноваться. А если добавить: “Просила тебе не говорить”, то сразу ясно, что пахнет дерьмом.

Поспешил в кабинет, а она уже ушла. Ну, бабочка, у нас работа такая была, можно уйти раньше, придти позже. Иначе, может, я бы и не работал там.

Минут через пять я всё разузнал у Вики. По её словам, мою девушку навестил вышедший из тюрьмы бывший ухажер, и произошёл нехороший разговор, и он её вроде бы даже как ударил, больно. И назначил ей встречу, сказав, чтобы не опаздывала, поскольку станет ждать возле дома, и что “дело серьёзное”.

Бабочка, это не любовь, это только пятница и суббота плюс праздники. На Новый год, к слову, она подарила мне целый килограмм сосисок. Хороший подарок, учитывая, что зарплаты почти у всех жителей страны были маленькими, а цены на сосиски – большими.

Посмотрел на часы и понял, что надо либо срочно её спасать, либо... Да мало ли что может произойти? Она ведь не к дантисту направилась.

На улице было солнечно, я подбежал к остановке, но её автобус вместе с ней уже отъехал, оставляя меня в непростой ситуации. На такси денег не нашлось. Её дом, к счастью, находился не так далеко от работы, но и не очень уж близко. Километра три, не меньше.

Эта история и эта дорога, мисс, интересна мне тем, что я пережил, пока бежал...

У меня не было богатого опыта выяснения отношений с бандитами. По ходу я перебрал много вариантов на тему «как это будет?», и каждый заканчивался не очень хорошо для меня, да и для неё тоже. В груди словно трансформатор перегревшийся гудел, а я всё бежал, бежал, люди удивленно смотрели – и куда он так





несётся, а? Ой, мисс, я реально представлял, как меня сегодня убьют, и тут же думал: надо бы камень взять, только не кирпич, а именно пролетарский такой булыжник, и сразу бить бандита по голове. Жалел, что не взял на работе кухонный нож, которым девушки-женщины-коллеги резали продукты во время пьянок. Самое ценное в этом, мисс, что всё было по-настоящему. Я летел на самом быстром, самом качественном адреналине! Зачем он её бил? В ней весу-то и пятидесяти килограммов не будет, что там бить? И волны страха, мисс, ледяные, словно из самой Арктики. Потому что страшно. То есть бегу, не зная, что ожидает на финише. И курю в это же время, от волнения, сразу видно, что не спортсмен...

Мисс, подлети поближе, посмотри, как я сейчас улыбаюсь. Почти как идиот, да? Не многие воспоминания смогут вызвать у меня такую вот улыбку.

Притормозил за пару домов. Восстановить дыхание. Мускулы, навыки, мисс, хороши, но по опыту знал, что если уж предстоит бой, то дыхание в нем – главное. Очень уж быстро, за секунды, расходуется оно.

Я добежал быстрее, чем она доехала на автобусе. Просто он соблюдал правила дорожного движения, останавливался на перекрестках, а я – нет. К тому же я выбрал, как пчёлка, оптимальный путь – почти прямою.

Возле подъезда никого не было. Всё верно. Он ведь бандит! Зачем ему ждать её на улице, где так многолюдно в это время? Потопал по лестнице, заглядывая за мусоропроводы. Её этаж. Поднялся выше. Никого! Снова закурил.

Что за фигня происходит?

Не успел докурить, как загудел лифт. Стою на площадке между этажами, а из лифта выходит моя девушка. Открывает дверь.

– Эй! Всё хорошо?

Она испуганно обернулась, увидела меня.

– Ты что здесь делаешь?

– А где бандит?

Мисс, у неё глаза такими стали, вот никогда не забуду. Через неё на меня смотрела Родина-мать. В них столько всего перемешалось. Ну, я сказал, что всё знаю, про бандита. Только вот не могу вспомнить, что она мне отвечала. Не сохранились те её слова, понимаешь? Или не записались во мне, поскольку мандраж ещё не прошёл.

На следующий день всё стало ясно. Мисс, меня развели как последнего идиота. Во время перекура они, оказывается, выясняли перспективу её отношений со мной. Проку, выходило, от меня совсем немного по большинству параметров, так как даже намёка на желание оказаться по ту сторону «почти» не было. Она меня защищала. Говорила, что есть очень хорошие пятницы и даже субботы, и что я ещё шибко молодой. И кому из них пришла в голову мысль проверить меня подлым таким образом? Мисс, повторяюсь, для меня, когда я нёсся по улицам, всё было по-настоящему. Это важно. Я понял, что не так и сложно бежать, думая о том, что тебя могут убить. То есть после пробежки я это понял, а иначе, может, и не узнал бы... Но такое надо знать. Мне так кажется. Что есть магнитные (или какие там, как их правильно назвать?) линии и для людей. Оптимальные, как у пчёлки, и прямые, как черта между двумя точками. Или между двумя людьми. И сложно не следовать им в особых случаях, даже если кажется, что всё наоборот.

Не спишь?

Мне после вчерашней беседы сон приснился, мисс... Странный и провокационный. Будто бы стала Россия лидером и война прошла, вроде ядерной, на Ближнем Востоке, и все посмотрели, что из этого получилось, и вроде мириться

принялись, а у нас сама знаешь – всего хватает... И стала страна наша доминировать. Ну, там самое интересное в конце: президент наш в ООН выступает, и речь такая, что, мол, объявляем о победе Мировой революции, а кто против, тот... И вроде против никого нет, только шушуканье в воздухе: а где же демократия? вы ведь говорили, что выбрали демократический путь! Ах! Ох! Я ответ запомнил. Долго смеялся во сне. Им ответили: ребята, неужели вы могли подумать, что мы предадим наши идеалы? Это тактический манёвр был, чтобы усыпить вашу бдительность...

Мисс, вы, бабочки, ничего в этой белиберде-политике не понимаете, поэтому я лучше про девушку закончу рассказ. Насколько я знаю, она до сих пор одна, с сыном, который уже вырос. Мы как-то естественно расстались после того случая. Правильно, кстати, сделали. Потому что приди потом к ней не выдуманный, а настоящий бандит... Хо-хо! Я бы не побежал после такой учебной тревоги ещё раз, мисс. Я бы не смог воспринять её серьезно. Второе дыхание не открылось бы. Да-да, как в сказке про пастушка, всё верно. А откуда вы наши сказки знаете?

Ну вот и все. Хватит на сегодня... Чувствую, сны на подходе, вдруг они снова про Мировую революцию?

### 3

Давай я расскажу о великой силе сказанного слова. Это очень смешная история. Брошенная просто так, без умысла, фраза может и до кладбища довести, как случилось однажды со мной.

Отмотаем назад пленку катушки с надписью «Время». На том месте ещё песенка должна быть записана, очень плохого качества, про маму-анархию и папу – стакан портвейна. Восьмой класс, мисс! Точнее – летние каникулы после седьмого. Я снова в том городке, где лес с земляничкой.

Поздний вечер или ранняя ночь. И звезды, куда уж без них. Под плакучей ивой – скрипучие качели. Конструкция из чугуна, к которой приделана деревянная скамейка. Если долго качаться, то можно протереть подошвы кроссовок. Ноги в качестве двигателя. «Солнышко» на этих качелях не сделаешь. Маленькие дети презирают такие качели за медлительность. Но, думаю, они (качели) могли бы быть полезны гипнотизёрам своей монотонностью. Для влюбленных, впрочем, тоже хороши.

Я уже умел брэнчать на гитаре. Да-да, именно так, брэнчать. Петь пытался. Каждый вечер мы встречались на этих качелях. Человек десять мальчиков и девочек. Места хватало – на таких качелях можно сидеть не только на лавке, но и использовать другие части конструкции. Кстати, они и турник легко заменяли. Видела дерево, облепленное обезьянами? Да? Не ври, нету в окрестностях обезьян...

Чем больше звезд, тем меньше мальчиков и девочек остаётся на качелях. Родители, мисс, волнуются, сама понимаешь. И вот совсем немного нас осталось к половине второго ночи. Если хорошенько подумать, то уже можно было шайку разбойников организовывать из оставшихся друзей и подружек. Пусть малочисленную, но отчаянную! И назвать её «Вышедшие из под родительского контроля». ВРК, если сокращённо.

Сидим. Спели всё, что я умел брэнчать. По несколько раз. Разговаривали о чём-то, разговаривали, а потом почему-то на тему смерти и кладбищ переключились. Страшилки всякие-разные друг другу рассказывать стали. Ещё позже кто-то сказал, что ночью на кладбище, наверное, невыносимо неприятно, а кто-то воз-

разил. А я уже тогда подходил к познанию мира эмпирическим путем, хоть и не знал такого слова.

– Ну и зачем спорить? – сказал я. – Пойдёмте проверим.

Все притихли. Чиркнула спичка, кто-то закурил. И тут одна девочка, пухленькая такая, говорит:

– Пойдем!

Я встал с качелей, ожидая, что и остальные последуют примеру. Только никто кроме этой девочки не шелохнулся. А ей весело, будто она каждую ночь по кладбищам гуляет.

– Мы не идиоты! Хочется вам, вот и идите! Что мы там забыли? – посыпались на меня предательские реплики.

Блин!

Такое развитие событий меня не устраивало. Всей компанией идти, пусть и небольшой, – это почти нормально, но вот с этой толстوشечкой... Она и бегаёт, наверное, плохо, если что. Да к чёрту! Я ведь просто так ляпнул. Хорошо, мисс, пусть не просто. Выпендрёж сие называется. И попался моментально. Я и днем кладбища не любил посещать! А в этом городке оно в лесу располагалось, и топать до него далековато.

– А! – Они что-то почуяли. – Тебе самому страшно.

– Пошли, – сказал я. – Не страшно. – Это я соврал, конечно.

Ой, мисс, мне ещё страшнее стало, когда девочка эта сказала, гордо так:

– Мне с ним ничего не страшно!

Понимаешь? Вся ответственность теперь на мне! То есть ей не страшно, потому что я рядом, поскольку она себе внушила, что со мной не страшно, а мне эту эстафету передать некому...

– Так вы идёте? Долго собираетесь...

И мы, мисс, пошли. Я подумал, что она ещё не осознала в полной мере своего желания. Ляпнула, как и я, просто так. Что очень скоро девочка эта одумается, и произнесет спасительное:

– Холодно стало, пошли обратно.

Или:

– Ой, меня родители искать станут. Они не одобряют, когда я с мальчиками по кладбищам ночами шляюсь.

Нет! Она шла и весело болтала о школе, учителях, словно мы на линейку собрались.

Минут через десять я не выдержал:

– Слушай, ты не замёрзнешь?

Глупый вопрос. Уж она-то точно не замёрзнет.

– Я? Нет, я не мерзлявая, – ответила она. – А ты?

– Иногда, – сказал я.

– Давай я тебе свой свитер дам, – предложила она. – До кладбища ещё далеко, совсем замёрзнешь.

Внутри меня что-то тихо простонало.



– Спасибо, – отвечаю. – Не надо.

Вот и окраина. Последний фонарь, под которым я наступил на жабу.

– Кажется, – говорю, – жабу раздавил. Где-то читал, что это очень плохая примета.

– Жалко, – вздыхает она. – У неё детки, скорее всего, есть. Слушай, а здорово, да? Никогда ночью на кладбище не была.

Мисс, она и не думала поворачивать назад.

– Смотри, – говорю, – там совсем темно, дороги почти не видно.

– Ерунда! – Показывает ручкой на небо. – Сейчас луна должна полностью взойти. Пойдем по луне!

Мы подошли к перекрёстку. Луна ещё не взошла полностью.

– Да, – произнесла она, – как-то немного не по себе, да? Всё-таки страшновато ходить ночью на кладбище.

Я насторожился.

– Но и интересно! – закончила она. – Завтра им расскажем, они ещё и позавидуют нам!

Мысленно ругаюсь.

Идём. Метров шестьсот, держась за ручки, прошли. Впереди появился прыгающий огонёк. Навстречу нам ехал мотоцикл! Девочка прислушалась.

– «Урал», – сказала она. – У моего папы такой же.

– Может, это твой папа с рыбалки едет?

– Нет, он в ночную смену сегодня работает.

Городок – маленький. Мы не догадались спрятаться. Хорошо, что на мотоцикле ехал не её папа. Но на нём ехал кто-то из знакомых её папы. Он очень резко затормозил, когда мы попали под свет фары, прижавшись к обочине. Сначала он не узнал мою попутчицу. Он произнёс:

– Никогда такого не видел. Непослушные дети гуляют ночью недалеко от кладбища, надо бы их наказать.

Ага, мисс, он сказал не так. Но я не хочу при тебе говорить те слова, что сказал он. Я только постарался максимально точно передать смысл.

Мобильных телефонов тогда не было, иначе бы и папа и мама её появились. Но ведь я-то обрадовался этому мужику. Я даже делал ему знаки: мол, сажай дочку своих друзей в коляску, меня – назад, и поехали отсюда. И все будут довольны. Так, мисс, наверное, ведут себя заложники под прицелом. Они не могут прокричать: «Спасите наши души!». Они только и могут делать знаки. Мне показалось, что он меня понял.

– А ну в коляску! – приказал он ей. – А ты сзади садись!

О!!! Сработало...

– Ещё чего! – возразила она. – Чего это вы в мою личную жизнь лезете? Я уже взрослая! – Она взяла меня под ручку и прошептала в ухо: – Не обращай на него внимания.

Мы с мужиком опешили. Он – от наглости, а я от полной потери надежды.

– Тебя завтра ремнём отдерут, – пригрозил он.

– Меня? Никогда! Ладно, дядя Сеня, некогда нам с вами разговаривать – Шурик замёрзнет совсем. Вы нас отвлекаете!

Шурик – это я. Меня к тому времени и вправду нехило начало колотить.

– Ну и идите, – сказал мужик. – Завтра не обижайся.

Ну не совсем так сказал, но смысл такой.

Он уехал. Бросил нас! На дороге, ночью... Мисс, он такая сволочь!



Рисунок Ольги Мышляевой

– Доносчик!!! – прокричала девочка ему вслед. Очень громко, надо заметить, прокричала.

Взошла луна. Идём «по луне».

– Почти уже пришли, – радостно сказала она, слегка прижавшись ко мне.

Поворот. Ещё метров сто. И вот оно, кладбище. Пустая сторожка. Ограда.

Знаешь, мисс, ничего там страшного нет, даже ночью. Что-то мне подсказывает, что и со смертью так дела обстоят. Страшен, может быть, только путь к ней...

На следующий день, когда мы собрались на качелях, когда облепили их, как обезьяны, девочка рассказала всем, что я такой смелый, что мы гуляли по ночному кладбищу и что ей за это ничего не было, несмотря на дядьку-доносчика. Я сидел и краснел. Но теперь я знаю, мисс, что если чего-то очень боишься или не хочешь делать, то стоит, думаю, сказать кому-нибудь: «Нет, мне не страшно и я это сделаю!» Помогает, мисс, потому что деваться-то после этого некуда.

*Смоленская область.*

Сергей Филатов

## Русские сезоны

### АНТОЛОГИЯ ОДНОГО САМОУБИЙСТВА

От меня ушла жена. И я всерьёз стал задумываться о самоубийстве. Не как о факте, просто о самой возможности. И о способах.

Сажу себе в ванной и думаю, точнее, не думаю, а как-то само в голову лезет – а что если бритвой по венам?.. Так ли уж это безболезненно, как говорят? Или повеситься: крюк, верёвка на шее, мыло, табуретка... Б-р-р... Неприятно, наверное. Лучше застрелиться, быстро и красиво...

И начал вспоминать. Отчего вообще люди стреляются? И как? Да мало ли.

Жил да был поэт Дмитрий Голубков. Вполне успешный, хороший поэт. Смотрю сейчас на его фото: интеллигентное лицо с очень тонкими чертами, борода, очки, волосы, зачёсанные назад, нос – обыкновенный, русский, слегка подслеповатый прищур...

И навязчиво снова и снова,  
Ветром осени жадно дыша,  
Вспоминаю глаза Голубкова.  
Митя, Митя! Святая душа!.. –

это строки из стихотворения Анатолия Жигулина «В больничном саду».

Действительно, чего не хватает человеку?.. Абрамцево. Осень...

Моя широкая окрестность!  
Вы выручаете в беде,  
Повелевая мне воскреснуть  
В уютном городском гнезде –

это уже из стихов самого Голубкова, и далее:

...Опомнюсь,  
Встану в полный рост –  
И стены тесные раздвину,

И крылья тайные раскину –  
И полечу, голодный дрозд,  
В Абрамцево, клевать рябину...

Я помню Абрамцево. Был там как-то на экскурсии. Осенью.

Церковка... Врубель, Коровин... да и сам Савва Мамонтов. Господи! Что может быть прекраснее и возвышеннее этой осени!..

*– Когда я был такой, как твой Алёша, – заговорил он, несколько успокоясь, – мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее?*

Почему так? Почему небо блекнет, – как пронзительно точно это описано в рассказе Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал»?..

Васнецов... Алёнушка над прудом... И монолог-признание Голубкова:

*Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дальше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно – так предаваться одному месту? Ты Алёшу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я всё говорил с ними, говорил об Абрамцево, о здешней радонежской земле – мне так хотелось, чтобы они полюбили её, ведь, по-настоящему, это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клён!*

Видимо, в душе у каждого из нас есть на этой земле такой уголок, такой клён, который любишь безотчётно, безоглядно и трагично. Да, да, именно трагично. Эти сугробы за окном, эту старую улочку, рябину и птиц, прилетающих клевать её, – все это можно уместить в одном слове «родина». А трагизм в том, что эта родина – она истинна, в отличие от той – «большой», о которой нам всё время говорят, повторяя при этом как заклинание: «должен, должен, должен...». Если я и должен что-то кому-то на этой земле, то вот этим сугробам, этой улочке, этим птицам. И где-то уже здесь чувствуешь, не всё так в порядке в душе, что-то тревожит её глубоко и безысходно.

От меня ушла жена. Да мало ли от кого жёны уходили! Ну и что, стреляться из-за этого?..

Раньше у меня было ружьё. Хорошее. ИЖ-58. Горизонталка. Оно мне от тестя перешло, по наследству. Тесть его сам переделывал: ложе точил английское из бука, курок один оставил на два ствола, они теперь по очереди стреляли – сначала левый, потом правый. Не ружьё – конфетка!

Мы раньше с тестем и на охоту часто ездили: и по осени – на уток, и зимой – на зайца, на лису... Потом тесть умер от рака гортани, а ружьё мне досталось. Я его на себя перевёл, всё как положено. Но одному на охоту ходить несподручно, а подходящей компании я себе так и не нашёл.

Короче, как-то за делами-заботами оплатить налог на оружие забыл, да и перерегистрацию не прошёл, – явился ко мне участковый. Сначала всё нормально, он по долгу службы объяснил мне, что штраф придется заплатить административный за нарушение правил хранения оружия, что нужно будет обязательно пройти перерегистрацию... А потом, ружьё когда смотрел, что-то зацепило участкового – изъял он у меня ружьё, выписал повестку на административную комиссию. А уж на комиссии решили – ружьё продать через охотничий магазин, ну а деньги мне как бы вернуть. И продали, и вернули... А я так подозреваю, что тот участковый мою «ижевку» и прикупил. Шибко она, похоже, ему приглянулась тогда.

Ну а патроны у меня до сих пор лежат. 12-го калибра. Пачек шесть.



– *Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов!* – попросил он однажды. – У меня кончились. *Всё, понимаешь, чудится по ночам, – ходит кто-то по дому! А везде – тихо, как в гробу...*

Мог ли тогда загадывать Юрий Казаков, что именно один из этих патронов сыграет роковую роль в судьбе его товарища? Вряд ли.

*И дал ему штук шесть патронов.*

– *Хватит тебе,* – сказала я, посмеиваясь, – *отстреляться.*

От меня ушла жена. Как-то нелепо. Сначала хотелось помириться, вернуть её, чтобы всё было как прежде. Однако со временем понимаешь – небо блекнет, и как прежде уже ничего не будет. Никогда.

Может быть – «как бы» как прежде, но это иллюзия, самообман.

*Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так синее, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...*

*А три недели спустя, в Гагре – будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцево, летел и летел через всю Россию, пока не достиг меня...*

В конце концов прошлое неизбежно настигает нас и становится настоящим – какой-то навязчивой мыслью, от которой и рад бы, да никак не можешь освободиться, и она затягивает тебя всё глубже и глубже, удерживает всё крепче и крепче... пока полностью не завладевает твоим сознанием. Это страшно – оставаться в прошлом.

Зима нынче опять снежная, как раньше, как в детстве. Давно не было такой густой снежной зимы. Сугробы выросли почти под самые окна, дети со смехом и выкриками играют в снежки, строят снежные городки и крепости, а самые отчаянные прыгают в сугробы с крыши Дворца культуры. Помню, в детстве мы тоже прыгали. Немного жутковато поначалу с непривычки, но весело – дух захватывает. А потом приходили домой все оснеженные, обледенелые, точно некие фантастические существа, и терпеливо выслушивали упреки и ворчание родителей. Они тогда не понимали нас... уже не понимали...

*Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ножкой по столу, не смеялся, не говорил «скорей!» – ты смотрел на меня серьезно, пристально и молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, – теперь далеко и с каждым годом будет всё отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не моё продолжение и моей душе никогда не догнать тебя...*

Говорят, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Поэтому уже не жду, да и догонять не собираюсь. Зачем?.. Это её решение, её право, и я должен его уважать. Должен...

Я тоже решил для себя, что нужно успокоиться и жить дальше. Стреляться?.. Да нет же.

И всё же...

От меня ушла жена, как-то неожиданно и решительно ушла. Будто выстрел грянул, так же резко и неожиданно, как эта строчка в стихотворении Дмитрия Голубкова:

Каплет туман, осыпаются листья,  
Тишь по ложбинам скопляется гулякая...  
Выстрел.

*Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег ещё с вечера, или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шёл к своему дому?*

*Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы...*

Что же есть умиротворение? Благодать или приятие неизбежности, растворение в окружающем мире или полнейшее усталое равнодушие ко всему происходящему вокруг?.. Думаю, нечто среднее. Небо поблекло – возрастное, ушла жена – значит, так кому-то нужно, в конце концов, жизнь – это совокупность наших потерь и находок, хотя в большей степени потерь, всё основное дано нам с рождения, а мы, проходя по жизни, растрчиваем и теряем данное нам и приходим к Давшему налегке, всё растеряв и растратив. Наивны и чисты, чисты и наивны...

*...он вымылся и надел чистое исподнее.*

*Ружьё висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружьё переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затмыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошёл патрон. Мой патрон!»*

Действо, выполняемое автоматически. Бог мой, сколько раз я открывал замок, переламывал ружьё и вставлял патрон в патронник. Всё! После этого закрываешь стволы, снимаешь спусковой механизм с предохранителя... – ружьё готово к выстрелу. И все это делается спокойно и достаточно быстро, уверенными движениями. И ни о чём не надо думать. Ни о чём.

Никогда не задумывался над тем, что стрелять в себя из охотничьего ружья крайне неудобно.

*По всему дому горел свет. Зажёг свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвел курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы... –*

это написано Юрием Казаковым в 1977 году. Странно, но его описание удивительно точно перекликается с ремаркой из «Утиной охоты» Александра Вампилова (1970 г.):

«Уселся на стул, ружьё поставил на пол, навалился грудью на стволы. Примерился к куркам одной рукой, примерился другой. Поставил стул к столу, уселся, ружьё устроил так, что стволами оно уперлось ему в грудь, прикладом – в стол. Оставил ружьё, стянул с правой ноги сапог, снял носок, снова устроил ружьё между грудью и столом. Большим пальцем нащупал курок».

И, наверное, совсем не обязательно делать выстрел, чтобы понять это. Ни Вампилов, ни Казаков, да и Зилов из «Утиной охоты» выстрела не сделали; последний не успел, а двое первых просто и не пытались. Однако и Казаков, и Вампилов знали, что застрелиться из ружья возможно, только нажимая курок пальцем ноги. Жалко, нет ружья. Я бы проверил. Хотя верю и Казакову, и Вампилову верю – коли написали, значит, знали.

От меня ушла жена, – звучит банально, но это факт. Мысли о самоубийстве тоже банальны, если смотреть на них с точки зрения общества. Что для отдельного человека трагедия, для общества банальность из разряда «бывает». В конце концов, все там будем. Недаром Анатолий Жигулин вопрошает:

Что там, Митя,

В пустыне безмерной?

Существует ли там благодать?

Очень странно и пусто, наверно,  
 Не любить,  
 Не писать,  
 Не страдать?..

И, как бы ответ из прошлого, строки Голубкова:

Живых ничем не беспокоя,  
 Внезапно и легко устать –  
 И стать высокою листвою  
 И необъятным небом стать.

В «Утиной охоте» Зилов отчаянно входит в игру с его похоронами, затеянную другими героями пьесы:

« – Мне Саяпина... Привет. Зилов... Да, живой... Получил, спасибо. Очень смешно... И Кузаков там? Отлично... Молодцы. Я умираю со смеху... Конечно... Все правильно, ребята... Ну так что ж? Приходите на поминки... Ну конечно. Уж доведём это дело до конца...»

Трагедия разыграна. Слишком скоропостижно, слишком на зрителя, именно – разыграна. Видимо, поэтому она превращается в фарс. И итог закономерен – выстрел не грянул, герой «Утиной охоты» остаётся жив. Пусть стечение обстоятельств, но – не случайность...

Для Дмитрия Голубкова решение добровольно покинуть этот мир более серьёзно, он не говорит об этом даже с близкими друзьями, это внутри него, может быть, даже независимо от его воли.

*Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принёс дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу – какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!*

И трудно не согласиться с Юрием Казаковым:

*Нет, не слабость – великая жизненная сила и твёрдость нужна для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!*

*Но почему, почему? – ищу и не нахожу ответа. Или в такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, ещё с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?*

*Душа моя бродит в потемках...*

Что же касается меня, перечитывая всё это, даже что-то написав, – я в полной мере удовлетворил свою вынужденную любознательность. Хотя, может, и не в полной...

Однако, видимо, настал момент остановиться. И чтобы как-то сбросить с себя всё это, освободиться от этих мыслей, повторю ещё раз, надеюсь, что в последний:

*От меня ушла жена.*

## ИНТЕРНЕТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

Друзей у него, похоже, не осталось. Совсем. Работы тоже. Только экран монитора ярко светится в крошечной темноте, как окно в тот мир, который всё ещё открыт для него. Правда и с этим в последнее время проблемы, пособия по безработице не

всегда хватает, чтобы вовремя платить за Интернет. Однако пока как-то выкручивается. Берёт подработки, набирает какие-то глупые тексты, верстаёт совсем глупые книжки или рекламу (вообще без всяких эпитетов). Недавно притащили унитаза, а на его фоне – надпись «нужная комната». В слове «нужная» буква «у» перечёркнута и исправлена на «е». Без комментариев, как говорят в таких случаях.

Однако деньги нужны, а спорить с заказчиком – может себе дороже стать. У них там целый отдел рекламу этого унитаза разрабатывал в течение месяца, разработали, а оформить не сумели, вот и притащили «идею».

– В общем, идея ясна! Оригинально, не правда ли?.. Тут так, осталось штришки последние подработать. Ну, шрифт подберёшь, картинку подчистишь... Сделаешь?

Он молча кивает головой.

– Ты не думай, мы не обидим... Короче, за всё про всё десять баксов. Годится?

А он и не думает, он опять кивает, принимает заказ к сведению:

– Завтра зайдите.

И рисует, рисует с каким-то мазохизмом варианты унитазов: вот их уже пять, шесть... десять... Вот они уже съели почти всю свободную память на диске... Всё, больше этого не вынести!

Он отключает компьютер и ложится спать. Сегодня воскресенье, сегодня Интернета нет. Интернет будет завтра – в понедельник.

Этот мир, он давно уже перестал существовать для него как что-то живое. Мир превратился в какой-то машинальный неодоушевлённый поток времени: все, что он ни делает в этом мире, он делает автоматически по какой-то упрямой инерции; мир не открывает для него ничего нового, просто приходится существовать и выживать в нём. Он давно не получал писем, не влюблялся, не радовался, даже с людьми общался только в силу крайней необходимости – по работе либо если нужно было спросить что-то жизненно важное, например – «а этот хлеб у вас в какую цену?». Всё остальное происходило как-то само собой: принять необходимое количество пищи, отдохнуть нужное количество времени, заработать на хлеб, на Интернет...

Вообще, в душе он, конечно, художник.

Но кому нужен художник в этом мире чистогана. Здесь всё гораздо примитивнее и проще. Есть схема, где тон задают работодатели. Которые имеют деньги и производят в этом мире абсолютно всё. Если есть работодатели, значит, им нужна «рабочая сила». Этакая безликая масса. А вглядываться каждому в лицо – себе в убыток. Поэтому есть удобное классическое оправдание – у меня бизнес, «я себе не принадлежу». А всё остальное, в том числе и она, эта рабочая сила или масса, «продаётся и покупается» Спрос рождает цену, ну и т.д.

Сегодня цена достаточно невелика, поэтому «продаваться» приходится за гроши, почти даром. Но об этом лучше не думать... Выход один – жить иллюзией. То есть в том мире, где ещё нужны писатели, артисты, художники... Хотя и само искусство сегодня – иллюзия, достаточно «дорогая», которую может позволить себе далеко не каждый. А уж создавать её – это почти то же самое, что производить воздух, которым все дышат, но никто не поймёт, если ему сказать: «А платить кто будет?..»

Именно поэтому мир иллюзий – это своё независимое пространство, не имеющее ничего общего с реальностью. Порой, чтобы отрешиться от возникших

проблем, полезно уйти в мир иллюзий. Конечно, существует большая опасность, что двери сработают в одну сторону, и тогда ты станешь добычей врачей, предметом их пристального «заботливого» внимания и опеки. Но кто не рискует... Хотя нет, пожалуй, шампанское в данном случае неуместно. Просто порой мы вынуждены рисковать, ибо нет другого выхода, проблем скапливается столько, что за ними не видно тебя, а потерять свое «я» страшно и нелепо, тогда и само существование теряет всякий смысл.

Он постепенно засыпает... и снова экран.

Мир снов – это почти то же самое, что Интернет: ты так же просто и свободно перемещаешься в виртуальном пространстве, картины возникают одна за другой, меняются, то восторг, то ужас, то разочарование. А главное, совсем неожиданно. Здесь тоже живёшь, а не существуешь, как в том реальном мире. Сравнивать сны с телевизором – нелепо и неуместно. В телевизоре всё задано и предсказуемо, здесь же...

Допустим, вчера он всю ночь пытался отыскать Ирину. Девушку, с которой он познакомился в Интернете. Она тоже художник-дизайнер. Они переписываются уже около двух месяцев, но он до сих пор может только предполагать, как она выглядит. Конечно красивая, конечно с роскошными рыжими волосами, конечно зелёные глаза, умные и добрые, немного с лукавинкой. Она так красиво улыбается... Он отчётливо представлял себе эту улыбку, детскую и одновременно заботливую, немного материнскую, наивную и слегка капризную. Но даже эта капризность казалось ему настолько милой, что он с лёгкостью прощал её Ирине.

«Сегодня перечитал блоговскую «Незнакомку». Про тебя писано». – Это он.

«Знаешь, я не очень люблю бывать в ресторанах. И не настолько туманна и загадочна. Скорее наоборот, скучна и чаще печальна... А ты просто мечтатель и склонен всё идеализировать».

Конечно, она лукавила, но он прощал ей это невинное жеманство. В конце концов, каждый видит то, что он хочет видеть.

Но сегодня сон «не в душу». Видимо, он просто сильно переработал. Какой-то огромный жуткий унитаз тянется к нему толстыми мясистыми фаянсовыми губами, поцеловать хочет. Вот он всё ближе, ближе... И вдруг кто-то невидимый за кадром спускает воду... и он с ужасом просыпается. Время – 6 утра. Странно, ему казалось, что проспал он совсем недолго. Что ж, можно и в Интернет попробовать. Может быть, и Ирина уже там. Входит в «аську» – такая программа для быстрого оперативного общения.

Ему сегодня везёт, Ирина действительно уже там.

– Здравствуй.

– Здравствуй.

– Не спишь.

– Работаю.

– Я тоже.

– Надое-ело.

– И мне. Знаешь, у меня сигареты закончились, сейчас пойду прогуляюсь до круглосуточного.

– Я бы тоже прогулялась...

– А ты где живёшь?

– У «Детского мира».

– Здорово, и здесь же я рядом. Может, встретимся у круглосуточного киоска рядом с «Детским»...

- Может.
- Давай!
- Давай.

Едва светает. Слегка прохладно. Ни прохожих, ни машин. Тихое утро. Не туманное, не седое, именно тихое, безмятежное.

Он, чуть ёжась, выходит из дома в сторону киоска. Нужно свернуть за угол, и сразу остановка и киоск.

Он огибает угол. Вот киоск. Возле него стоит невысокая худенькая девочка в очках. Его соседка. И наивно, по-детски улыбается.

## КОПКА КАРТОФЕЛЯ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

Я люблю эту пору, когда лето уже закончилось, а осень ещё не совсем вступила в свои права. Когда по ночам уже холодно, а днем солнце скупо согревает озябшее тело своими тонкими лучами: такое впечатление, словно с мороза прислонился к нагретой печке, и тепло входит в тебя постепенно, блаженно, неторопливо растекаясь по каждой жилке организма. Светло. И одновременно – грустно.

Грустно при виде медленно опадающих листьев, при виде желтеющих берёзовых рощ вдаль, грустно при виде опустевших черных полей. Придорожная польнь уже высохла и рыжеет высокой стеной вдоль обочины. Если сорвать её гроздь и размять в руке, – удивительный аромат с резким привкусом приятной горечи. Будто дым костра или запах печёной картошки.

Ещё люблю эту пору за её проникновенную лиричность. «О возраст осени, ты мне дороже...» Действительно, что может быть прекраснее тихого, золотого одиночества. Недаром такую осень называют золотой.

Я приезжаю в деревню обычно под вечер. Медленно, с толком топлю баню. Главное в этом деле – не спешить. Баню надо топить осмысленно, проникновенно... С душой. Иначе – пользы не будет.

Для начала нужно воды набрать. В котел, в бачки. Подтягиваю шланг. Наполняю все емкости под завязку. Теперь можно и печь разжечь.

Беру пару сосновых полешек, кладу их параллельно, на небольшом расстоянии друг от друга, отрываю кусок бересты, топором отщипываю несколько тонких лучинок, несколько потолще; бересту – между поленьями, над ней – крест накрест – костерок из лучинок, и всё это сверху, поперёк, закладываю дровами, вперемежку сосновыми и берёзовыми. Так и жару достаточно, и дух есть. Поджигаю. Убедившись, что занялось, закрываю печь. Теперь уж точно разгорится. Пожалуй, можно и покурить.

Выхожу, сажусь на крыльечко. Смеркается. Звёзд ещё нету, но сумерки постепенно густеют из воздуха, точно сметана из молока. Закуриваю.

Минут пятнадцать у меня есть. Пока первая партия дров прогорит. Потом нужно подбросить ещё. И минут через десять-пятнадцать – баня готова. Самое время стопку водки выпить. Говорят, перед баней не рекомендуется. Чушь собачья. И париться веселее, и потеешь лучше. А в баню с собой лучше кваса взять, прямо из холодильника...

Баня у родителей хорошая, тёплая. Жар равномерно растекается по всему пространству парилки. Плеснул в каменку – и благодать. Сердечко, конечно, не то, что в молодости. Возраст дает о себе знать. Но зрелость тем и хороша, что с ней приходит чувство меры. Главное не перепариться, иначе голова болеть будет, да и вообще состояние потом не очень приятное.

Впрочем, меру свою уже знаю. А когда выхожу из парилки, обязательно холодной водой окатываюсь. Кожа натягивается, мышцы приобретают необыкновенную упругость. Здорово! Свежо! Молодо!

После бани можно и на крыльечке посидеть. Звёзды уже высыпали, тихо вокруг. Иногда только где-нибудь собака залает или калитка скрипнет. А так – тихо.

На картошку вставать рано не надо: с утра – роса на траве, да и земля сырая. К тому же прохладно. На поле лучше идти к полдевятому – девяти. Поэтому ложиться не тороплюсь.

Жизнь дала трещину. Фраза банальная, но как-то особо пугающе верная. Я даже не понял, когда и, собственно, как это случилось. Было всё: работа, цель, мечта. И вдруг – ничего не стало. Пустота какая-то.

Все обвалилось в один миг. Стоило только осознать свое «я». Раз ощутив к себе уважение, уже не можешь больше «прогибаться» под обстоятельства, приспособливаться к кому-либо. Ты такой же, как он, и не хуже. Однако такова подлая природа человека, что не может, не хочет терпеть он рядом равных себе. И если вдруг понимает, что ты не заискиваешь перед ним, что разговариваешь с ним как с равным, почему-то старается унижить тебя. Унизить и втоптать в грязь.

Говорят, лучшее средство от депрессии – хорошая физическая нагрузка. Наверное. Потому и радуешься так предстоящей «картофельной страде», просто руки по работе чешутся.

Удивительно, раньше я искал всяческие причины, чтобы увильнуть от этого занятия. Почему? Да молод и глуп был. Не понимал всей его глубины, всей философичности. В сущности, если разобраться, копка картофеля – нечто почти святое. Во-первых, случается это всего раз в году, как любой настоящий праздник; во-вторых, где ещё возможно такое единство и взаимопонимание. Все мелкие распри вдруг забываются, всех объединяет одна цель: скорее сделать работу – выкопать и рассыпать картошку на поле, чтобы потом, с осознанием исполненного долга, лечь навзничь на траву и слушать, как неторопливый, ещё тёплый пока сентябрьский ветер обдувает картофелины. Смотреть, как сохнут они под струйками ветра, как постепенно твердеет, высыхая, тонкая шкурка.

Ещё можно просто смотреть в небо. Оно чистое – ни единого облачка. Удивительно по-сентябрьски синее: синева глубокая, медленно остывающая, последняя – мурашки по коже бегут. Такая трагичная по своей сути синева бывает только в сентябре и никогда больше.

Невольно мысли зарождаются: чего ещё людям надо – вот сентябрь, вот рощи золотятся, вот небо; картошка выкопана – значит, зиму жить можно... Живите и уважайте друг друга! Но нет, не хотят. Хотят больше, больше, больше... А зачем?

Лежишь на спине, глядишь в небо, и ничего тебе не надо. Осталось только сложить картошку в мешки и вывезти с поля. Впрочем, за этим дело не станет.

Картошку перебираем всем гужом. Шутим, подкальываем друг друга.

– А понарезано-то сколько! И кто только подкапывал, поглядеть бы на него!

– Зато и резать не надо, бери и жарь...

Отдельно отбираем семенную – среднюю и чтобы крепкой была, не подпорченной, не подрезанной. Потом на еду складываем. На поле остается только мелочь, но и её складываем в отдельные мешки, помечаем их другими разноцветными завязками. Мелочь мы у соседа поменяем на едовую – ведро к трём. Ему она пригодится – поросят зимой кормить.

Вся картошка уже в мешках. Теперь только вывезти. Я загодя договорился с заводским шофёром Ваней Бабиным. Точнее, он Иван Павлович, но все на заводе зовут его Ваней.

Ване под шестьдесят. Этаким крепкий крестьянин, седоватый, сильные жилистые руки, простое лицо. А глаза синие, как сентябрьское небо.

Под стать ему и машина – старенький газик с будкой, настолько древний, что Палыч на нём даже по трассе больше шестидесяти не ездит, а уж по полю!.. – на лошади быстрее будет. Ваня ласково называет свое авто Нюркой, так и пристало, на заводе все тоже газик Нюркой кличут. Завгар грозит списать машину, но Палыч уверен, что он на Нюрке ещё доработает, вот и холит, лелеет её, взаправду как женщину.

Да, что-то опаздывают Ваня с Нюркой. Ну да ничего, время ещё есть, время ещё терпит. Подожду.

Высоко в небе прямо надо мной кружит стайка молодых журавлей. Как мне объяснили, это они так к отлёту готовятся, крыло укрепляют. Одинокий сокол сидит недалеко на телеграфном столбе. Изредка лениво поглядывает на журавлей, как бы дремлет. Сокол старый, мудрый, почти как Иван Палыч.

А вот и Ваня, лёгок на помине. Слышно, как по-старчески ворчит вдоль лесополосы Нюрка. Недовольна старушка, куда ж её по таким-то кочкам.

– Привет, Палыч.

– Здорово.

– Чего припозднился?

– Да на заправку заезжал. «Нюрка» кушать захотела.

Иван неторопливо, по-крестьянски оглядывает мешки с картошкой.

– Как урожай-то?

– Нормально.

– Тридцать мешков, – наконец подсчитывает он. – С пяти соток... По сколь у тебя в мешке?

– По четыре ведра.

– Ого! Сто двадцать ведер!.. Знатно. – Палыч по-доброму завидует. – А у меня с десяти сто восемьдесят... Эх, кабы знал, тоже бы в поле сажил.

Палыч сажает в огороде возле дома. Удобнее – возить далеко не надо. Но там нынче у всех картошка не очень, то ли земля недоудобрена, то ли вспахано плохо... Сочувствую Палычу, да и «леща» надо бросить, как без этого.

– Да-а, не о-чень. У тебя ведь, поди, поросята в зиму?

– Е-есть, – соглашается Палыч.

Пока он открывает замок на будке, успеваю подумать: «Надо же, последнюю фразу я сказал совсем как Палыч. Не то чтобы передразнивал, просто как бы его тоном даже, – так по-крестьянски, делово, вразяжку».

Откуда это во мне? Видимо, осень... и картошка.



Мешки выгружаем у родителей. В старый сарай. Сарай этот уже давно стал притчей во языцех: нелепый и огромный. Раньше здесь жил прораб ПМК «Сельстрой», и сарай этот служил ему складом строительных материалов. Так было удобнее, днем всё на виду, и ночью местные жители доски не растаскивают. Все-таки частный дом – не общественный склад, не очень-то полезешь.

Потом сюда переехали родители, а сарай так и остался. Конечно, для хозяйственной постройки он неудобен, занимает очень много места, а толку от него мало. К тому же покосился, точно Пизанская башня. Но стоит. Внутри мощная основа из лиственничного бруса, довольно крепкая, так что лет двадцать ещё, а то и больше простоит.

Каждый год думаю сломать его к чертовой матери, а на этом месте поставить сарай, дровяник и летнюю кухню, даже ещё место останется. Но почему-то ломать старый сарай жалко, привык к нему, что ли...

Ну вот и всё – все мешки выгружены, рассчитываюсь с Палычем «жидкой валютой». Иван доволен, вечером он собирается топить баню и поллитровка ему придется ох как кстати. Всё не в магазине покупать.

Он заводит Нюрку, она уже не ворчит, трогается довольно весело, даже прытко для её-то лет. Что ж, остаётся только порадоваться за них с Палычем.

Вот дело и сделано: картошка на месте – выходные прожиты не зря. Завтра опять вернусь в свое безвременье, снова всё уляжется в прежнее русло: буду искать работу, цель в жизни, мечту...

А может, всё не так плохо, как кажется, и всё еще наладится? Как знать.

## ОСКОЛКИ ОДИНОКОГО ЛИСТОПАДА

*Ивану Семоненкову*

Знаешь, Иван, смотреть в листопад занятие настолько увлекательное и затягивающее, что постепенно стираются пространственные и временные границы. Мысли и образы сплетаются в одну большую картину мира уходящего... или застывшего в памяти. Листья опадают медленно и неравномерно. По времени. Но упорядоченно, словно какими-то невидимыми завихрениями в трубе с неуловимой, но точной турбулентностью. Ветра нет, но холодно. Синева неба неестественно глубока, точнее, бездонна. Есть в этом во всём какая-то пугающая торжественность и монументальность, пограничность, что ли...

Такой осенью тоска захватывает острее и безысходнее, чем обыкновенно. Особенно в ясные сентябрьские дни, когда холод уже не уходит из тебя совсем, и ты неизбежно чувствуешь его присутствие в руках, под курткой, в ботинках, и нет возможности согреться хотя бы на миг, ощутить в полной мере приятное благостное тепло. В такие моменты зачастую кажется, что это уже навек, и словно не было никогда ничего другого – один только вселенский холод и остывающая красота осени.

– Нина!.. Нина... – Я вспоминаю его, бессильно сидящего за столом, почти чёрного от глухого похмелья, подпирающего рукой лоб. – Дай на четок! Сдохну ведь...

– Сдохни.

В последнее время запои его становились все дольше и тяжелее. Словно он сам сознательно стремился туда... в потусторонность, чувствуя какую-то внутреннюю обречённость и безысходность происходящего вокруг.

Наверное, многим это чувство знакомо, но немногие из нас доводят его до предела, до черты, до какого-то логически неизбежного конца. До сих пор не могу ответить себе – что это? Данность?.. судьба?.. или просто слабость?

Человек живёт в некой среде, где всё подчинено одному закону – выжить, обеспечить себя крышей над головой, пищей. Кому-то этого достаточно, кто-то вынужден с этим мириться...

Вспоминаю слова Высоцкого, сказанные Золотухину: «Валера, ты же знал, что для меня значит роль Гамлета. Что ж ты так легко согласился меня заменить?.. Хотя я тебя понимаю, ты живешь по общепринятым законам. Я – по своим».

Да, многие вынуждены мириться.

Но если, не дай Бог, у человека свои понятия о дружбе, о верности, о чести – он неизбежно перерастает свою среду, своё время, и чем больше это несоответствие, тем с большей силой среда выталкивает его, как любое инородное тело. Человек, оказавшийся вне среды, вне времени – обречён. Это неизбежно.

– Нин-на... Ну на четок!..

– Господи-и... Да на!

Найдя в жизни своё, единственное, он уверился, что, именно делая это, будет полезен людям, и писал свои повести, рассказы. Талантливые и яркие. Его хвалили, даже в Союз писателей – беспрецедентный по тем временам случай! – приняли только по журнальным публикациям.

Помнится, когда он премию Шукшинскую получил, как всё у нас – с опозданием, год спустя, то пошёл и взял на всю премию две бутылки водки.

Так и жил, пил и писал, писал и пил. Потерял работу, почти всех друзей, себя... Понимал всё это, но к прежнему вернуться уже не мог.

Единственная его книга, вышедшая при жизни, была издана тиражом 50 (!) экземпляров. К 50-летию. Я тогда, помню, бегал, каких-то спонсоров искал, ещё один наш знакомый помог сверстать, думали, это хоть как-то его вдохновит, поможет выйти из запоя...

К сожалению, труд писателя у нас в стране хотя и востребован, но практически бесплатен. Настоящая, некоммерческая литература – как воздух: все читают, все пользуются, но никто не платит.

Один мой знакомый как-то говорил мне: «Знаешь, незадолго до смерти с Ваней разговаривал, он всё рябину почему-то поминал, всё говорил, мол, часто в последнее время рябину во сне вижу... и родителей».

Почему рябину – не знаю. Только под моим окном тоже рябина растёт, одинокая, тонкая. Когда автобусную остановку асфальтировали, рябину под асфальт закатали. Со всех сторон. И торчит она теперь из-под асфальта как хлыст. Остановку потом опять на прежнее место перенесли. По просьбе жильцов. А асфальт остался.

Странно, недавно я впервые заметил, что рябина эта хранит сразу два урожая ягод. Одни гроздьё чёрные, скрюченные, совсем засохшие – с прошлого лета; другие – нынешние, уже по-зрелому налились густой бордовой мякотью и привлекают внимание птиц. То ли раньше этого не было, то ли я просто не замечал. Или же что-то меняется в природе, в нас, и не хватает у рябины сил старый отмерший урожай сбросить на землю? Как знать.

Так и память, так и мысли... Когда смотрю я на свою рябину, как-то очень чётко представляю, что моя родина – это место, где я родился и живу. Потому, когда мне говорят «Россия – твоя родина», я понимаю. Но если: «Россия – родина! И ты дол-

жен...» Позвольте, господа, никому я ничего не должен; а то, про что вы говорите, – это страна горбачевых, ельциных, путинных!.. Я только вынужден подчиняться тем правилам, которые они для меня устанавливают, жить по их расписанию. Иначе меня просто выбросят, как ненужный хлам, как инородное тело.

Мою рябину полюбили синицы. Налетают стайками, сидят, клюют, переглядываются. Иногда самая любопытная из них перелетает на подоконник. Садится и, не мигая, смотрит на меня маленькими глазками-пуговками.

Синица может смотреть долго, если сидеть не двигаясь. Но кошка прыгает на подоконник, глухо стучается лапами о стекло. Глупая... Я прогоняю её. Однако и синица улетает на рябину, к подругам.

Если бы не кошка – между мной и синицей могла установиться ниточка взаимного понимания, пусть тоненькая, пусть зыбкая... А что, мы бы оба смотрели в глаза друг другу, долго, возможно, я бы смог понять, что она думает обо мне.

Но кошка... она оборвала ещё не начавшееся общение. Такова правда, и ничего с этим не поделаешь.

Что такое художественная правда? Мы не раз говорили об этом с Иваном.

– Понимаешь, есть правда жизни и правда факта, – горячился Иван, убеждая не то меня, не то самого себя. – И правда факта не всегда являет собой правду жизни. И наоборот: вспомни у Вампилова «Провинциальные анекдоты», «Старший сын» – насколько нелепые, нереальные ситуации... Но веришь! Веришь ведь!? Тебе врут, но так, что ты веришь, вот это и есть правда жизни. А считаешь некоторых наших местных классиков – да, всё так, всё – «правда», но что-то не то...

– А сравни: «Выхожу один я на дорогу; / Сквозь туман кремнистый путь блестит; / Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, / И звезда с звездою говорит...» и «Туман. Тамань. Пустыня внемлет богу. / Как далеко до завтрашнего дня. / И Лермонтов один выходит на дорогу, / Серебряными шпорами звеня...» – перебивал его я. – И там и там все сделано мастерски, но почему в одном случае гениально, в другом талантливо, изящно, красиво, но гениальности нет?

– Нет, – соглашался Иван несколько недоумённо.

– Всё просто. В первом случае – нерукотворная картина, точно Михаилу Юрьевичу диктовал кто, а у Георгия Иванова, напротив, за талантом, изяществом скрыта все-таки некоторая поза...

– Пожалуй, ключ здесь: нерукотворность, – заключал Иван.

Конечно, нерукотворность, то есть промысел Божий, как у Бунина: «Писать надо божественно». По крайней мере, хотя бы стремиться к этому. А иначе – зачем?

Впрочем, скорее всего я его не перебивал, просто сидел и слушал. По поводу Лермонтова и Иванова – это пришло ко мне позже, потом. Просто воспринималось как диалог с ним, незаконченный, вечно продолжающийся.

Жизнь зачастую противопоставляет одну правду другой.

«Мне, право, жаль, что вы ещё не с нами. / Не лгите: с кем? И... выпьем коньяку». – Это Арсений Несмелов (Митропольский). Поэт-эмигрант первой волны. Харбин. Позже он умрёт на родине, в России. На полу камеры пересыльной тюрьмы в Гродекове, близ Владивостока.

Действительно, с кем? С красными? С белыми?.. У каждого своя правда, своя родина, своя Россия. И не спасает даже, опять же несмеловское, по-мальчишески вызывающе-задиристое: «И все же, конторская мырма, – / Сам Ленин был

нашим врагом!». Исторически эта правда была изначально обречена. Про всё это я писал в первом номере альманаха «Бийск», который мы создали с Иваном, с Олегом Кузовлевым, с Игорем Деревянченко.

– Иван, ты же знал, что для меня альманах «Бийск», почему же ты согласился редактировать его вместо меня!?

– Я не хотел, чтобы он умер.

– Он все равно умрёт...

Это один из последних наших разговоров.

Я тогда пошел на принцип, протестуя против вмешательства городского отдела культуры, взявшего «под крылышко» созданный нами альманах. Казалось, что всё-таки содержание издания должна определять редколлегия, состоящая из профессиональных писателей, а не чиновники, которым очередной номер был нужен к очередной дате. Общаясь тогда с Иваном, я чувствовал, что между нами происходит что-то не то. Он словно хотел мне нечто сказать, но не решался. И только спустя некоторое время я узнал, что его назначили редактором «Бийска», даже не известив меня о моей отставке. Конечно, было обидно...

Я и до сих пор не знаю, что в той ситуации было правильнее: моя принципиальность или его компромисс.

Однако правда конкретного времени неумолима. И, как часто потом оказывается, именно она дальше всего от истины. Недаром, чтобы доказать истину, Христос принёс в жертву себя. А мы... мы приняли это как должное.

Как-то один мой знакомец, приверженец индуизма, сказал: «Мы не отрицаем христианство, так же как и ислам, и буддизм... И Будда, и Магомет, и Иисус – это пророки, а Бог один». Эти слова не что иное как признание христианства без Христа, без его способности к самопожертвованию. Теряется основной смысл всего.

Этот знакомец мой по-своему, наверное, прав. Но это его правда, его данность. То есть то, что заложено в нас с рождения. Это я понял, общаясь со своим цейлонским другом Пасаном Кадикара. Вернее, я понял, что мне с моим рациональным европеоидным типом сознания не стоит пытаться истолковывать основы восточной философии. Ох уж мне эти блаватские и даниилы андреевы, «розы мира» и прочие сказки для детей в возрасте!.. Любая система, лишённая первородности, – уже рукотворна, насильственна, и этого не скроешь никакой даже самой выверенной логикой.

Не знаю, почему все наши попытки систематизировать этот мир терпят крах осенью. Словно некий цикл заканчивается, и думаешь: да – незавершённость, да – несовершенство, да – повторяемость всего...

Но – синева, как она бездонна и торжественна!.. Но – листопад, рассыпающийся на сотни, тысячи мгновений!.. Но – тишина, глубже которой не бывает... Но осень, словно последняя...

Сколько же их ещё будет? А, Иван?

## ФУТБОЛ ПОСЛЕ СОРОКА ПЯТИ

Футбольный сезон в нашем детстве начинался в конце марта, реже в начале апреля, и то когда март случался ещё зимним холодным месяцем.

Лишь только солнце начинало греть по-весеннему и оттаивал большой песчаный пустырь у трамвайного депо, как мы, дружная команда-ватага квартала № 14, переодевшись в кеды, футболки, трико, ежедневно весело и шумно гоняли чёрно-белый ромбиковый мяч с «после школы» до позднего вечера. И не беда, что вокруг в тени деревьев еще чернели грязные, не совсем растаявшие сугробы, что в низинке за нашим футбольным полем скапливалась большая глубокая лужа, которая по ночам покрывалась тоненькой корочкой льда, и порой мяч наш улетал в эту лужу, и доставать его с середины приходилось большой длинной жердью, позаимствованной здесь же, от забора соседней санзоны.

Первый футбол после долгой зимы... Стоит ли объяснять, что это такое, тем несчастным хорошистам и отличникам, тем маменькиным сынкам, кто в своей жизни ни разу даже ногой по мячу не ударил. Тем, кто ходил со скрипкой и нотной папкой в музыкальные школы, потом зубрил дома, у скучного чёрного рояля, бесконечные этюды и пьески Черни, Моцарта, Баха. Они даже никогда не читали книгу «Три удара Пеле», да и вряд ли знали, кто он, этот великий неповторимый бразилец, непревзойденный мастер, укротитель мяча, умеющий в футболе всё!.. Или абсолютно всё, как нам тогда казалось.

Почти каждый из нашей шумной разношёрстной команды видел тогда себя почти Пеле, Ревелиной, Горинчей... И это был действительно футбол, азартный, самозабвенный, порой очень красивый! Сейчас так не играют.

Сейчас играют за деньги. То там, то здесь в газетах, с телеэкрана слышишь: «купили футболиста за 5 миллионов евро», «футболист заключил выгодный контракт в 2 миллиона долларов»... Искусство продаваться теперь в почёте. Иначе не проживёшь.

Но тогда о деньгах мы не думали. Мы просто гоняли мяч. Для одного из нашей ватаги – Сереги Пыжкова – потом это стало профессией, он тоже стал продаваться за деньги, сначала из нашего «Прогресса» в соседний кемеровский «Кузбасс», потом куда-то в дубль первой лиги, но, как я слышал, у него там не сложилось, и в последнее время он где-то в такой же провинции, как и наш городишко, тренирует детскую команду. Опять же, по слухам, личная жизнь у него не сложилась. Впрочем, слухи есть слухи...

Какие голы он забивал в самодельные, сколоченные из обыкновенных строганых брусков ворота! Какие голы! «Сухим листом» подкручивали мяч с углового, бил в падении головой или – ногой через себя.

Падать тогда было почему-то совсем не больно. Помню, как однажды кто-то в борьбе за мяч оттолкнул меня, и я сильно ударился плечом об штангу. После этого ещё часа два я бегал вместе со всеми, отдавал голевые пасы, даже забил гол – красивый – и, только придя домой, заметил, что плечо у меня сильно распухло и болит. После этого – травмпункт в соседней поликлинике, жестокий приговор врача – «разрыв соплечья», гипс и – целых две недели без футбола!

Но, пожалуй, самыми жестокими и бескомпромиссными были межквартальные схватки, когда мы вызывали на матч одну из ватаг соседних пятнадцатого или двадцатого кварталов. Здесь бились действительно «не на жизнь» – до последнего гола. Проиграть в такой схватке считалось величайшим позором, и если такое случалось, то проигравшие целую неделю тренировались с утренней энергией, чтобы в следующее воскресенье непременно вызвать обидчи-

ков на матч-реванш и непременно выиграть с крупным счётом! Иначе и быть не могло!

Хотя по-всякому бывало.

По-всякому бывало и в жизни. Это теперь, когда сорок пять, понимаешь, что жизнь прошла, и прошла зря или почти зря. Большинство из нашего поколения «создавало оборонную мощь страны», мы заканчивали ПТУ, техникумы, единственный в нашем городе политех и шли работать в «оборонку». Делали ракеты, снаряды и прочие атрибуты мифа о могуществе родины.

Потом «оборонка» развалилась. Многие остались ни с чем и безо всяких перспектив на будущее. Целое поколение безработных. Хотя и сегодня во всех газетах видишь объявления «требуется... требуется... требуется...». И как разговор – «до 35 лет».

Нынче весна отчего-то очень погожая, очень футбольная. Такой исключительный конец марта!.. Оттаяло всё, тепло уже от земли чувствуется. Особенно к полудню. Эх, самое время в футбол играть!

Я теперь часто хожу на работу и с работы мимо трамвайного депо. Того самого. Поле наше футбольное уже пообрезали, построив с краю частную шиномонтажку. Ворота наши ещё стоят, но какие-то сильно заброшенные, давно мяча не знавшие. Подъезд к шиномонтажке и площадку забетонировали скорёхонько, как всё сегодня, поставили современный обшитый сайдингом бетонный модуль, и качают себе там колеса... Клиентов, правда, у тамошних шиномонтажников пока маловато, но, видимо, со временем место приработается, «прирастет», да автомобилисты по привычке и станут обслуживаться здесь. Особенно из соседних гаражей.

Гаражей в этом районе полно. Вот и неподалёку от площадки расположен большой гаражный кооператив. Там находится и мой гараж. Там был и гараж Марка.

Марк, он же Марек, – наш правый край нападения. Из той «команды молодости нашей...». Какие мячи он подавал справа со штрафных и угловых! Оставалось только подставить голову или ногу. И мяч в сетке. Впрочем, вру, сетки у нас оторваться не бывало. Но это и не важно было – главное гол забить.

Так случилось, что Марек умер первым. Мы редко встречались с ним, хотя и жили в одном квартале, машины в одном гаражном кооперативе ставили. Но как-то не пересекались.

Он, кажется, болел. Печень. Ходил весь жёлтый, худой. Впрочем, и пил он не по-детски. Знаю, что после ПТУ работал слесарем где-то на одном из наших оборонных заводов. Позже пытался самостоятельно заниматься частным строительством, попросту калымил, частенько бывал при деньгах, быстро пропивал их, снова садился на мель, и так дальше по замкнутому кругу.

Такая нестабильность была причиной и его неустроенности в личной жизни, с женой он разошёлся давно, жил с разными совершенно случайными женщинами, достаточно часто, примерно раз в неделю, менял их, пить от этого не переставал и всё болел... Печень.

«Ловила» наш, Лёха Борщев, был вторым «в очереди». Он вообще на рыбалке умер. Сидельный он был, Лёха. Сел лет в 19, по глупости, за драку. Потом ещё за драку. Потом вышел, работать устроился грузчиком, женился было. Да жена

гулящая попалась. Говорят, прямо при Лёхе с мужиками спала. Разошелся, но работу не бросал. Всё говорил при встрече: «Хватит, насиделся. Пора и жить начинать...». Начал.

Я на той рыбалке не был, но мужики рассказывали. Пока ехали, он всё на здоровье жаловался. И не то чтобы с глубокого похмелья, но немного, как говорится, в нём было... Как на место добрались, решили перекусить немного. Пока мужики консервы вскрывали, Лёха полторашку пива открыл. Ну и приложился к ней с желанием. Почти половину выдул. Поставил полторашку и упал навзничь. Мужики сначала подумали – придуривается, скатерть расстилать начали, потом хватились, а Лёха уже готов. Кинулись в ближайшую деревню, медика привезли, милиционера... Потом Лёху в багажник кое-как уложили, здоровый он был, Лёха, не менее сотни кило. И 150 километров так в багажнике его и везли. До дома.

После Лёхи были Петька Пискунов – правый полусредний, Жора – опорный защитник, Васька Оденин и Алик – те, что по краям играли, Семён...

А не так давно «случился» Юрка – центральный нападающий. Юрка вообще был любимчиком команды, и ему многое прощалось. Он мог позволить себе не оттягиваться назад, задерживаться где-то в центре поля, иногда передерживал мяч, жадничал – не пасовал... Все мы, конечно, мастера были тогда, но Юрка – это был Юрка. Никто так, как он, не чувствовал голевую ситуацию, нога его всегда оказывалась именно «в то время и в том месте», голы он забивал самые нужные и необходимые, ещё случалось зачастую – просто так, между делом, как бы нехотя, скучая... А иногда и стремительно логично завершал комбинацию, в которой участвовали мы все. Но слава-то доставалась ему, Юрке!

Он относился к этой славе снисходительно, несколько свысока, однако мы все понимали, что Юрке все равно приятно где-то в глубине души, и славой этой он «за просто так» ни с кем делиться не согласен.

Странно, но тогда ему никто и не завидовал. Зависть могла появиться позже, но и позже завидовать было нечему... Обычная схема для нашего двора, для нашего поколения, для нашего небольшого города: работа на «оборонку», безработица, случайные заработки, водка...

Впрочем, водка и стала для Юрки той отдушиной, которая как-то скрашивала ему жизнь. На нашей улице Разина в годы пресловутой горбачёвской «перестройки» поставили вагончик, обыкновенный такой, железнодорожный. Кто-то из сидельных поставил, с двадцатого квартала, не знаю, возможно, и он с нами в футбол когда-то бегал. А внутри вагончика – пивбар. А в пивбаре, кроме пива, бадьяная водка, ну, просто спирт разведённый, не по-менделеевски, а так, на глаз... Да и спирт-то не лучшего качества.

Но Юрка как-то прирос к этому вагончику. Сторожил его по ночам вместе с барменшами – благо все они почти молодые были и на фигуру ничего – за какую-то весьма символическую плату, к тому же имел там же в вагончике неограниченный кредит «в граммах», со всеми завсегдаями был на «ты»...

А публика в вагончике случалась самая разная: от гитариста-неудачника до «нового русского» – типа пальцы веером, «всё ништяк, пацаны», от спивающегося интеллигента до бомжа «в законе». Было там, в вагончике, весело, и жизнь там куда-то текла, в отличие от окружающей жизни.

Там же беззаботно, глупо и весело текла Юркина жизнь. Или её подобие... Всё это раззадоривало Юрку и придавало какой-то смысл его бессмысленному сущест-

вованию. Жена у него работала в банке оператором, поэтому особых финансовых затруднений Юрка не испытывал. Дочь растил опять же, когда трезвым быть случалось...

Но вот как-то шёл домой с «работы», заночевав с молодой барменшей Лилей, часа этак в четыре утра шёл, – ну и встретился с наркоманами. Прилетело ему по голове, да хорошо, видать, прилетело, в реанимацию попал.

А встретил я тут недавно бывшего одноклассника. Он меня спрашивает:

- Про Сомова знаешь? Про Юру?
- Конечно, знаю, в реанимации лежит...
- Да-а... лежит. Позавчера схоронили!
- Как?
- Вот так...

Последним, пока последним, стал Вовка Остряков. Один из двух Остряковых. Не братьев, однофамильцев. Впрочем, оба они играли в полузащите, правда, на разных флангах.

Если о Вовке, то он был тот ещё «финтила» – маленький, юркий, как Александр Заваров. Кто такой Заваров, нефутболистам объяснять не буду, был такой футболист в годы нашей юности, играл в СКА Ростов-на-Дону, в киевском «Динамо», в «Ювентусе», ну и так далее...

Порой мы просто поражались Вовкиной способности двумя-тремя финтами проскочить через частокол тел, ног и прочего, а уж убежать от соперников ему труда не составляло. Бегал Вовка быстро... Но от себя не убежал. Всё один к одному, как у всех: безработица, водка, а потом ещё и «дурь». На «ханку» подсел.

Жил Володя с матерью и сестрой. Намучались они, конечно, с ним. Однажды я сам слышал, как Вовкина мать с ненавистью говорила ему: «Когда ж ты сдохнешь-то?!». Володя что-то мычал в ответ добродушно, вроде «скоро, скоро, мать...», пускал слюну и смотрел выпученными глазами.

Впрочем, иногда, когда Володя бывал трезв, он ненавидел себя, ненавидел жизнь свою такую и спрашивал меня на полном серьёзе: «Как думаешь, выкарабкаюсь я из этого дерьма? Знаешь, как надоело, на работу никуда не берут, всем теперь до 35 нужно... А мне уж под полтинник почти... Куда я им?! А дома матери в глаза смотреть стыдно... И страшно».

Нашли Вовку дома в ванной. Со вскрытыми венами. Полная ванна окровавленной воды. И Вовка.

Хоронили тоже наскоро. Лето было, боялись, долго не пролежит, портиться начнёт. Или ещё почему-то. Мать Вовкина была какая-то потерянная, но не плакала. Когда смотрел на неё, меня не покидало ощущение, что с плеч у неё огромный груз свалился. И, грешным делом, думалось: «А может и прав он, Вовка...».

Второй Остряков, Серёга, тот просто спился. Получил инвалидность, на вид молодой, здоровый, но что-то с ногами у него стряслось – отниматься стали. Пенсию ему назначили небольшую, но стабильную, что, согласитесь, по нашим временам немаловажно. И он её честно, всю до копейки, пропивал. Жена постоянно «пилила» Серёгу, но не уходила. Жила с ним. Любила.

В конце концов из квартала Серёга уехал, квартиру свою на «красной линии» продал какому-то барыге под магазин. Вырученную разницу успешно пропил и в последнее время, по моим сведениям, сторожит где-то на автостоянке – сутки



через трое. Так же пьют, в квартале появляется редко и всё жалуется на ноги. «Понимаешь, совсем ног не чувствую, – обычно плачется после каждой рюмки. – Да-а... А ведь играли когда-то мы... Как играли!.. Помнишь?»

Помню, Серёга, конечно же всё помню! Хотя и времени немало прошло...

Последние годы особенно выкашивают почему-то наше поколение, которое государство давно похоронило. И немного уже нас осталось. Хотя остались ещё!

И где оно, Серёга, то время?

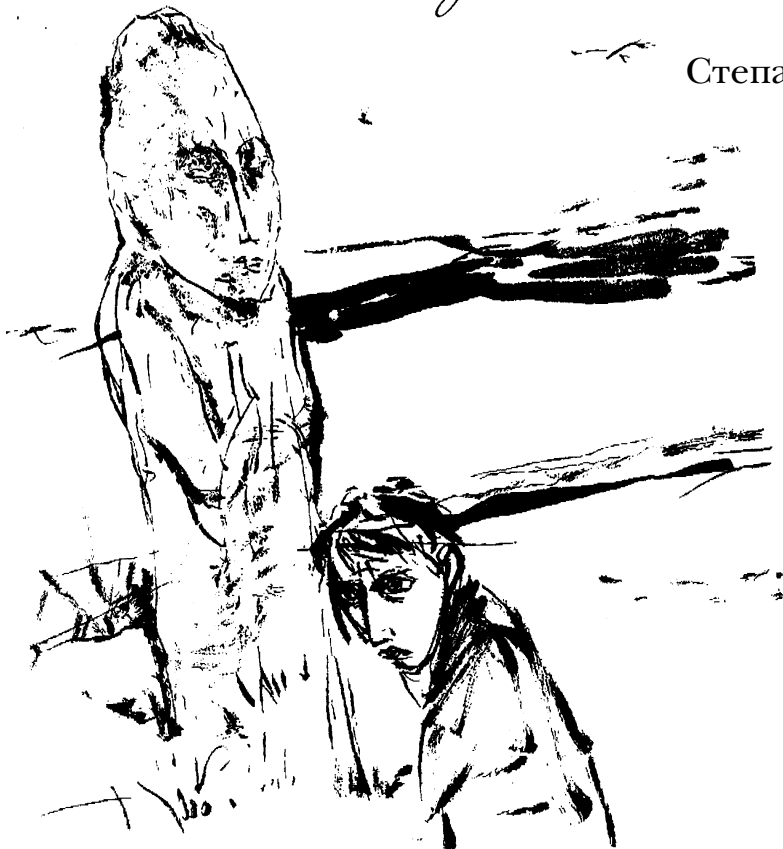
Где тот футбол?..

*Бийск.*



Дома на улице Суворова

Андрей Духовников



## Хлебниково поле

Стоит с улыбкою недвижной,  
 Забытая неведомым отцом,  
 И на груди её булыжной  
 Блестит роса серебряным сосцом.

*В. Хлебников.*

Наступала ночь. На кургане стояла старая скифская скульптура. Очень долго. В чаше в её руках скопились маленькие капли влаги.

Хлебников не стал подходить к ней. Подняться на курган не стоило труда, но в тот раз он прошёл мимо. Он видел вдали горизонт. И подумал о ранней юности в Петербурге, о библиотеках, о книгах.

Он прошёл мимо. Он так устал в этот день, и косогор был высохший, сухая трава. Зной и пыль. И каменный страж почти был незаметен в полуденном мареве. Да... Петербург. С дождями, зонтами. С улыбкой Николаевой.

Усталое лицо покрылось пылью и потом. Надо было идти. Придет ли он к этому кургану? Да. Он знал.

Усмешка напоминала ему Перуна на Днепре. И глаза его вспомнили предка его матери. Он шёл медленно к горизонту.

Заяц покрыл прыжками всю  
снеговую поляну.

*В. Хлебников.*

Заяц остался жив, пришёл в себя. Оглушённый, он несколько вёрст бежал, куда могли глаза глядеть, и прибежал к тому сугробу, где осенью съел редкий шиповник. Влажный снег смыл глину, так напоминавшую кровь, что смешалась в его сознании со словом «смерть».

Ствол ружья редких охотников. Пуля прошла мимо, рядом разлохматив красную глину. Счастье, что жив.

Через несколько минут его отвлекла сорока. Заяц нравились птицы. У них лапки не мерзли, стволы деревьев согревали их.

...Но всё-таки выстрел был и  
слегка ранил.

Рана зажила.

И заяц снова при-  
бегает на поляну и радуется  
всему вокруг.



Ручные вороны клевали  
из рук моих мясную пищу.

*В. Хлебников.*

### Ворон

Он приходил маленький к ногам Велимира, когда тот читал книгу. Откуда он мог прилететь?

Это был маленький воронёнок.

Птиц в это лето было мало... Степь горела... они перелетали, оставляя знако-  
мые пригорки и овраги. Сухостой не мог скрыть гнездо ворона, улетевшего туда,

где могли быть лиманы.

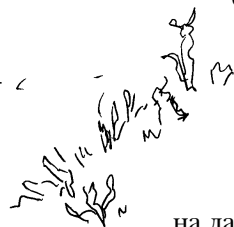
В один из июньских дней воронёнок был  
найден.

Комната отца и книги...

Воронёнок взлетал над полками, раскрывая  
клювом кожаные переплеты, страницы. Ища  
хлеб, хлопал крыльями. Стекло и  
баночки напоминали зеркала или  
льдины озера.

Сверкали вазы, баночки и  
книжки раскрывались на ветру.  
Мешали перелетать. Птенец успо-  
каивался, когда его брали на руки.

Вещая птица весело раскачивалась  
на ладонях отрока.



Надо сказать, что мир чисел наиболее заповедная область...

*В. Хлебников.*

Галуа в лице видел размеренность ритма цифр.  
Ковалевская восхитилась в детстве обоями, испи-  
санными алгебраическими знаками.

У Хлебникова цифры летали, как птицы. И он шёл  
за ними по долгой дороге.

### Мистерия с поэтом

Ночь. Хурул. Луна освещала фигуры на  
карнизе. Слоны и лани как бы парили над

вечерними тихими сумерками.

Недалеко от хурула горели костры. Пламя при ветре  
поднималось ввысь тревожно и сильно. Языки пламе-  
ни жаром своим задевали траву и кусты.

Ламы вышли. Когда завывли трубы и ударили  
барабаны, начался танец, очень яркий, роскош-  
ный. Шумные звуки глушили всё вокруг. Потом  
стало тихо.

Велимир-отрок медленно проходил между тан-  
цующими. В руках свеча. Музыка звучала...

В степи было тихо. Хурул и окрестности. Лица и  
маски радостны и загадочны.

Там сложилось мое детство.

*В. Хлебников.*

### Сад

На обочине дороги стоят деревья. Очень ровно. Спокойно вдали течёт ручей,  
очень маленький, пугливый.

Он приближается к деревьям.

Деревья стоят давно, ещё со времен Тундудова. И памятник Тундудову ушёл в  
землю.

И приходила осень с пожелтевшими травами, но они стояли. Слышали  
слова, забывали. На их коре писали русские слова, имена. Вырастали новые  
ветки, листья. Прилетали птицы.

Была жизнь. Птицы щекотали стволы. Лисицы и волки подходили редко, –  
рядом находились люди. А ёжики могли прийти только ночью. Плоды виднелись  
при луне. Как попробованное в первый раз сладкое.

Кто мог сказать об этих саженцах? Новый попечитель? У которого глаза мяг-  
кие. Глаза цвета воды в колодце. Без холода.

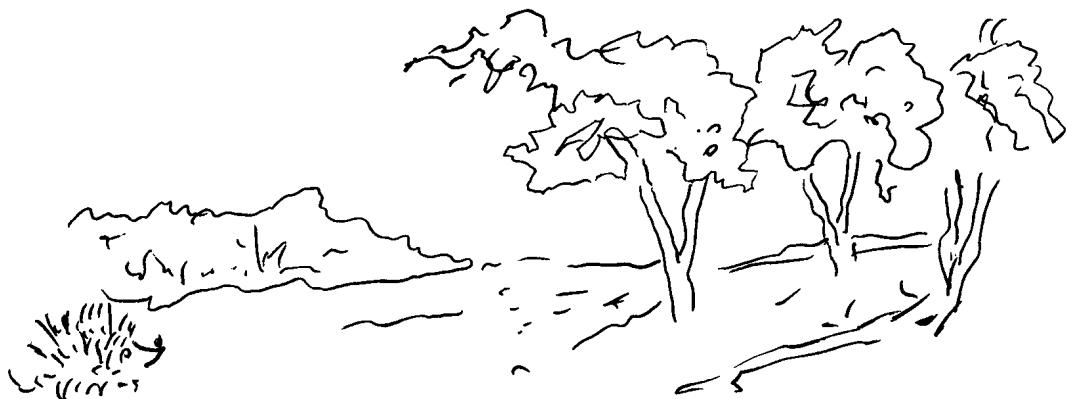
Много было посажено деревьев в 1885, может, в 1886 году...

На Севере люди читают годы по кольцам...

Зима была тяжёлая... Потом пришли дожди. За пять лет впервые выросли  
деревья. Прибегают все так же ёжики, – но в полдень...

Черемухи цветение взбудораживает душу.

Будут другие сады в его жизни: в Алфёрове, на Горыни, под Харьковом, в Персии. Но эти сады он видел в 16-м году под Царицыном в пятидесяти верстах от родины, где были посажены деревья отцом, матерью рядом с садом Тундутова.



«С Русалкою Зоргама обручён  
Навеки я,  
Волну очеловечив.  
Тот – сделал волной деву».  
Деревья шептали речи столетий.

*В. Хлебников.*

### Волна любви Степана Разина

Княжна.

Княжна моя, помнишь ли меня?

Коней моих, пришедших к берегам?

И камни, сложенные в круг,

костры, уснувшие в тиши?

Княжна моя, помнишь ли слова прибрежных дней

и той волны, приблизившейся к росе?

...Вдоль берега понуро ходит конь,

обветренный, усталый, копытом бьёт волну.

Волна и князь, и конь, и белый парус,

над миражами встреч взлетели птицы.

Я видел вновь свою княжну,

вернули воды твои глаза, твои слова.

Люби волну, княжна, и белый парус!

Вода рождает день, и дочь,

и дом, где выросли цветы.



Прикосновение телом к балясине  
до сих пор не исчезло из памяти.

*В. Хлебников.*

### Балясины. Грозы и лягушки

Балясины старого дома. Пожелтели от времени, лишь с краю возле земли обросли лишаями и стали сыроваты. Выросшая трава с колючками скрыла основание.

...Веранда, построенная старым плотником, когда-то пришедшим в эти края на заработки с первыми весенними запахами ветра. Так были построены это крыльцо, балясины и перила. Так не похожие на другие строения.

Плотник ушёл на заработки вдоль солёного озера...

У веранды вечерами собирались дети, садились на скрипучие доски, подбрасывая мячики, весело играли, смеялись. И как-то было уютно видеть заходящее солнце, запахи трав и слушать пение самовара.

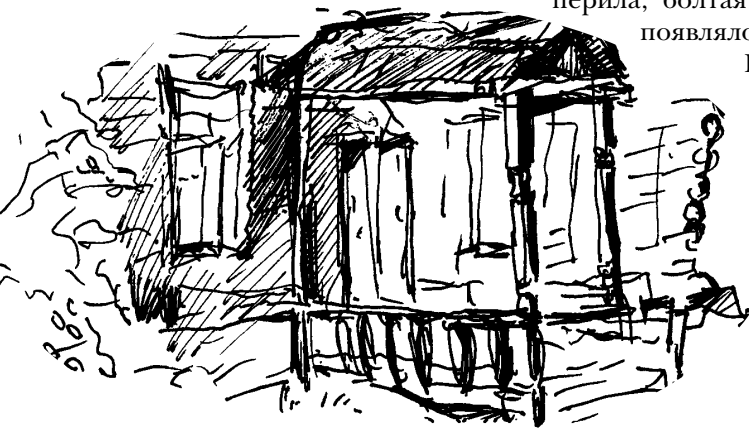
Прилетевшие бабочки, мушки... Всё было прозрачно и тихо. Только ветер приносил рыбный, солёный, камышовый запах с озера. Дети залезали на перила, болтая ногами. На стеклах веранды появлялось отражение луны.

Была музыка. Ждали грозу...

...Прошел дождь. Быстрый летний. Промокло всё.

Детские игрушки.  
Красивый букет цветов  
на столе в доме. Мокрое  
платьице...

В лужах уже прыгали  
лягушки, и были слышны  
шлепки босых ног по воде.



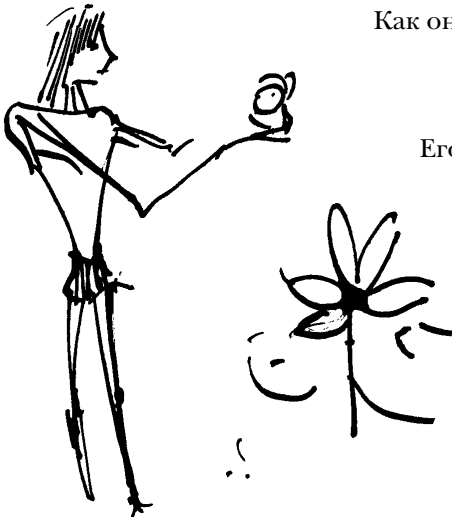
У меня был Ка.

*В. Хлебников.*

Как он объясняет в повести «Ка»,  
когда у человека были крылья,  
он взлетал,  
летал,

Его Ка летал.  
Его душа взлетала над самим собой,  
ноги не всегда слушались.

Это пришло из Египта.  
Ка ходит с поэтом.  
Просит писать поэта  
его улыбки.



Святче божий!  
 Старец бородою сед!  
*В. Хлебников.*



Была лунная ночь, Хлебников спал. Во сне он видел детство, озеро, лебедей, запахи трав, глаза матери, туманы на горизонте, где росли редкие тополя... вдали курганы...  
 Пришел старец, белый как лунь. Что-то тихо нащёптывая, передал листы белые с числами и словами.

Он положил их в белую наволочку. И он нёс эти листы и слова старца по долинам, где сладкая вода, и юные отроки внимали Учителю. И неслись над травой кузнечики с цикадами.

Тихие слова... И луна, открывая свет, будила воображение. И он был счастлив. В травах и муравьях сохранились книги, пергаментные, шёлковые...

...Костер очистил, утеплит сырые листы, и теперь очень чётко видны были чертежи и слова. Старец был доволен, его руки благословили поэта. В степи – полная луна. В душе поэта – ровный свет. Он был счастлив.

Огнём крыла пестрящие простор удода...  
*В. Хлебников.*

### Удод

В тот день удод молчал.

Легко перелетая с кизяка на сухой чертополох, покачивался на стеблях,  
 пытаясь крепче зацепиться... Вновь взлетал.

Время послеобеденное!

Яркие крылья обмахивали жару...

Вере нравилось все красивое...

В траве удод был незаметен.

Когда взлетал, перья окрашивались зноем.

Так прошел день.

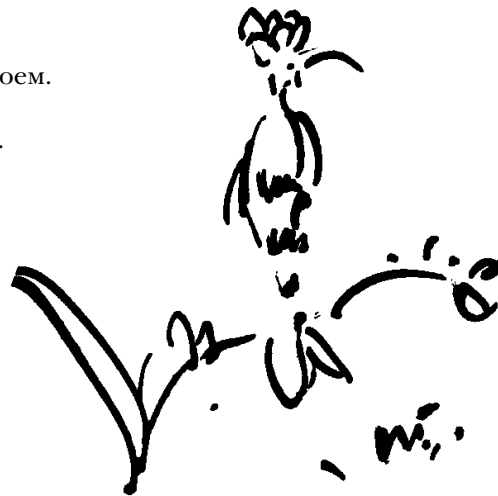
Можно было за день запомнить всё.

Но запомнился удод...

Хотя целый день он молчал.

Вера перед сном спросила у брата, чем красят оперенье и клюв птиц...

Об этом знал только отец, с утра ушедший посмотреть, как взлетают лебеди над Цацой.



Идет по пустыне поэт Хлебников.

О чём он думает, какие летят стихи? Как дойти до сладкой воды? Как найти золотой родник?

В пути помогает конь. Конь умеет слушать и разговаривать.

Хлебников знал язык цветов, птиц, звёзд. Разговаривал ли он с конём? Да. Конь – это друг дороги. Дон Кихот разговаривал с Россинантом. Хлебников бежал за птицей Персии. Он шептал. Тайна и крики будоражили души. Птицы помнят гимн Азии Хлебникова. Как голубые сойки Заратустры сохранили его песнопения.

Кони сохранили взгляд поэта и слова.

Где в степи пасутся кони, помнящие слова и песни Велимира?

Мир удивления в гривах коней, когда их ласкает ветер.

И поэты и кони любят ласки. Сервантес создал Дон Кихота, Виктор Владимирович Хлебников – образ Велимира Хлебникова.



...свист суслика...

Темнеет степь; вдали хурул.

*В. Хлебников.*

### Курган суслика

Возле кургана была норка суслика.

Суслик мог жить и на вершине. Но ветры могли засыпать маленький домик песком.

Суслик всё понимал. Запасов хватало до весны.

В новолунье он просыпался. И бегал возле норки, встречая весну.

Не всегда весна приходила вовремя. Но приходила. И суслик всегда встречал её первым.

...Хурул стоял вдали. К нему часто, к его кургану, приходила старая калмычка. Молилась своему богу.

Дойти до хурула не хватало сил. И она молилась суслиному холмику. Прочитав молитву, прибавляла слова: «Лучше с чистым сердцем помолиться суслиному дому, чем неискренне в огромном храме».

То была правда. Её и суслика.





0



Где верблюд, чей высокий горб лишён всадника,  
знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая.

*В. Хлебников.*

Полдень. Жарко. Все спят.

Велимир разбудил сестрёнку, чтобы можно было  
добежать до горизонта и увидеть большого и двугорбого  
верблюда.

Они подошли к нему.

Дети и верблюд долго разглядывали друг друга. Верблюд  
моргнул глазом. Вера засмеялась. Через годы на Волге Велимир вспомнил смех  
Веры и улыбке верблюда.

И так они долго ходили по степи. Велимир, Вера и верблюд.

Вера Хлебникова.

Рисует.

Идет дождь.

Тёплый.

Она стоит в белом платье.

Акварельные краски плывут по бумаге.

Водопад акварельных красок.

Свежая сочная краска –

и она проявлена.

Художница в летний дождливый день.

Ясная,

цельная,

жизнерадостная.



...им нужно услышать священное слово «Ка».

*В. Хлебников.*

### Сфинкс

Сфинкс. Египет. Пиво. Ка. Птица. Призрак. Песня.

Песок.

Глаза смотрят вдаль. Пишет писец историю Ка.

Их много. Историй несколько.

Сумерки. По тропинке идут к Нилу.

Тростник. Лотосы. Птицы.

Растворились в сумраке.

Кто-то взлетел. Птица ли?

Призрак ли?

Ка.

Как долго он смотрит.

Перо. Папирус. Вода.

Лотос нарисованный. Это Эхнатэн.

Эхнатэн. Эхо отзывается в камнях.

Сфинксы вздрогнули. Появились звёзды.

Эхо Эхнатэна разбудило Сфинкса.

Записал писец Книгу перемен.



# Поэзия

...смотреть на себя как на небо и вести точные  
записи восхода и захода звёзд своего духа...

*В. Хлебников.*

Писал ли уравнения звёзд на листке бумаге?  
или на мокром песке у берега моря?  
сухой пылью у высохшего лимана.  
Видимо, выводил глазами ночью на звёздном  
небе свои уравнения.

Соединения.  
Формулы.

От одной плеяды до следующего созвездия.  
Линия летящей звезды помогала находить  
угол зрения.

Ведь звёзды летят и чертят по своим законам.  
Был рад, что звёзды показывают  
направления уравнения.  
Научного  
и нравственного.

Зверям и растениям было возвращено право на жизнь,  
прекрасный подарок.

*В. Хлебников.*

## Овраг

Сидит в овраге Хлебников.  
Солнце осветило траву и глину.  
Он оглядывается вокруг.  
Прошлогодние кусты поднялись.  
Трава очень сыра. От озера пришла вода.  
Осока проросла.  
Слышны голоса птиц. Слышен плеск рыб.  
Из глины можно вылепить степного бога.  
Кое-где видны следы птиц и зверей.  
Открывшаяся стена оврага напоминает  
стену храма,  
Вдоль стен с изваяниями вверх буйно  
устремилась травы.  
Пласты глины, лежащие вдоль оврага,  
напоминают пиршеский стол.  
Стол для угощения зверей, птиц и змей.



Рисую я Хлебникова... Рисую ли я Хлебникова? Почему на белой бумаге выходит, идёт высокий одухотворённый человек?

Он идёт – земля и небо входят в его душу. Всё стало ему родным: огромное солнце светит, когда ему привольно, свободно. Луна освещает его руки, когда прикасается тёплыми руками к статуе каменной скульптуры. Очень тонко, тихо он прислушивается к голосу камня. При луне лицо скульптуры становится живым. И он разговаривает. Благодарная слушательница его мыслей, слов – каменная дева – понимает. Как понимают его цветы.



Я жил? природа, вместе с нею.

*В. Хлебников.*

Хлебников. Утром, вечером, днём, на заре, на воде звучит имя твоё или только слышится тихое движение?

Тихо вокруг, тонкой струйкой дымится цепочка его слов. Им увиденных слов, только что рождённых, выпеченных как хлеб под утро через дымок кизячный, через травы детства, звездопады, ночным урожайным небосклоном, большим, огромным, как его огромное сердце, вселившим любовь в траву, в зайца, бегающего по белому снегу, в Волгу поющую, омывающую наши души.

Кто ты, скиталец, страдающий? А может быть равно, давно обрёл счастье в доме, в скитаниях? Ты здесь, ты там и не там.

В колодце вода набирается снова, свежая, холодная. Трава у колодца читает твои стихи. Овца заблудившаяся снова пришла к запаху родника, устами дотронулась до дорожных твоих кустов. А старому срубу приятна свежесть утренней влаги.

Молчание. Мальчишка читает медленно мотив математики, уравнений её волшебства. Земное ухо слышит музыку звёздных сфер. Звездопад. Водопад. Свирелью или флейтой, колокольчиком пробудивший тех, кто вспомнит имя.

Хлебников. Книги лежат на столе, на траве. Утро. Девушка идет по дороге. Солнечный луч гладит её волосы. Она идет и читает стихи в своей душе. Во дворе готовится чай. Возле печки моей важно прошла птица.

Хлебников. Утром, вечером, днём, на заре, на воде звучит имя твоё.



*Малые Дербеты, Калмыкия.*

Владимир Леонович

## Из костромского дневника

2005 г.

4 июня

Костромская баня стоила 22 р. Теперь 30. Поздравляю кассиршу: богатеете! Той не до юмора – огрызнулась. Спрашиваю банщика: сколько платят? – 960 р.

Комнатный поэт Кушнер премирован Газпромом: 50 тыс. долл. И это – при живом Горбовском. Вспоминаю звонок Беллы:

– Ваодичь, приходите! А то ко мне Кушнер и Рейн! (Интонация: спасайте!)

Такие премии раздавать и получать в нищей России неприлично.

Нынче в Белорукове я уже не застаю Николая Добрякова. Выйдя на пенсию, мужик ЗАЛЁГ. Хорошие руки, хорошая голова, язык подвешен – а Коля ничего делать не хочет. Последнее время перестал избу топить, спал в ватнике, не топил и баню. Что было причиной такой обломовщины? Кому объявил этот человек лежачую забастовку? Если бы соседка Ольга Трушнева не носила ему, здоровому живому трупу, хлеб, он, боюсь, так бы и угас – а сам не пошёл бы в магазин. Кому назло?

Лет 5 назад умерла Анна Бойцова. Это её слова, как копала картошку, передал я другой бабке, карельской, диктовавшей мне ПИСЁМУШКО.

Сынушка бажоной заключённой ты мой  
одна беда мне с твоёй тюрьмой  
как пошли дожди картошка не копана  
а сыны ушли дак не прикованы  
мне высокодавление такой степени  
ин до звёздоцек до края потемени  
всю шатаг меня ровно пьяную  
на коленках в борозде тут и плаваю  
изустала да и пала ДА ЗАПЕЛА Я  
ВО ВСЮ ГОЛОВУ ДУРА УТОРЕЛАЯ  
говорить-то тут разуциласа  
до того сей год с картошкой добилася.

Вот когда мы запеваем.

Без присмотра погибли улы бабки Анны, заросла та певчая борозда. «С дровами бьёмсы, с детками бьёмсы, с сенокосом бьёмсы, с болезнями бьёмсы...» Это моя бабка Лиза, диктовавшая писёмушко.

– Постой, Лизавета Ивановна, не так быстро.

– А ты не слушай меня, знай пиши!

Таковое-то доверие мне оказано. Как забудешь?

Ольга Александровна Трушнева, маленькая чувашечка, трудилась на ПОДСОЧКЕ – обегала свою тысячу стволов, окоряла каждый, мужик нарезал желобки, стреловидно оперявшие главный жёлоб. В железную вороночку без дырки стекала серка, а когда густела и не шла, всю эту графику протравливали кислотой, обрекая сосну на скорую гибель. Подсоченный бор подсыхал, покидали его птицы, покидало зверьё, нежилая тишина обещала беду: вырубку, пожар. Бабка Ольга ещё БЬЁТСЯ: с огородом, с козлушками, с дровами, с непутёвым сыном. Дочки нет: повесилась в Костроме, доказала таким вот образом, что напрасно обвиняли её в краже... Ольга – наш комендант: за всем приглядит, всем поможет. Зимой сторожит наши пустые дома. Того гляди прибьют старуху парфеньевские воры... свят, свят! Один раз уж покушались.

Всем памятни колбасные эшелоны. Из Москвы нельзя было посылать никаких продуктов. Потом уж не стали брать и бандерольки – с конфетами, с лекарствами. Из нищей деревни Ольга пишет нам в Москву: НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ ЧЕГО?

Как забудешь?

Из злобы дня рождается доброта. Как обобщение не годится, но как частный случай, как антитеза пресловутой злобе...

В дневниках Дедкова такое место: два инстинкта у человека: СПАСАТЬСЯ и СПАСАТЬ. Второй сильнее, пишет Игорь, примеряя на себя то и другое.

Я загадал на тебя. Вот что сказал мне Исайя:

Или спасёшься – спасая, или погибнешь – губя.

Это повыше обиходности, когда сплошь и рядом спасаются губя.

«ДОБРОТА ДНЯ» – назвал Слуцкий книжку стихов. Похоронил Борис Абрамович свою жену, от горя (и не только) медленно сходил с ума, и в это время, в светлые дни, писал, писал, писал – ДОБРОТА сходила к нему с тех высот, где она обитает в своей поэтической форме.

В вохомской деревне Осанихе умерла девочка 14 лет. Была надежда, что всё обойдётся, и я говорил своей няньке, спасавшей меня и въехавшей после того, как инвалидом пришел из армии:

– Вшили Валюшке телячий клапан, он крепкий.

– А как же телёночек?

В Костроме улица Подлипаева спускается к Волге. Перед спуском поворот в Пастуховскую, и тут же невеликим четвериком поднимается пожарная каланча. Перед ней пустое место, где видится мне постаментик и на нём собака. Экскурсовод рассказывает легенду про пожарного пса Бобку, как тот вытаскивал из огня детей. На вопрос, а как же сам не сгорел, ведь шерсть, разные экскурсоводы отвечают по-разному. То ли уж не было шерсти, то ли обливали Бобку водой. Стоя перед памятником, человек сумеет подумать о многом.

А зачем ЧИЖИК присел так беззащитно возле стенки моста в Питере? Одного чижика украли – глядишь, другой сел на то же место... Скажу так: веточка

Экзюпери прививается к нашей древесине долго, болезненно. А вот няньке моей, моей Нюсе, Анне Ильиничне Лунёвой – царство небесное! – прививать ничего было не надо.

– А как же телёночек?

Ни Бобки, ни Чижика в Костроме нема. Зато со своего жеребца в Москве на б. Советской площади слез Юрий Долгорукий и на Советской же площади у нас уселся на княжеский престол и десницу простер. А по ходу своему богатырскому сломал чугунную ограду и несколько деревьев сквера. Спасают положенье детишки, которые, карабкаясь, залезают на колени, виснут на деснице князя, основавшего Кострому, если верить Костомарову, а не молве, твердящей, что посад он для начала сжег. До основанья и затем. И затем.

Я б им княжество управил, я б казны поубавил,  
пожил бы я всласть: ведь на то и власть!

## 6 июня

Александр Сергеевич, с Днём рожденья!

Младенцем, опоминаясь к жизни, был я разбужен бабушкиной песенкой *Бурямглою небокроет*. И хорошо бы кому спеть НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ – уже над бесчувственным телом, пока душа ещё слышит. Люся, споёшь?

Людмила Грибова со своим театриком ТРЁХ МУЗ у меня в гостях. Завтра – к Бурлуцким: есть такая семья... фермеров? Бедная Россия, нет у нас русского понятия для честного работника на земле, обладающего крепким научным знанием, ЧТО и КАК делает он на своих сотках. Нет такого слова, исторически не родилось.

О Бурлуцких – отдельная повесть, а пока лишь то, что после скитаний и работ в разных местах – от Домбая до о. Врангеля – остановились они на месте бывшей усадьбы Пушкиных по линии Ганнибалов.

Каждый июнь у Бурлуцких гости – праздник для всех от мала до велика. На месте усадьбы – остатки фундамента, щебёнка. Но живы 200-летние липы, серебристый тополь, который постарше, и жив кедр, на радость василёвским мальчишкам. Василёво – посёлок при совхозе, медленно умирающем в новых условиях. А рядом это самое Давыдково, где была усадьба и была деревня...

Какой разор в стране!

Самое печальное – привычка к плохому: к разору, грязи, неволе. Я-то помню Волгу ещё рекой – с бурунами у стрележневых плотов, с ледоходами. Чья память началась с 57 года (затопление поймы), те уже не могут помнить этой воли.

## 8 июня

Простодушный карельский комар шумно садится на тебя, где местечко потеплее, и принимается за дело. Ты его либо шлёпнешь, либо сгоняешь, либо дашь спокойно напиться крови. Отрывается он с благодарным и сытым гуденьем. На три таких психологических особенности делится, собственно, род людской.

У незабвенного Олега Васильевича Волкова в каком-то рассказе мальчишка подстрелил воробья.

– Зачем?

– А чтоб не жил.

Аргумент одинаковой силы с противоположным:

– А чтоб жил.

Утро началось с Берендеевского пруда. Выкупался и прикидывал, как освободить сток в эти бездарные трубы водоотвода. Мы ж не Голландия, не Швейцария, наши водоёмы загажены. Загажены родники и овраги. Нынче особенно это видно: пластики и поролон не гниют.

Пластиковый айсберг посреди пруда. Ничтожная подводная часть. Каждый ветерок играет им.

В трубу затолкана ёлка ветками вверх, и туда насаживается всё, что плавает. Вот и пробка, и пошла вода прибывать...

Как сняли гипс, так залезал в коллектор под дамбой: нужно отпиливать по куску этой жердины, тогда и пробьёт, и хлынет. Лучшее из чувств: радость, когда даёшь чему-то свободу.

В чужбине свято наблюдаю  
Родной обычай старины:  
На волю птичку выпускаю  
При светлом празднике весны.  
Я стал доступен утешенью:  
За что на Бога мне роптать,  
КОГДА ХОТЬ ОДНОМУ ТВОРЕНЬЮ  
Я МОГ СВОБОДУ ДАРОВАТЬ?

А до Пушкина было и так сказано: АЩЕ БЛАГАЯ ПРИЯХОМ – ЗЛЫХ ЛИ НЕ СТЕРПИМ?

Доживу ли до демонтажа Чебоксарской дамбы?

Вчерашний праздник удался. Чистая радость – Бурлуцкие, хороши гости, особенно Люся. Особенно когда дошло до цыганщины (вспоминаю маму, её пленный дух, рвущийся на волю). В сущности, мало людей с хорошим слухом. Слушать их – как следить ласточкин полёт или полёт дельфина (по-другому не скажешь). Все прихоти той радости, что зовётся МЕЛОДИЕЙ. Куда прячет мелодию Шнитке? Или у него всё ПО ПОВОДУ его затаённой мелодии?..

Люся – человек с крыльями. Тоска моей жизни. You need a flame of a woman – not the little gray moths. – Вам нужно (потребно) ПЛАМЯ ЖЕНЩИНЫ – не эта маленькая серая моль (мн. число). Это говорит Мартину Идену его чахоточный друг Бриссенден. В сущности, эта малость и серость убили М.

Эта ПЛАМЯ снова нас посетит. Кто побывал в мире Бурлуцких, вернется к ним не раз – подышать. Вот люди, рождённые и воспитанные ОТДАВАТЬ. И потому у них всё и всегда будет. Я же буду гордиться ЧЛЕНСТВОМ в их семье. В нашей то есть. Жёсткое христианство: оставь родную по крови (семью, мать) – войди в родную по духу... Немало бед я принял, усвоив это в отрочестве. Теперь оставил это как метафору. Немало бед доставил матери...

## 9 июня

Зацвёл шиповник. После ночного дождя всё дышит, особенно берёза. Цветёт сосна. Свежесть во всём, даже несколько печально перед стабильностью июля. Только июль и не люблю. Люблю самую раннюю весну, предчувствую её в январе.

Зависли дневники бедного моего Мити Голубкова, замечательно писавшего о природе.

Ряд волшебных изменений милого лица –

вот с этим чувством. Гораздо бледнее дневники Митиного знаменитого друга Юрия Казакова. А зависли дневники потому, что в густом лесу, именуемом Москвой, потерялась Митина дочка Марина. Она мне давала, а я публиковал Митины записи – в «Литературке», в «Юности».

Была, должно быть, шекспировская непогодная ночь, когда какие-то человекообразные с фонарями и лопатами отыскивали на Ваганькове фамильную оградку Голубковых и выкопали прах отца и матери и свежие ещё останки моего друга.

Он застрелился 6 ноября 1972-го – роковой день Бунина, его кумира. Так кончилась «МИТИНА ЛЮБОВЬ» в рассказе Ивана Алексеича и в недолгой – 42 года – Митиной жизни. В этом часть и моей вины. После тяжелейшего – жара, пожары – лета Митя собирался приехать ко мне в Николу, ждал моего письма, а я ЗАБЫЛ ему написать.

А еще угораздило меня посвятить ему и написать вот что:

Вкус художественный развивая,  
знайте, что художественный вкус  
есть необходимо роковая  
категория или искус.  
Хорошо воспитан, образован,  
Волю он берёт и тот же час  
наше дело повторяет словом,  
совершенства требуя от нас.  
И уже тебя – твоё создание  
не на шутку пересоздаёт:  
все его святые предписанья  
сбудутся в урочный час и год.  
Исповедник веры идеальной,  
ТАК живи. Не отвори лица  
от неоспоримой музыкально  
той каденции, того конца...

А ещё была женщина, которую я в поздний час должен был провожать, но попросил Митю это сделать. А тот возьми и влюбись в неё, слышную «роковой». Не знаю, насколько уж была она роковая, но стервой была определённо: когда услышала, что Митя застрелился, сказала:

– Молодец.

Но и сама нажила недолго.

А вдова Митина Аракси (армянка) говорит: его погубил Боратынский. И в этом какая-то правда. Под бременем «таинственных скорбей» смерть виделась поэту «миротворной бездной».

«НЕДУГ БЫТИЯ», роман о Боратынском, издавался дважды. Ивана Киреевского Митя писал с меня (диссертант, насторожись!), я же подарил ему и концовку: Б. УМЕР ОТ ВООБРАЖЕНЬЯ – диагноз врача-итальянца. Читал Мите по телефону о Б-ом:



...И всё ж, себя измучив,  
 не ступит он за край,  
 где обитает Тютчев...  
 Не надо, не ступай!  
 Ты – ЗДЕСЬ, ты утешенье  
 тому, кто ТАМ бывал.  
 Тебя ВООБРАЖЕНЬЕ  
 УБИЛО НАПОВАЛ...

Одна из лучших смертей: разволновался нездоровьем жены, и сердце не выдержало. Прекрасная смерть.

Рассказывать, как Митя стучал кулаком по столу Лесючевского в его кабинете директора «Советского писателя», отстаивая мою книгу, как ушёл с работы, успев вместе с Виктором Фогельсоном отредактировать лучшие книги лучших поэтов в 60-е годы (каждая редактура есть душевная связь и чуть ли не драма автора и редактора) – значит плести паутину, куда сам и угодишь. Скажу только, что эти многие и лучшие – многим и лучшим обязаны Мите. А уж как обязано читающее население этим книгам всё же лучшего в те годы Издательства, и говорить нечего. В годы тупого атеизма прибежищем Бога была Поэзия.

Смешной момент: строчку ВО ВСЕ КОНЦЫ ДОРОГА ДАЛЕКА Игорь Дедков выносит на обложку своей первой книги. Об этой же строчке отзывается Митя:

– Редкий для тебя пример словоблудия.  
 Мите:

Ты был... Ты рыцарь был.  
 Был отроком – за 40.  
 Твой самый чистый пыл  
 тебя томил как порох.  
 Твой декабрист-старик  
 как старчище былинный  
 срывается на крик  
 на площади пустынной,  
 где конного царя  
 с прибавкой пьедестала  
 ФИГУРА КОБЗАРЯ  
 УЖЕ ПЕРЕРАСТАЛА...

И старичок умрёт  
 от счастья речи вольной,  
 и тело приберёт  
 кварталный сердобольный...

Для беспризорных тел  
 есть под Загорском яма.  
 Ты ЭТОГО хотел  
 так долго и упрямо?  
 Единственный исход,  
 к несчастью, не выход.  
 Прости, мой Дон Кихот,  
 Ты сделал ложный выпад.

10 июня

Застрелиться сорока двух лет. Митя был горяч, однажды, вместо того чтоб возразить жене, грохнул об пол вазу. Я поймал себя на подобном: когда Раиса покривилась от моего намерения приютить старика Клейна (немецкий плен, русские лагеря, стихи, проза), я расшиб вдребезги мой приёмничек – друга моих уединений, как тепло говаривали когда-то. Друг человечества... Подруга дней моих... Куда это ушло? Ушедший СЛОВАРЬ переполнен лаской. Деревни: Федиково, Федюнино – какая честь милым людям! Кто они? Неизвестно, но просторно всяким догадкам.

Однажды Казаков позвонил Мите:

– Завтра в «Правде» увидите мою фамилию в чёрной рамке.

Митя всполошился, всполошил друзей, искали Казакова, не нашли, после бессонной ночи искали весь день – к вечеру нашли засранца за столиком в «Праге». К. не из тех людей, которые, идя по тропинке, боятся наступить на муравья...

Мы стали грубы и покорны... Но лучше целиком:

Иные пути и начала  
Ушли мы искать в города,  
И наша земля одичала  
Без нашей любви и труда.  
Мы быстро утратили корни  
И песен веселый запас,  
Мы стали грубы и покорны  
И радость покинула нас.

(Дудин)

Груб и покорен холоп. Холопское покорство и хамская грубость. И это НАСАЖДАЕТСЯ масскультурой на девственную почву малочитающего юного поколенья. И тут, кажется, мы впереди планеты всей. Моя ученица Наташка (11 класс):

– Звоню из уборной: расскажите про Собакевича!

Как будет жить БЕЗЛИТЕРАТУРНОЕ поколенье? Чем заменит великий духовный опыт, оставленный нам нашими писателями? Наташка Гаврилова знакома ли с Наташей Ростовой? Той, которая невесть откуда переняла НАРОДНОЕ русской пляски, которая выкидывает домашний скарб с телеги, чтобы уложить раненых... Князь Андрей лежал как раз во флигеле, откуда только что МИХАЛКОВЫ выкинули редакцию «Дружбы народов». Сквер перед ним, как и сквер возле памятника Льву Николаевичу, частично замостили – для фигурного разбега официантов к столикам пирующих. Фазиль, опиши! Как ты описал ПОЛЕТ НА КОЛЕНЯХ. Ты-то помнишь Митю. И вдруг бы его воскресили, и увидел бы он эту обжорку, эти пиры перед чумой... Опять бы застрелился.

15 июня

«Леонович лежит со сломанной ногой и пишет письмо грузинскому президенту».

Батоно Миха!

Грузия – страна Поэзии. В мире две таких страны, вторая – Исландия.

Грузинский Президент – поэт поневоле или по счастью. Иначе Народ и его Президент друг друга не поймут.

Русские сапёрные лопатки 1989 года рассекли моё время, когда я приезжал в Грузию, жил, ходил в горы, сочинял свои фантазии, не умея переводить, не умея, однако, и удержаться, чтоб этого не делать.

Виновницей и причиной была женщина – она жила в Тбилиси.

Причиной другого рода была историческая русская Вина перед всеми, кажется, народами в границах СССР. В 1969 году я и прилетел в Грузию как виновник. Во искупление русских грехов я и трудился, и первое, что сделал, – была «Литературная богема старого Тбилиси» (поэтическая часть).

Напираю на русскую принадлежность грехов и глупостей наших, ибо в новом паспорте не значится моя русская национальность, и это неспроста. Будто я ни за что уж не отвечаю...

Моя грузинская книга 1986 года называется «Время твоё». Твоё, Грузия, твоё, Женщина. И оно ещё длится. Когда упразднились национальные редакции московских издательств, исчезли советы по национальным литературам, я счёл это малодушием и предательством и печатно ругался непечатными словами в лит. прессе. Обрыв духовных связей был сродни тем лопаткам. Мало кто это понимал. Понимал Саша Эбаноидзе, редактор «Дружбы народов», – чувствуя себя капитаном тонущего корабля. Я был и остаюсь в его экипаже. А когда случались круглые столы – русско-грузинские, русско-украинские, – я бывал, или мне это казалось, более грузином и более украинцем, чем мои собеседники.

Поэтому, если вдруг окажусь я Тбилиси и постучусь к Отару Чиладзе, он не прогонит меня с порога... Иного и прогонит.

А если заговорим о Пушкине, не обойдем «Арзрум» и «Бородинскую годовщину» – все по той же горькой причине. И тогда уж не миновать разговора о Шевченко, о Мицкевиче...

Моим «дядькой» в грузинских делах был Межиров. Он знакомил меня с тогдашними генералами-от-поэзии, которых переводил, да не обидятся Иракий и Григол за титул, который не мешает грузинскому поэту быть поэтом. (Плачевный случай с Николаем Тихоновым: чиновник быть поэтом перестал.) Спрашиваю грузинского посла Зураба Абашидзе: помните меня? Вам было лет 10, был стол, несравненное хаши вашей матушки, мои стихи в Священной Тишине застолья. По-другому сказать нельзя. В Исландии не был, но в Грузии, когда звучали стихи, наступала Священная Тишина. Видите, говорю ему, как полезно отроку слушать стихи: вырос человек до посла своей державы! Пошлите, батона посол, меня в Грузию!

Но не он, а Игорь Иртеньев звонит в Кострому: поедешь в Грузию? – Не поеду – полечу на крыльях! А каково посольство? – Игорь перечисляет с десятков добрых имен, ни одно не претит, но и нет ни одного, причастного тому Делу, которым я был занят. Так что – еду... Но выясняется, что заграничного паспорта нет у меня, и, стало быть, поездка невозможна. И тут я думаю: а если прах мой попрошу я друзей отвезти в Манглиси и зарыть на берегу Алгетки – что, тогда и урну мою в Грузию не пустят? Ах, Мишико, какая жалкая мелкость – эти запреты по сравнению с годами жизни, отданными Великому Чувству Причастия одного народа – к святине другого!

Поэт – вне закона в любой стране. Как «врачи-без-границ», он слишком озабочен вещами крупными – покаянными, искупительными, спасительными, врачующими. Власть дает поэту особый вид на жительство, обусловленный непре-

рекаемой презумпцией всего перечисленного. Когда-нибудь, где-нибудь будет властитель с душой поэта?!

Был в Грузии Давид Строитель, царь из самых справедливых, закончивший жизнь актом Покаяния и завещанием положить прах его под порогом Гелати, дабы каждый наступил... Где и какой злодей каялся так? Давидовы «Сагалобели» я хотел бы перевести всем сердцем моим и слезами. Обещали мне помочь – не помогли мои озабоченные друзья. Не поможете ли?

Поздней бы осенью, с мандатом, мне эксклюзивно выданным, приехал бы я к друзьям и к могилам их. Успел бы...

Не посетуйте на «Мишико». Это – из того лучшего измерения, в какое мы попадаем, оставляя рутину и упоминаясь к жизни души. У этой жизни – свой язык. На нём и пишу Вам.

Шени Ладо – Ваш Владимир Леонович.

#### 14 июля

Пала Бастилия, срыли тюрьму, но корни остались. «Народ властвует со всей отвратительной властью демократии». (Пушкин, 1836). Удивительно: из 1793 года виден 1993-й. В грязь лицом! От этого позора остается незаконный Мемориал, что прячется в Пресненском квартале неподалеку от Белого дома. Путеводные стрелочки к этому месту аккуратно сдираются милицией с чугунных столбов ограды, за ней что-то спортивное, но в основном пусто.

Выйдя из Кольцевой Краснопресненской, попытайтесь спуститься к Москvereке и, наткнувшись на эту ограду, обойдите её справа. Самодельный Мемориал вас остановит...

Наш 93-й год – победа ОМОНа над гражданами, которые ходят или стоят. Надо их уложить.

На Пресне живут, не зная, что они – ЛЮДИ МОЕЙ ЖИЗНИ, два поэта, одна чета: Владимир Британишский и Наталья Астафьева.

Впрочем – знают. Дарили мне свои книги – и бесценный двухтомник переведенной ими польской поэзии. Володя – кажется, один из тысячи осознанных писателей – переступал порог комнатёнки 19а РЕПКОМА, где я иногда сидел над репрессированной литературой. Отец Наташи – польский коммунист, сумевший во время допроса на Лубянке выброситься в окно.

На площади плашмя лежало тело  
того, чей дух взлетал за облака...  
Так вышвырнули царские войска  
на мостовую инструмент Шопена...  
Проходят годы, крови не смывая,  
а только бередя мою беду.  
Когда по этой площади иду –  
кипит отцовской кровью мостовая.

Представьте Наташу Астафьеву и Булата Окуджаву на занятиях «Магистрали», представьте, что наш гость – харьковчанин Борис Чичибабин, в бороде, в усах, представьте нашего мэтра Григория Михайловича Левина, прекрасно понимающего, что эти три человека в одном месте и одном моменте, который назвать надо ОТКРОВЕНИЕМ, составляют триединство. Как бы мне назвать моего

и нашего УЧИТЕЛЯ? Рыцарь... Да, рыцарь СКВОЗЬ все страхи и все упреки. И напомнить надо благодарные слова Булата: «Без Левина меня бы не было». (И ещё раз скривиться гримасой на артистическое хамство другого поэта. «Традиции? Предшественники? Никакого кровосмешения!» Увы, петушиность эта блистательно выродилась в подражательность-себе-любимому, в крах личности и таланта.) До сих пор Пушкин благодарно клонит голову, думая, конечно же, и о предшественниках своих и о современниках. А впрок всем сказано: «Зачем кусать нам грудь кормилицы нашей – или зубки прорезались?» Кому это он написал? Не помню. Но тому, кто позволил себе подшутить над бедным безумцем Батюшковым.

Какое счастье, что у нас есть Пушкин!

...ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАЦИЯ...

## 16 июля

К Славе Тарошиной, Юриной вдове, надо бы зайти, и собирался, да... А зайти надо. Юра – удивительное явление, Юра, как говорил покойный Лёня Тёмин, талантлив до неприличия. Так электросварка слепит глаза, но от Юриной страницы свет ровный. И всё же надо отрываться...

надо дать отдохнуть глазам.

Прозаик Юрий Давыдов – ПОЭТ ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ, исторический романист и, не побоюсь, исторический фантазёр для немногих, у кого воспитан слух и не вырезан аппендикс, куда попадает крошка чего-то авантюрного, не желающая так напрямую, так банально покидать организм. Ну – и начинается аппендицит, и в два скальпеля историк и беллетрист рады бы вырезать инфекцию – автор не даёт! А читатель, который тоже всегда АВТОР, испытывает то, что испытал его поэт-авантюрист. Некую ПЕРЕСТРОЙКУ всего читательского организма: раньше тебе хватало наискосок медленным взглядом пересечь страницу – теперь ты ещё медленней плывешь над строкой – медленный полет ладьи над пейзажами дна. «Люблю великий и могучий. Нисколечко, поверьте, не слабее тех, кто, тяжело ступая, с причмоком выдирая сапоги из почвы, в словесность шёл просёлком или большаком и ну давай метать перед нами, словно бисер, диалектизмы, подчас премилые. А я бреду как ступа с Бабою-Ягой, в бреду семантики...»

Стойкое впечатленье: бредёт москвич Юрий Давыдов вниз по Страстному бульвару, и сама собой переваливается его ступа, и пересыпаются по дубовому дну букв-возвук: СТУПА – ПУСТА? Не пуста, потому что до этих прогулок был ВЯТЛАГ. И тоже: с причмоком выдирая сапоги из почвы...

Висит мусеничок  
из капельных пылинок,  
осенний паучок  
настроил паутинок,  
и, в сапоги обут,  
плетётся ты по грязи  
СРЕДИ АЛМАЗНЫХ ПУТ  
вот этой смертной связи...

Нет Юры. Нет Толи Жигулина. Два зэка жили в одном переделкинском доме, и жили немирно...

НЕ ВИЖУ СЕБЯ среди переделкинских писателей. «Не моё, не моё» – постоянное ощущение в этом «Перепалкине».

Переделкино, – пишет Игорь Дедков, – это пример писательской сосредоточенности не на том и вокруг не того.

Рассылались писателям календарики: что и когда ждёт их в ЦДЛ. Там была одна смешная фраза: «ПИСАТЕЛИ СМОТРЯТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ». Так и пахнет пионерским лагерем, пионерлагом: взявшись за руки, поотрядно, «пионеры и школьники» проходят на место торжественной линейки... Из-за этого я много фильмов пропустил. И мешала привилегия смотреть то, что просто москвичу ещё не показывают. Вот мешала – и всё! Смотрите сами! И ещё не было тогда у меня, ОПРЕСТИЖЕННОГО, такого большого и чёткого, как сегодня, ощущения: провинциалам тоже тех фильмов не видать – ни тогда и никогда.

Нынче выдумали в столице КАРТУ МОСКВИЧА – ещё одна лычка на погон. Какая-то льгота? Бесплатное метро? Турникеты везде, где их не было, даже в автобусах. Техника тебя поверяет – а ты и не думал обманывать. Завтра снимут с тебя отпечатки пальцев, на всякий случай...

Продавец и покупатель, будьте взаимно вежливы! Продавец, вы меня обхитили. До свиданья, уважаемый господин продавец, оставайтесь за прилавком, а я пошёл к е...е матери. Уважаемая госпожа Цивилизация, смейся во всю свою никелированную челюсть, а я давно ушёл туда же.

## 9 сентября

Ну вот и дождались. Дождались – не ожидая. По Первому каналу добрым словом помянут Александр Мень. Вчера в статье о новомучениках (в связи с освещением церкви во имя их в селе Матвееве и презентацией книги Ирины Тлиф о роде Розановых, матвеевских священнослужителей, по определению мучеников XX столетия) несколько слов написал я о нём – для газеты «Северная правда». Посмотрим, дрогнет ли теперь рука снять мои завиральные абзацы. Апостол интеллигенции, замечательный ученый, гуманист – примерно это прозвучало по ТВ. Так – снять или не снять? Снимут.

Лет 10 назад неукротимый Олег Губанов, совсем тогда юный новомученик костромской культуры, СУМЕЛ пригласить на поэтический фестиваль «Чибирияшечка» несколько десятков стихотворцев со всех краёв нашей необъятной. Приехал маститый Владимир Корнилов, поэт, однофамилец и тёзка костромского прозаика, приехали Алик Зорин и я, других москвичей не помню. Зорин – мой друг и духовный сын Меня. Истовый прихожанин, ощетиленный на всё, что ему кажется ересью, кощунством и проч. Не терпит поэтического панибратства с Богом, косо глядит на апокрифы, обожаемые мной. Булат поет:

Я знаю, Ты всё умеешь,  
Я верую в мудрость Твою,  
Как верит солдат убитый,  
Что он проживает в раю...

– Кощунство! – возмущается Алик.

На фестиваль он привез книжку воспоминаний об отце Александре, где

перемежались проза и стихи. Книжку разместил на стенде в «Пале». В течение трёх дней мимо стенда проходили люди высшей, так сказать, лиги, люди, причастные к поэзии, – ни одной книжки не было продано, даже украдено не было. Алик надулся и уехал. (Я бы тоже уехал, но среди толпы небожителей было несколько похабников, я остался, читал стихи «Костромским старухам», одна из которых, будучи тогда ещё костромской молодкой, вытащила меня, когда тонул, из Волги... А раскрепощённым до бесстыдства мальчикам и девочкам читал Тютчева:

Толпа вошла, толпа вломилась...

Уже одной строкой Фёдор Иванович изобразил то, что с нами произошло в годы ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАЦИИ – разве не так?)

Во вчерашней статье пишу: Мень любил мои стихи – я любил его самого.

И православный чёрный плат  
не удержал Господня Дара:  
как некий райский водопад,  
как золотая Ниагара,  
как лавы жаркая волна...  
Тихонько вскрикнула девчонка –  
летит мне под ноги одна  
заколка – черная лодчонка.  
Избыта храмовых прикрас,  
огням, столпам иконостаса  
пришлась ты в масть и в самый раз,  
сиятельна и златовласа!  
Помянем лодку-на-лету,  
свергающуюся в каменья.  
Помянем Александра Меня,  
УБИТОГО ЗА КРАСОТУ.  
Души от бога не тая,  
на это благо, это злато,  
нахлынувшее из-под плата,  
перекрестился б он – как я.

Но кто из косматых и косных недоучек, ошибкой служащих Богу, служа брюху... кто потерпит священника, перекрестившегося на волну женских волос, –

благоговяя богомольно  
ПЕРЕД СВЯТЫНЕЙ КРАСОТЫ?

Не потерпят. И вот вам версия: убьют, чтоб не красовался. Не помню, жаловался я или нет, ведя эти записи, – повторяю на всякий случай. Каторжника делали безобразным, выбривая полголовы. Моды на бритоголовость ещё не было. Со сквером на главной площади Костромы обошлись как с головой того каторжника.

Была красавица – теперь уродка.  
Что сделали с тобою, Сквородка?

# Прямое Слово

Кому так ненавистна красота,  
 что микельанджеловская ПЬЕТА  
 становится мишенью идиота?  
 И неопределённоличный кто-то  
 в лицо стреляет Матери Христа?  
 Как Божья Мать, растерянно и кротко  
 глядит растерзанная Сквородка.

В том, что ПОЛОВИНА сквера – молодые деревья – 80-летнему подростку-дубу жить бы и жить до 800, до 1000 лет – снесена «за ветхостью», а другая половина жива, угадывается воровской стиль власти. ЗНАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ, творят украдкой и обязательно лгут, что хотят «как лучше». Так в годы террора «воронки» ездили по ночам, а днём ездили фургоны с надписью «ХЛЕБ».

ШКОДА Й ПРАЦИ, пишет великий Шевченко, беря в эту вилку жизнь своего времени, в основе своей неизменную. Но именно ШКОДЯТ одни, пока працюют другие.

Подлый удар по голове тупым топором утром 9 сентября 1990 года. Их стиль. Удар сзади. ПО ДЕЛАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ.

Для о. Александра по его просьбе я собрал и сшил книгу своих стихов в одном экземпляре. Пишу это наудачу: а вдруг она сохранилась в архиве убитого? А вдруг – и пометки его рукой на полях?

Иметь «старца», иметь духовного отца как-то мне претило. Чувство, близкое к благоговению, испытывал я перед великими тружениками (подвижник, мученик – синонимы), которых знал в жизни, которыми жизнь моя не скудеет. Но желания подпасть под крыло, раствориться в благоговейном чувстве вплоть до молитвы

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, А НЕ МОЯ –

такого желания я не испытывал. Бывало нечто даже противоположное: желание диалога, удивленье: великий человек – а как прост, и как радостно с ним, и где моё смущенье и проч.? Так просто было мне, и не только мне, – с Александром Менем...

А он был – наша церковь в те далекие времена. На нём люди сходились. Его портрет висел в комнате (не в кабинете же) Игоря Дедкова в Костроме...

И тут не откажу я себе в удовольствии подразнить костромских гусей, которые до сих пор, вытягивая шеи, шипят на имя Меня, на имя Пастернака, на имя Мандельштама и вообще ЖИДОВ, примазавшихся к великой русской литературе. Редчайшее право на родимые пятна того же антисемитизма, и не только, имеет, например, великий Астафьев... Ну а эти-то... Вразуми их, Господи.

## 18 сентября. Воскресенье

Вчера наш «культурный десант» вернулся из Ветлуги. Ездили тем же составом, что и в Парфеньево, с той же заботой: рассказать о Розановых, внедрить книгу о роде Елизаровых-Розановых в культурную жизнь Ветлуги, где на задворках бывшей фабрики, что пристроена была к местному кафедральному собору, служившему её цехом, затеряна могила Василия Фёдоровича Розанова, отца поэта. Пользуюсь старинным определением этого высокого рода деятельности, включающего все литературные жанры к чести сих последних. Найти могилу на



захламлённом пустыре за Троицким этим храмом сейчас невозможно. В светлом будущем здесь можно разбить сквер как раз над обрывом к Ветлуге, увековечив память об отце и сыне в камне или бронзе, которую перестанут воровать как металлолом. Нынче воруют чугунные крышки канализации – хоть на тротуарах, хоть на проезжей части.

## 19 сентября

Позвонил некто Андрей из Москвы, который звонил месяца 3 назад: ко мне обратиться ему советовал Митя Сухарев, чтобы я написал об Окуджаве. Я тогда обещал, но потом передумал и ничего не написал. У мёртвых гениев много друзей, больше, чем было при жизни.

Но я опять обещал – дурная натура, – только с условием, что написанное пройдет цензуру Сухарева и Митя будет гарантом моей доброй совести.

– БЕЗ ЛЕВИНА МЕНЯ БЫ НЕ БЫЛО.

Это говорил Булат о Григории Михайловиче, создавшем «Магистраль» в конце сороковых или в начале пятидесятых. «Глоток свободы» доставался здесь каждому, кто приходил на литобъединение. Меня послал к Левину Евгений Винокуров, это было в начале шестидесятых, когда Булат уже переставал или перестал ходить на занятия. Иногда только приходил с новыми песнями, а потом и с прозой.

На его «Бумажного солдата» я написал пародию, злую и бездарную, так как сам забыл её начисто. Зато помню мягкую отповедь Б., который спародировал уже... Евтушенко, выпятив ложную многозначительность пустой фразы, фразу помню: «я иду по улице Горького». Три или четыре смысловых ударения, столько же интонаций эта фраза выдерживает, а в общем – пшик... Студия занималась в ЦДКЖ, где были и сцена и амфитеатрик (здание полукруглое). Иногда мы там выступали. Я прочёл стихи, после которых Булат приобнял меня и что-то доброе сказал. Теперь я понимаю, почему. Вот начало стихов:

Солнце стояло высоко и жгло, словно Полная Правда.  
Окаменела земля, и в степи поседела трава.  
В шлеме прозрачностальном водолаза или космонавта  
от горизонта ОН ШЁЛ и гнал надо степью слова.  
Словно бы тучи он гнал или камни в потоке.  
Был тот язык неземной или все я забыл языки,  
или мешал этот шар, этот шлем, этот обруч – но только  
был этот гул, этот гром, эта весть, эта Правда всему вопреки.

Так изобразил я Пророка, а пустыней мрачной оказался Степлаг, о чём я и думать не думал. Думал-то – Булат. В этой седой степи 10 лет протомилась его мать, его белая голубушка. Карлаг. В другом лагере, столь же безрадостном, 8 лет просидел его друг Александр Цыбулевский, Шура. Шурин лагерь был в Азербайджане, откуда Шура вернулся в Тбилиси уже полубольным и несколько пришибленным.

– БУЛАТ ХОРОШИЙ ТОВАРИЩ, – говорил Шура. В зону приходили письма, посылки от Булата, который мог быть арестован по тому же делу о грузинском национализме. Эта нелепость имеет значение и формулирует на своем суконном языке благородное стремление еврея Цибулевского и полуармянина Окуджавы,

студентов Тбилисского университета, противостоять напору великодержавных слухов в политике русификации Кавказа, и не только его. (Довольно много грузинских поэтов я перевёл – движимый сознанием ДЕРЖАВНОЙ ВИНЫ Большого Брата перед малыши. Иногда московским грузинам приходилось говорить: я больше грузин, чем вы. То есть я прошёл бы по статье о национализме с таким же успехом, как Шура и Булат, несравненно меньше, чем они, зная грузинскую культуру. ТАВИСУПЛЕБА – свобода – был мой пароль.) Году в 67-м уже тянуло холодом после хрущёвской оттепели, нависали тучи над «Новым миром»; незаметным эпизодом общего похолодания был фактический разгон «Магистрала». Левину вменялся его либерализм: в клубе железнодорожников было мало, на занятиях звучали ПОШЛЫЕ ПЕСЕНКИ ОКУДЖАВЫ, Леонович прочёл ПОРНОГРАФИЧЕСКУЮ ПОЭМУ «ТЁПЛОЕ» и т.п. Григорий Михайлович похудел на 20 кг...

Я замечал, что и люди, и даже города (Питер, Смоленск) после страшных потрясений живут уже другой жизнью – достойнее, тише. Это в воздухе, в лицах людей, переживших трагедию. И, наоборот, наши сытые-одетые девочки-мальчики... Не продолжаю.

Булат был, что называется, С КИЛЁМ – глубоким свинцовым балластом, был назначен в плаванье, где тонут суда более мелкой осадки.

## 20 сентября

На ловца и зверь бежит:

«Исторический опыт нашего поколения огромен. Идея нравственного усовершенствования и духовной независимости выстрадана нами. Особенность этой идеи в нас состоит в том, что мы не утратили чувства гражданских обязанностей». Д. Самойлов, «Подённые записи», 6.10.63. Это как раз о Булате. Что касается поколений, то хочется думать, что НАШЕ, которое младше самойловского на Отечественную войну, больше связано именно с этим, старшим, чем со следующим, младшим. Ярко сказало это в людях, подобных Дедкову, но таких мало. А руку Евтушенки, протянутую тому молодому, тот молодой выкручивает. В чем дело? Может быть, лишь в том, что хамство, созревающее до фашизма, виднее на людях, чем благородство. Но уж так оно видно – хоть слепни!

Продолжаю о Булате.

Из книги Вл. Буковского «Московский процесс», Париж – Москва, 1996, стр. 201, донос генерала Чебрикова, КГБ, в ЦК КПСС: «В. Леонович в апреле сего года на собрании московских поэтов публично призвал пересмотреть отношение к проживающим на Западе отщепенцам Войновичу и Бродскому. В марте 1986 на вечере в музее Маяковского он высоко отозвался о творчестве антисоветчика Галича... Окуджава, выступая на семинаре ученых славистов... назвал Галича «первым по значимости среди бардов России»... КГБ СССР проводит необходимые мероприятия по противодействию подрывным устремлениям противника в среде творческой интеллигенции».

Спасибо Чебрикову. На своём языке он сказал о том главном, что связывало меня с Булатом. Не грех перебрать некоторые жилки этой связи. Не знаю, существует ли донос, где на собрании писателей Леонович предлагает создать Комиссию по литературному наследству репрессированных писателей – в дальнейшем РЕПКОМ – и начинает свою подрывную деятельность. (Подрывной она будет считаться при очередном кульбите родной власти. Войнович говорит, что поли-

цейщина восторжествует в 2042 году, – думаю, раньше.) Комиссия создалась и мыслилась как Всесоюзная, даже Всемирная. Но родилась гора – и за 10 – 15 лет уменьшилась до мыши. Господа писатели в массе своей повели себя так, как и вели. В «Четвёртой прозе» Мандельштам, автор пощёчины «Алешке Толстому», всех хлеще пишет об этом сословии. Если Бабеля взяли сегодня, а назавтра в Литфонд поступает десяток заявлений с претензией на ОСВОБОДИВШУЮСЯ дачу.. Не продолжаю.

Изведал я силу презренья

и покинул ихний союз в день, когда дрались за трибуну в ЦДЛ Бондарев и Черниченко. Да не за трибуну – за копейку. Секретарём РЕПКОМА работала Ольга Сушкова. Пожалели господа двух сотен рублей, упразднили оклад секретаря. Это означало лишить и душевной и деловой связи уже старых, недобитых в своё время сидельцев, доживающих своё вдали от столиц, – с издательствами и журналами, с бюрократами союза – через Оленьку Сушкову, нашего рабочего ангела. Такими держится и движется жизнь. Пользуясь «свободой», ругался я почти непечатно в «Литературке» и в родной «Дружбе народов» по поводу этого свинства, напоминавшего 10 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ...

Еще о Булате (концовка).

Чтобы знать,

какой разор в стране,

мне надо было узнавать его не только в библиотеках, не только в самом умном общении – хоть это и обязательно – узнавать потребовалось руками, рабоче-крестьянским потом и проч. и проч. Вся мера вандализма известна, например, только реставратору, собирающему по кусочкам древнюю фреску, расстрелянную теми, кто и ведал и не ведал, что творил. Что такое уничтоженная крестьянская Россия, соображал я с топориком, с мастерком в руках. Зная, что значит ПОСТРОИТЬ, не станешь торопиться с разрушеньем. Россию погубили недоучки с белыми мягкими руками.

Весть о смерти Булата застала меня в деревне, как и смерть Высоцкого. Не с кем было тогда напиться в карельской деревне, метался как зверь, чуть не воя от горя.

Во Францию не полетишь. Дал телеграмму Белле.

Вспоминаю последний вечер Булата в Литмузее в Трубниках. Мы вели его с Лёвой Шиловым, бесконечно влюблённым в Б. Окуджавы сидели в первом ряду, Ольга сияла женственностью, Булату ВСЁ ПРАВИЛОСЬ. Всё его умиляло. Эту перемену в нем я наблюдал весь вечер с грустью. Обычно ему что-нибудь претило, чем-нибудь, чаще самим собой, он был недоволен. Но и то правда, что все говорившие, и Белла была тут, любили этого человека – навстречу этой любви он и улыбался умиленно и счастливо. Просил меня написать ему стихи, где про ДРОМАДЕРА. Я написал, дочь отдала ему их назавтра на следующем вечере. Не знаю, как он прошёл. Наверно, хорошо. Наверно, ПРЕКРУАСНО – это «у» слышалось в словечке Булата.

Рынок наступает и топчет как варвар те вещи, коих недостойн и коснуться. И люди умирают – нет Льва Шилова, нет Сергея Филиппова – их фонотека бес-

ценна... И над литмузеем нависает подошва мощного ХАМА наших дней. Надо хранить это место: здесь выступал Булат. Здесь бывали *любви счастливые моменты*. От рыночной эпохи может остаться пшик – ЛЮБОВЬ К ПОЭТУ будет вечной.

### 28 – 29 сентября

В «Северной правде» за 23 сентября – разворот о поездке костромичей в село Матвеево. Наш десант: архивист и совершенный поэт по восприятию сегодняшнего дня как пенного гребня на волне истории, лёгкая, экспансивная, неуследимая Ирина Тлиф, автор книги о родословии Василия Розанова; Нина Фёдоровна Басова, краевед из того сословия знатоков родной земли, которое было фактически истреблено в годы террора, ибо владело живой памятью и уважало родную старину, чего нигилисты не терпели; Антонина Васильевна Соловьёва, кою «культурная власть» Костромы постоянно чувствует как гвоздь в сапоге и мозоль на мозгах, серых и скудных, ибо сама А.В., власти никакой не имея, числясь работником костромского Фонда культуры, в одиночку делала то, что должна была бы делать помянутая власть... Только что ушло в мэрию письмо, составленное Антониной Васильевной: необходим памятный знак на месте, где жили Розановы. Собраны подписи, готов проект. Дело разжёвано и в рот положено кому следует – превратите же его в ДЕЯНИЕ, господа. Четвёртым был я – больше в «Волгу» не умещалось. Машину, свою личную, дал нам Алексей Александрович Герасимов, начдеп образования, в 1971–1973 годах мой ученик в Петрецовской школе. Алёша, спасибо тебе! Знать, недаром... Матвеевскому храму во имя Рождества Богородицы 150 было бы лет, а сейчас, за вычетом периода помрачения и лет запустения, вдвое меньше. Восстановить его нельзя. Но руина обретает свою мистическую власть вдобавок к той божественной, на которую «рассчитывали» зиждители. (В одной соловецкой рукописи заключённый падает на колени перед осквернённым храмом со звездой вместо креста на куполе и вспоминает свои чувства, когда был соловецким паломником и монастырь процветал: тогда они были слабее. К человеку любимому, когда он болен, ведь тоже другое чувство, усиленное состраданьем...)

Не может сын глядеть спокойно  
На горе матери родной –

это усвоено ещё в школе. В той школе, где литературу преподавали не так, как сейчас...

### 30 сентября

Позавчера звонок – дама из журнала «Иностранная литература» с предложением – не понял – то ли в коллегия переводчиков вступать, то ли ещё как ЗАДЕЙСТВОВАТЬСЯ в это дело. У меня непроходящая оскомина от того, с какой лёгкостью малодушная лит. интеллигенция ПРЕДАЛА святое дело духовной связи великороссов с другими народами бывшего Союза, когда его РАСПАЛИ пьяные недоумки в Беловежских дрягвах. Два Женьки – Евтушенко и Сидоров – сдали Совет по грузинской литературе, понимая, очевидно, суть его как державно-халявную... Женю и Беллу вскормили и вспоили Отар Челидзе, Иосиф Нонешвили, Гия Маргвелашвили и подобные им замечательные грузины, носившие Беллу на руках.

## Подкидывшем большеголовым

на грузинский порог matka-Россия подбросила её – подобрали, выкупали, приласкали...

Ужасная русская черта: плюнуть в колодец, откуда уже не пить.

Подспудный двигатель бунтов. Дореволюционному святому русскому идеализму плюнуто в душу – судьба духовенства вроде Розановых, судьба русской мысли. Ну – и пулю в затылок. (В затылок – это ИХ СТИЛЬ. Чтоб палач не помнил лица своей жертвы. Синявский: у меня стилистические расхождения с властью... Увы, она была и осталась омерзительной и т.д., но в эти дебри сейчас не лезу.)

Этой даме из журнала я сказал, что вулкан потух, ничего не перевозжу и не собираюсь, но потом что-то всколыхнулось, и я попросил обладательницу довольно приятного голоса запомнить строчку:

Вой чеченского волка ямбом переведу.

Вариант – в стихах С.И. Липкину:

ПЕРЕВЕДУ ЯМБОМ ЧЕШСКОГО ВОЛКА ВОЙ,  
в стену стучась бетонную повинною головой...

В журнале, в двух книгах этот уже МОЙ скулёжный вой остаётся на бумаге. Ни русское, ни чеченское ухо не приклонилось к нему. Поразительное легкомыслие. Или, вернее, отвычка от поэзии как самой информативной новости. И привычка к праздному виршеплётству: что с них, с поэтов, взять! Таково отношение к «стишкам» в Костроме... Кострома-матушка, нет ничего более ОБЯЗАТЕЛЬНОГО, чем поэтическое слово. Нет, милая моя, ничего сравнимого с ним по артезианской глубине тех речевых потоков. Ну – разве частушка вдруг: на сотню всяко-разных одна гениальная.

Вот я и сказал этой даме: если чеченский волк... и т. д.

И назвал ещё Чаренца, поклёванного с боков, – взялся бы за него... На том разговор и кончился.

Помню последнее собрание Армянского совета по литературе.

Взял меня за пуговицу Михаил Дудин:

– Будете переводить Нарекаци?

– Нет.

И Дудин потерял интерес к дальнейшему разговору. Но в тот день он сказал замечательные слова:

**ПУТЬ В РОССИЮ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ КАРАБАХ.**

Дудин, советский соловей... Кто-то сочинил:

Говорят, непонятен и труден  
Михаил Александрович Шолохов,  
потому-то и пишет для олухов  
Михаил Александрович Дудин.

(На Совеге, на севере Солигаличского района, много Дудиных. Даже есть тайный сын М.А. «То-то молодец» – я слышал...)

Некрасов:

Тот, чья жизнь бесполезно сгубилася,  
 Может смертью ещё доказать,  
 Что в нём сердце неробкое билося...

Дудин это доказал – не смертью, но СТАРОСТЬЮ. (Один из моих любимых интересов: какова старость твоя, твой воистину *могучий поздний возраст?*)

В Карабахе, в Степанакерте, есть улица М. Дудина. В справедливой армянской войне Дудин был бойцом. Память русского у армян священна. Так же как память генерала Лебедея, царство ему небесное!

Лебедея, спасшего ТЫСЯЧИ армянских жизней, у нас, как водится, оболгали и предали.

А как говорил! Сколько таланта в языке и, следственно, живости в мыслях! Вздор, что хороший генерал – плохой политик. Плохой хозяйственник. Ну и ешьте теперь красноярского губернатора из новорусских, любезного Кремлю. Клань по всей России – как злокачественные опухоли. Доброе качество обещал и являл Ходорковский – так где он?

## 1 октября

В церковь хожу, может быть, раз в год.

ГосподипомилуйГосподипомилуйГосподипомилуйГосподипомилуй – этого никогда не понимал. Сегодня подумал: мудрость в обесмысливании слов, Имени – так просторнее чувству. Оно то слезы, то смех, то немота, то бормотанье в ритм = поэзия.

Когда идёт сплошь, легко умереть при полной уже бессмысленности заклинанья. Так я успевал ЗАМЕТИТЬ, слушая Бетховена в юности, что преграды к смерти уже нет.

Рассудка хватало на это ЗАМЕТИТЬ – какая малость!

...А меня накажи, коль сочтёшь за грех,  
 что любви хватило на всех.

Но очень разной. Вот и не хожу в церковь: не вижу греха в том, в чём полагает его «подавляющее большинство». Где о. Александр Мень? Не с кем поговорить.

С утра звонил Казиник. Для костромской администрации, «культурной», он террорист. И заложников у него всё больше. И начальство гнушается переговоров с ним. И столь же душевно ничтожно, как наш президент в разговоре с матерями Беслана. Даже тень покаянья, даже то ЗАИКАНЬЕ Ельцина теперь нам памятно и любезно. При этом и ляпы его, грандиозные, и воровство, гомерическое, всё как-то по-другому, по-русски окрашено. Уж воровать так воровать! Гулять так гулять...

А этот... Какая-то немецкая, железная выдержка! Беда – что тогда с «Курском», что в Беслане – беда! – и туда надо БРОСИТЬСЯ!.. Ишь, генералы не поймут... Европа поймет не так... А как народ поймет – подумал? Элементарных деталей, всем в Беслане, а значит и повсюду, известных, целый год не знал? НЕ ХОТЕЛ ЗНАТЬ.

Матери настаивают и сто раз повторяют: преступников надо наказать. Удивляет и как-то обнадёживает именно эта настойчивость: ГОРЕ не отменило остальных чувств и соображений. И на первое место среди них выставило эту гражданскую строгость. Виновный подлежит наказанию, а не повышению в чине, как это уже происходит. Уже – наградили и повысили. Матери в чёрном – ныне катализатор ВОЗДУШНЫХ СГУЩЕНИЙ. Сгущается недовольство правящей камарильей и там и сям. Пенсионеры, студенты, журналисты, тюремники и лагерники, элитная наука – всяк на свой лад поднимает голову. По телефону – Стокгольм слышен великолепно – я было стал держать речь об этом, но осёкся: когда-то

у меня заболел телефон  
воспалением СРЕДНЕГО УХА –

не заболеть бы ему и сейчас. Посмеялись. К. хочет приехать раньше апреля, корил меня, что не пришел на последнее ПРЕДСТАВЛЕНЬЕ, наиболее рискованное. Не сомневаюсь, что средние уши там были, что воспалились, что оргвыводы последуют.

## 2 октября

...Русские бы матери отступились, выплакали бы оставшуюся жизнь, отругались, кто-то бы запил, а кто и повесился. Кровная месть – достояние Кавказа. Мечь, возмездие – это не наше.

Хорошо или плохо? Этого не решить.

Господи, НЕ ПРОСТИ меня – это не наше, это злая память собственной жизни. Звучит диковато. В народе, во всей его пестроте, должно ужиться и это и то. А «злой чечен», по мне, совсем даже неплохо. КТО его разозлил? Перечитаем «Хаджи Мурата», «Рубку леса» – про ЗЛЫХ курносых оккупантов, разоряющих сакли, не жалеющих ни детей, ни стариков, не умеющих воевать, но умеющих врать о своих победах.

Сталинские преступления на Кавказе чудовищны. Сжигание заживо, изобретение мясорубки, размалывающей живых людей.

Где покаяние в ГЕНОЦИДАХ? Спросить бы патриарха, благословлявшего русские танки и огнемёты. Ездили по воинским частям вместе с Пашкой Грачёвым, и кропил Алёшка святой водой эту мерзость.

Загадку про Пашку с Алёшкой задавал я залу со сцены ЦДЛ – кто такие? Зал мёртво замолк, потом был одинокий свист. Потом вечер продолжился как ни в чём не бывало.

Но я-то знаю, кто эту простоту понял совершенно и потянулся в гробу всеми косточками – ах, если бы ему встать! Ну? Кто? Василий Васильевич Розанов, аминь.

Здесь уместно ещё раз заметить: полуимя – не оскорбленье, но констатация. Полуимя – оскорбление САМОГО СЕБЯ САМИМ СОБОЙ. Бунин констатирует: Алёшка Толстой, торгующий своим талантом. Даже выгодно торговал. Кому придет в голову определить Бунина как Ивашку? Или Чехова как Антошку? Прекрасно, что Иван Алексеевич – даже Иоанн, даже из уст собственной жены. Не всякое время пригодно для полного имени, замечает Флоренский. Наше, воровское, полных имён не выдерживает. Утрачен и языковой обиход, резко отличающий Михаила от Мишки и т.д. Дедков пишет о великом писателе земли

костромской: Мишка получил новую квартиру, в старой оторвал то, что отрывалось. О нём была статья, после которой надо или стреляться, или вызывать на дуэль автора-клеветника. Но клеветы не было в фельетоне о мошеннике, была правда. М. Базанков как был секретарём писательской организации, так им и остался. Такова цена ГЛАСНОСТИ – алюминиевая копейка.

### 3 октября

Три берендеевских пруда: два верхних одного уровня, один нижний. Водослив между ними не продуман, то есть рассчитан на других пользователей, в другом городе и в другой стране. Воду принимают две трубы, мальчишки периодически затыкают их, вода поднимается и топит низкие места берега. Долговременных луж не выдерживают сосны парка – болеют и умирают. Засорить трубу просто: запахивать берёзовый ствол комлем вниз, и ветви уловят всё, что плавает поверху или гниёт по берегам. Пробравшись по коллектору под дамбой, увидите два колена этих труб, откуда должна бить вода, а сейчас она едва сочится. И никак не вытащить прямую жердь, не протолкнуть сквозь колено. Надо отпиливать по чурочке, пропихивать пробку вниз.

Если б не одышка...

В прошлом году с одним хорошим человеком чистили берега верхнего пруда. Вода Ребровки, хоть ключ совсем недалеко, в пруд поступает по захламлённому руслу, тут и очистная башенка на берегу – стоит для приличия. В результате прибрежный ШЛАМ тебе по колено – вязкий и чёрный. Вода слизистая. Благородные порывы – очистная башенка, берендеевские островерхие избушки там и сям, ВДНХ рядом с ипподромом – иссякли, всё в запустении, кроме новорусских саун под красным фонарём. Хлам по берегам прудов долгогниющий или не гниющий вечно. Цивилизация не позаботилась о культуре.

Что делать?

– Как что делать? Собирать сор и мусор, извлечь деревянные из труб, пригнать «Ивановца», и пусть накроет бетонной панелью устья труб, чтоб эти мальчишки... и т.д. (По Розанову.) Зазора меж панелью и стаканом воде хватит. Над самым ключом, над истоком речки – подобье часовни. Чуть ниже – построечка, там полощут бельё. Очень хорошо. Но уже между часовней и портмойней – пластиковые бутылки и всё остальное, к чему человек сам себя приучает. Родившись на помойке, родимого хлама не замечаешь. Где та школа, её начальные классы, которых умный учитель вывел с заданием УМЫТЬ ВОДУ и прибрать берега?

Когда в Союзе писателей работала Природоохранная комиссия, можно было утверждать, что «ОХ-ПРИРОДА» и «ОХ-ПАМЯТНИКИ» оправдывают существование Союза. Не раз приходил к нам Фатей Яковлевич Шипунов, ученик Вернадского, знаток нашей Волги. Знал её, как в своё время знал Байкал М.М. Кожов. Последние затухающие разговоры о состоянии великой реки довелось мне слышать в городе Мышкине. Мышкинские чтения, кажется, прекратились: медных копеек на них у казны нет. Нет Шипунова, нет Залыгина, нет Яншина...

Нет «ОХ-КОМИССИЙ», нет чтений – нет проблемы? Она, проблема, НАКАПЛИВАЕТСЯ, как шлам на дне Волги. Благо он прикрыт водой, которую пить давно уже нельзя. Тысячи, миллионы Ребровок и Чёрных речек несут свою слизь в Волгу. Костромская Чёрная, быть может, самая чёрная из этих сточных



канал. Таковая нынче и древняя Сула, чей зловонный сток рядом с гуманитарным университетом... Отчего же подьёмнется Каспий? Поднимется – опадёт... Думаю – от гнева.

## 5 октября

На дамбе посередине прудов урок физкультуры, класс 7-й. Две УЧИЛКИ – именно так. Прошу дать мне полминуты:

– Кто смелый и кому жалко подтопленных деревьев? Надо спуститься в коллектор и выпилить деревья.

– Это не наше дело, – говорят обе УЧИЛКИ сразу. – У нас урок, у нас дети, пусть сами взрослые...

– Они уже не дети, они уже сами способны детей делать. А тут ясное ДОБРОЕ ДЕЛО...

Один мальчишка встрепенулся: а когда прийти? Но его заглушили. Но может прийти, так ведь всё просто.

И вот – наши педагоги, ..... нрзб. И вот – наши библиотекари, которые списывают в печку неведомых им прекрасных русских поэтов. Так что, братья и сестры, обернёмся на себя, прежде чем ругать начальство, которое по определению такое-сякое. Что ж. БЕРЕНДЕЕВКА ПОЙДЁТ С МОЛОТКА. Богатый волжский город Кострома не может содержать охрану и дворника. Самый добрый в мире царь Берендей не будет занимать воображение ни детей, ни взрослых. Вместе с Лелями и Снегурочками сгребут всю эту сказку, всю эту поэзию в мусорные отвалы. Богатый москвич купит лесной массив удивительной красоты и по частям перепродает участки. Будут коттеджи, будет бетонный забор с телеглазами по углам, с волкодавами и стрелками. Внутри будет рай, как поёт Высоцкий, при дверях прохаживаться будет апостол Пётр с ключами и автоматом. Естественно, в камуфляже. Костромичи –

и огромный этап, тысяч пять, на коленях сидел –

костромичи проглотят очередную аферу своих управителей, а те положат денежки на свой счет. Берендеевка пахнет большими миллионами – неужто всё пропустить мимо кармана? В книге «ЗА ЧТО?», почти не востребованной той публикой, из которой формируются этапы, есть стихи колымчанки Елены Владимировой. Вот несколько строф.

Мы шли этапом. И не раз,  
колонне крикнув «Стой!» –  
садиться наземь, в снег и грязь,  
приказывал конвой.  
И равнодушны и немые,  
как бессловесный скот,  
на корточках сидели мы  
до окрика: «Вперёд!».  
Но раз случился среди нас,  
пригнувшись опять,  
ОДИН, кто выслушал приказ  
и продолжал стоять.

# Прямое Слово

Минуя нижние ряды,  
 конвойный взял прицел.  
 «Садись! – он крикнул.  
 – Слышишь, ты?  
 Садись». – Но тот не сел.  
 Так было тихо, что слышать  
 могли мы сердца ход.  
 И вдруг конвойный крикнул: «Встать!  
 Колонна! Марш вперёд!»  
 И мы опять месили грязь,  
 неведомо куда.  
 Кто – с облегчением смеясь,  
 кто – бледный от стыда....

Помыкали народом в те годы – помыкают сейчас. Лариса Сбитнева, редактор «Костромских ведомостей», объясняла механику отчуждения лесопарка от костромичей в пользу чёрт знает кого, но всё по закону, и не пикни. Говорю ей:

– Ударь кулаком по столу! – смеётся. Понимаю: служащие люди вписаны в механизм той рутины, что зовётся поступательным движением, объективными обстоятельствами, переходным периодом и т.п. А мне приходится быть АУТЛЮ, Out Law. Где? На бумаге? Когда? На восьмом десятке? Эти дни (и ночи иногда) возился с тем стихотвореньем:

Гарант гарантировал триста смертей  
 бесланских отцов, матерей и детей.  
 Для точности: триста и тридцать одна  
 в жестокую летопись занесена.  
 Пиши, летописец, покуда не сшиб  
 тебя заказной бронированный джип.  
 Он чёрный с отливом, как лунная ночь, –  
 и ты от такого финала не прочь.  
 Везёт нам и в жизни в смерти порой:  
 ты будешь в веках 332-й.  
 Дерзай же, надейся: Господь справедлив.  
 Недаром у ночи лиловый отлив.  
 Свечу погаси, чтоб сияла звезда.  
 Умрешь ты недаром: умрешь от СТЫДА.

## 6 – 12 октября

Московская неделя.

Метро. В вагоне довольно тесно. Но два крайних сидения пустуют: между ними наблёвано. Что ж. Отмечаю с печальным удовлетворением: в людях ещё осталось чувство брезгливости. Да поможет этот остаток каждому индивиду в том, что зовётся социальной оценкой, социальным выбором и т.п.

Прочь! Гнушаюсь ваших уз! –

крик из «Современников» Некрасова. Крик брезливой души. М. Кураев в беседе

с С. Яковлевым: моё отношение к политике – брезгливый нейтралитет. Маловато. Хочется плюнуть – плюнь. Харкотина всё равно ведь не глотается – выплюнуть придётся. Мальчишка Володя Львов (друг Булата) на войне о войне: то, что я пишу, есть ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ.

В реакциях «общественных» эстетику мы уже прошли и побороли. Остаётся физиология. Мудрый наш язык давно про всё это знает. Его речения убийственно точны, точнее матерщины, которой мы, кажется, уж наигрались. (Но как лихо матерится прекрасный пол! Эмансипация!)

Старушка нестарым ещё голосом, голоском выводит в подземном переходе:

В лунном сиянье снег серебрится,  
вдоль по дороге троечка мчится –

я успеваю в её протянутую горсть просыпать мелочь и пропеть с нею вместе:

динь-динь-динь, динь-динь-динь! –

и сжимаю её горсточку в кулачок.

Это подземный переход станции метро «Беляево».

Наверху – яркий осенний день, и друг в друга смотрятся роскошные здания этажей под 20, с вычурами и прибасульками. Одно краснокирпичное, другое жёлтокирпичное. Но это не совсем так: под жёлтокирпичной облицовкой – бетон. Цельный ли, блочный ли, не знаю. Уж очень быстро выросла эта громадина.

И вот стою я, Колька Букин,  
У Букингемского дворца...

И гляжу я, Вовка из провинции, на эти дворцы и соображаю: в этот вот жёлтый дом войдёт всё Парфеньево, весь посад со слободами. А в красный – вся пустыня Парфеньевского района плюс соседняя с нею пустыня Антроповская.

Престижная квартира стоит столько, сколько стоят несколько деревень, кои никак не могут сдохнуть, как тот онегинский дядька –

Когда же чёрт возьмет тебя?

Иные деревеньки весьма живописны, но подыхать не спешат – к досаде нынешних воротил, которым этот пейзаж надо бы застроить по-новому. Что же делать? дожидаться, пока помрут последние старики, или заказать пожар?

Интересно: возникнет ли в голове новожителя беляевских дворцов, что такое В НАТУРЕ его жилплощадь?

Москва – государство в государстве? Пожалуй, Москва – ИМПЕРИЯ, ГЕГЕМОНИЯ, простирающая лучи власти во все стороны. Каждый луч – пресловутая «вертикаль». Неплохо устроились, ребята. Сосите нефть, на ваш век хватит, и не думайте, что сосёте кровь...

Чистая физиология!

Звонок от девушки Оли. Здравствуйте, незнакомая девушка Оля! У неё замечательный интерес, она историк, её занимает послесталинское время. В частности, МГУ 1950-х годов. Оказывается, ей надо знать, как вольномыслило в ту пору наше хилое студенчество.

По телефону мы говорили час-полтора: она сломала ногу, лежит дома, мне было неловко напрашиваться с визитом, но нога, надеюсь, поправится.

Студенчество лет 50 назад хилым не было. Хилым и затхлым показался мне филфак. Журфак был поживее, еще живее как будто был Пединститут, где учились тогда Ерёмин (Красновский) и Визбор, Ряшенцев и Ким. Жалею, что был не с ними, тем более что с первыми двумя кончал одну школу (№ 659).

Рассказывал Оле, как был фигурантом в процессе осуждения Натальи Горбаневской, посмевшей на факультете у геологов читать вольнодумные стихи. На Горбаневскую наехало факультетское партбюро, я защищал незнакомую мне Горбаневскую в стенгазете филфака, цитируя уничтожительную строку Г.

очень неглупые люди

в адрес партбюро. Газету сняли вместе с её редактором Сашей Кибриком (сыном художника), моё имя осталось в ихних протоколах, я же, РАЗРЕШАЯ ТРЕУГОЛЬНИК, как раз в то время уехал как «третий лишний» в Красноярск на электрификацию Красноярской дороги. Был такой поезд ЭМП-706. Жил на станции Чёрная Речка, недалеко от Качи, описанной Чеховым. Земля там и вправду качается и дрожит, когда идёт состав. Корка покоится на пльвуне: это почище зыбучих песков. Опору электропередачи ВИБРОПОГРУЖАЮТ остриём вниз сквозь эту хлябь, то есть кверху задом, и привинчивают зад к заду. Задним числом испугался тогда за Чехова: тарантасик мог бы кануть. Да, так Оля мне зачитывала суконные формулировки партбюро, заодно и выдержки из доносов, освещавших Дискуссию о соцреализме (1957) в Комаудитории.

Ну как не благодарить стукачей!

Что я говорил о событиях в Венгрии? Не помню. Помню только, что повесил тяжелую паузу, всё стихло на минуту.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ прошло!

50 лет взаимной любви с ГБ!

Да, в 55-м, на четвёртом году службы, из арtpолка попал я в госпиталь и оттуда ИНВАЛИДОМ СОВ. АРМИИ вышел на гражданку. Дослуживать остался мой друг Саша Брейслер, челябинский инженер-металлург, переписка с которым привлекла внимание любимого ведомства. Полтора года они нас читали и проникались, в результате Брейслер был арестован по 58-й статье, пункт 10 как антисоветчик, а я как СОВЕТЧИК и его оппонент оставлен на воле. Но были обыск, изъятие бумаг, мамин ужас...

Описание того фестивального лета 57 года опускаю, протоколы допросов не пересказываю. Пусть девочка Оля, если допустят её к архивам военного ГБ, наше дело изучит, а мне его вспоминать муторно. Только два момента имеет смысл обозначить. Первый – это как они меня, лоха, подставили, сличив слова Б. с формулировкой «Правды», органа ЦК, позволяющей обвинить несчастного Б. в антисоветской пропаганде. По «правде», Б. выходил антисоветчиком, что и осталось в протоколе моего допроса. Второй момент – просветленье, понимание, какая вершится подлость, мое 20-страничное письмо ИМ, где доказываю, что если мой друг такой негодяй и враг, то я точно такой же враг. И прошу меня арестовать. (Как в свое время Анна Баркова просила Ягodu её расстрелять.)

57-й год не 37-й, Сашу выпустили, я ездил к нему с повинной – вины он не признал.

Вина наша была в том, что мы *думали о родине*, как это в песне поётся, что вообще – ДУМАЛИ.

Железными гвоздями  
в меня вбивали страх –  
с разбитыми костями  
я уползал впотьмах.  
Но Призрак Чести вырос  
как статуя во мгле –  
вернулся я и выгрыз  
позорный след в земле.  
И стал я набираться  
железных этих сил,  
и стал меня бояться  
тот, кто меня гвоздил.  
А мне теперь, ей-богу,  
не много чести в том...  
И радости не много  
в бесстрашии моём.

Ну – а если бы тех 20 страниц я не написал, если бы Сашу посадили – КАК БЫ Я ЖИЛ? (Булату сделано было ИМИ предложение подлюсти, деталей не помню. Булат сказал тому человеку: вижу вас впервые, может быть, никогда больше не увижу. А себя в зеркале вижу каждый день. Если я сделаю то, о чём вы просите, – то КАК МНЕ ЖИТЬ С СОБОЙ ежедневно и до конца дней?) Следить за мной ОНИ представили человека сломленного, но хорошего и честного: во время вечеринки и как раз во время песни «ЭЙ, УХНЕМ», когда я распелся от души, он бросается ко мне на грудь:

– Вовка! Прости меня! Я слежу за тобой...

Презрение к НИМ можно сравнить с атомным распадом – та же энергия души, то же бессрочное, как проклятье, и неустанное действие.

Энергия презренья.

### **Московская неделя, продолжение**

Как важно, С КЕМ пить и ЗА ЧТО!

Накануне отъезда водку пили как живую воду с Сергеем Яковлевым за нашу радость: вышел наконец «Дневник» Дедкова, издательство «Прогресс-Плеяда», издатель Станислав Лесневский, 800 страниц без малого. Браво, Стасик!

Пили не пьянея, а лишь воодушевляясь. На Кавказе, особенно в горах, пьют вдохновенно, потому и живут до ста лет. В России сейчас небывалая по размаху смертность. Пьют по-чёрному, заливая нравственную смуту. Миллионы отдельных возмущённых и усталых от бесплодного возмущения душ...

Успел перелистать книгу. У меня она будет настольной. Перелистывая, с удовольствием отмечал: это место знаю наизусть. БАЙ ХАРТ – сердцем. (Это выразительнее, чем НАИЗУСТЬ. Случай не-заимствования того, что хорошо бы заимствовать. Ушло из языка «знаю брюхом» – опять физиология! – жаль.

Уходит из соображения понятий вот такое праведное уничтожение: ДЕЛО ИХ ИЗВЕСТНОЕ – ДЕЛО БРЮШНОЕ... Это издавна презиралось в народе, не всегда сытом, – теперь это в чести.)

Читателям книги грозит ДЕДКОВЩИНА: открывается наудачу – и возникает или продолжается беседа с близким человеком. Текст затягивает: прочёл полстраницы и уже не оторваться.

#### РАЗОГНИ КНИГУ ВЕТХАГО ЗАВЕТА!

Разгибаю книгу Дедкова. «9.6.92 ...Александр Николаевич (Яковлев) сказал, что только слоны не меняют своих убеждений, а вот люди должны меняться. Слону, думаю я, нельзя менять своих убеждений, – иначе он не выживет, погибнет. Поражённо смотрю я на многих нынешних деятелей демократии: они прозрели в пятьдесят пять, в шестьдесят лет, и я мысленно спрашиваю их: а где были ваши геройские головы раньше? Или вы не прозревали потому, что вам и так было вполне хорошо и вы немало делали для того, чтобы соответствовать правилам жизни, которые резвее всех проклинаете сегодня. Разница между такими, как вы, и такими, к примеру, как я, что вы делали карьеру, лезли наверх по партийным и прочим лестницам, а я и такие, как я, никуда не лезли и не ценили ни этого верха, ни карьеры, ни жизненных благ, даруемых там, наверху. Это не пустая разница, и потому наше прозрение датируется ни 87-м, ни 89-м, ни 91-м годом, а 53-м и 56-м, и всё, что следует дальше, мы додумали сами, как и полагается медленным и упрямым слонам, неохотно сворачивающим с избранного пути»...

Игорь прозрел в 53-м. Я в 53-м ревел по Сталину, а прозревать стал после 55–56–57-го, после ареста моего друга и сослуживца по артполку Брейслера. Но об этом я уже писал. Итак, по Дедкову выходит, что «демократия», ныне переходящая в полицейщину, построена на лжи и воровстве. Отнюдь не святой, но совестливый Евтушенко пришел в ужас, когда ему показали в Испании банковский счёт одного из конструкторов Перестройки. «После этого я заткнулся», – говорит Женя. Но чей там счёт, не сказал, а я не спросил.

Дело не в секрете (Полишинеля), а в той неловкости, от которой краснеешь, в том спазме душевном и утробном, который знаешь по себе и избегаешь знать в другом. И тут невольно тебя кидает к пушкинской оценке французской ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАЦИИ, кровавой и вороватой, трусливой и предающей, – под святыми лозунгами...

О «прозревших» пишет Игорь за два года до смерти, ему 58. В 19 лет он писал: «Если Октябрьской революции пришлось ломать государственную машину царизма, то это была игра в бирюльки по сравнению с той машиной, которую, возможно, придется убирать с пути будущему... Главная задача перед возможными переменами – вырвать народные массы из-под влияния власти, вселить в сердца смелость и вольность духа, противопоставить интересы правящего и трудящегося»...

Мы, люди, по сути дела, примираемся с несправедливостью, с невозможностью равенства людей, примираемся с различными разновидностями общественного и классового обмана»...

Примерно это же примерно тогда же писал мне Брейслер из армии, из легендарных Гороховецких лагерей. Но Дедков писал СЕБЕ, писал, отчитываясь перед СОБОЙ, а Б. писал мне, и это уже подпадало под 58-ю статью...

– А не надоело ли, Владимир Николаевич, вам жевать эту политическую жвачку и ради неё нырять в прошлое аж полувековой давности?

– Надоело, и не жвачку – зубы все сжевал и стер. Но с несправедливостью,

как требовал ещё **МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА**, что-то нет и нет мира. До сих пор нет, как не было у Дедкова, разве что пафос поослаб и нашёл другие формы. Но –

всё те же мы...

### 19 октября

Да из этих стихов – 19 октября – последнее полустроочье. Раскрыл Пушкина... Никогда не удавалось без слёз дочитать эти стихи. Нынче почти удалось, но на «Пора и мне...» в носу защипало...

### 20 октября

«Знамя!» «Юность!» «Октябрь!» «Новый мир!» «Москва»!..

Имена журналов влачат за собою победный пафос новизны, нынче похожий на лопнувшую оболочку воздушного шара или цеппелина. Восклицанья продолжают, но совершенно по другим случаям. Передо мною присланный Сергеем Яковлевым проект литературного журнала «НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА». Тут уж я сам воскликнул: какое счастливое имя! Яковлев работал в «Новом мире», замещал Сергея Павловича Зальгина, который прочил его на своё место главного редактора.

В конце 80-х была возможность посадить в это кресло Игоря Дедкова, но различные ПУТЫ помешали этому. Фамилия Путин – от пути или от пут? Крупный человек всегда и при всех своих движениях чувствует на себе эти лилиПУТСКИЕ пути – как тот Гулливер, уже пригвождённый к земле или ещё не. Или ещё не. Таким был Твардовский в последние годы. Намаевшись по кабинетам Старой площади, говорил:

– Они уже ничего не хотят... Они хотят ПОКУШАТЬ.

ОНИ и скушали великого человека своими гнилыми зубами...

У нынешних зубы поновей.

История отлучения С. Яковлева от журнала описана им в книге «На задворках “России”». Мое отношение к этой истории – болезненное. Давно знаю, например, цену и люблю Ирину Роднянскую, и вдруг она – злой гений Яковлева! Никаких недобрых чувств к редактору «НМ» Василевскому не возникло у меня, когда ездили в Смоленск и в Загорье на 90-летие Твардовского... И я печатаюсь в «НМ». И никаких гримас у Серёжи.

И вот передо мной... А ведь вру: те два листочка с проектом журнала «Натуральная школа» запропастились куда-то. Гоголь... Герцен... Некрасов... И крестный отец их Белинский. Самое моё. Но и Пушкин:

Сват Иван, как пить МЫ станем...

И уж Лермонтов, конечно!

О как мне хочется СМУТИТЬ весёлость ИХ

И бросить им в лицо железный стих...

А Библия? Все её великое художество – на физиологии. Художник – существо без кожи. Маяковский с Чуковским сошлись на том, что Flesh Уитмена – не плоть, но мясо...

# Прямое Слово

А я – весь из мяса, человек весь –  
 тело твоё прошу, как просят христиане:  
 хлеб наш насущный даждь нам днесь –  
 МАРИЯ – ДАЙ!

Но где взять, Серёжа, столько страсти и таланта, чтоб они спасали друг друга? Ты напирал, как я понял, в основном на очерковость, на *лицом к лицу* в крупном плане. Если б я что-то понимал в сегодняшней толкучке: КУДА толкаемся?.. Всё моё знание в том, что негоже распираться локтями в чужие бока, ибо чьи-то локти боками своими или помню или чувствую. Негоже. И чьи-то ступни голова моя помнит...

Не выходя из метро, слышу: вещи, которые кажутся вам подозрительными... Это куда ни шло. Но звучало и такое: лица... я не ослышался? – ЛИЦА, которые покажутся вам подозрительными... Доехали! Стоп, эскалатор! Верти обратно!

Лица... которые покажутся... Будь у меня зеркальце, немедленно бы вынул! И СВЕЖИМИ ГЛАЗАМИ пересмотрев до тошноты знакомое лицо – ага! не лицо ли врага? – сам себя отвёл бы за воротник в ближайшее отделение милиции. Вот уж ИХНИЕ лица... Родные мои,

доррогие мои. ХАППРОШИЕ!!! –

так, кажется, у автора «Страны негодяев»? СНГ... За воротник ли, за язык – что может быть НАТУРАЛЬНЕЙ этой проклятой школы!

Петербургские углы... Избенка Параша на взморье – была и нет! – и *безумец бедный* на пустом месте этом, посмевающий грозить истукану... Поздний, впавший в ересь, небывший, доживший до толстовской могучей старости – Пушкин?

*Кряхтение стыда*, который измучил Нехлодова... Физиология – опять она... Уже много лет

я страдаю почётной  
 НРАВСТВЕННОЙ ТОШНОТОЙ,  
 как граф Толстой,  
 ото лжи отлучённый.

Натуральная школа... Отзыв, по Анненскому, всему самому глухому и безотзывному – стону того безумца на пустом взморье.

Имя Дедкова в проекте журнала говорит многое и главное.

Если угодно, Дедкову было под силу осмыслить тот одинокий стон, заглушённый отходящим морем. Удивительная, углублённая и окрепшая с годами верность себе: первая работа Игоря была о «Шинели» Гоголя, и вся жизнь оказалась посвящённой России униженных и ограбленных, но не только, не только! Досталось и ЗАХВАТЧИКАМ... И весь универсум жизни нашей был тут явлен.

Но ствольной крепью, позвоночником дедковских писаний и в прозе и в стихах была натуральная школа... едва ли не от Гомера.

Нет великого Патрокла –  
 жив презрительный Терсит.



От гомеровской дотошности, от гомеровской печали преобразования ЧЕЛОВЕКОВ в стадо свиней, от гомеровского благоговения при виде – вот когда слепец видит! – при виде ЛЬНЯНЫХ КОЛЫХАНИЙ распущенных волос Елены Прекрасной. Было из-за чего воевать народам! Незазорно – сказал бы Твардовский. А уж как зазорно и позорно как – воевать за копейку нефтедолларов, господа президенты.

...То сам я тащил себя к ментам, то завидую теперь сам себе: ведь я слышал, КАК ПЕЛ «ИЛИАДУ» Сергей Иванович Радциг! *Вы, нынешние, ну-тко!*

А в том, как пел он, не было согласных звуков, или была самая малость...

*Деревня Илешево Костромской области.*



Витебские сумерки

Андрей Духовников

Елена Борода

## Три рассказа

### ДВОРНИК

Боги теряют людей – им уже не нужны игрушки из плоти и крови. Они устали от плачущих кукол, слабых и жалких и не желающих стать другими. Боги и сами не думали, что тёплая глина останется глиной.

Люди знали, что они – глина. Мало кто из них знал, что они – люди. И уж совсем никто не знал, что они – боги. Люди жили, плодились и размножались, совсем забыв о том, что такое напуганное было дано зверям и птицам, а от человека требуется нечто большее.

Люди суетились, обременив землю. А земля, кажется, только из невысказанного милосердия терпела и была спокойна и недвижима. Зато по ночам казалось, что она готова вздыбиться и сбросить с себя человеческую шелуху. Тогда в пропасть полетели бы дома, разорвались артерии дорог и сгнуло всё, что люди считают вечным. А потом земля успокоилась бы.

Но по ночам люди спали, и только некоторым в тревожных снах виделись гигантские горбы и утробный глас возмущившейся земли.

В этом году весна поменялась местами с осенью. Разве что потихоньку прибавлялись дни, а так погода ничем не отличалась от осенней: над крышами пухли тучи, часто моросил дождь, а в редкие минуты просветления воздух становился совсем по-ноябрьски прозрачным, до неслышимого звона, которым звенит тишина.

Нынешние март-апрель-май были тоскливы. Наш промокший двор казался совсем беззащитным. В прошлом году весна была весной, и никому в голову не приходило, что так будет не всегда. Хотя и в прошлом году по утрам народ вставал так же тяжело, и старый двор наш пустовал почти до полудня. Те, кому приходилось покидать квартиры, опаздывали и торопились, те, кто оставался дома, ещё спали, и только один человек без суеты и спешки встречал нарождающийся день.

Он был дворником, и его звали Иннокентий. Так к нему обращались все: и дети, и взрослые. «Иннокентий, помоги донести шкаф до четвёртого этажа». «Иннокентий, беда, опять кран на кухне свернули!». «Иннокентий, не могли бы вы побыстрее расчистить снег возле машины?» Обращались все и по всякому поводу, так что дворник Иннокентий исполнял по совместительству обязанности

слесаря, столяра, грузчика... Был суров, но безотказен. Впрочем, несмотря на его большей частью сумрачный вид, никто не сомневался в том, что Иннокентий – существо доброе. Работал он без выходных, и каждое утро на улице слышалось шарканье его метлы или – в зимние снежные дни – граханье лопаты.

К работе своей он относился как к святой обязанности и между прочим рассказывал нам, дворовым ребятам, что он вроде Деда Мороза. Только у Мороза дежурство раз в году, а у него, дворника Иннокентия, каждый день, потому что он, дворник Иннокентий, отмеряет время, разделяя ночь и день, и каждое утро непременно начинается именно с того, что он начинает шаркать своей метлой.

Иннокентий улыбался в густую бороду – из-за неё непонятно было, старый он или молодой. Улыбался, но не шутил. Это было понятно. И мы верили ему, хотя давным-давно разучились верить в сказки, а большинство из нас и не слышало их из уст вечно озабоченных родителей. Большой частью двор наш заселяла беднота: многодетные неразумные семьи, похожие одна на другую и детьми, и родителями, сельский люд, имеющий в виду перебраться в город, переселенцы с рабочих окраин, где было совсем уж худо. Попадались ещё гастарбайтеры да вьетнамские торговцы. Эти снимали квартиры или комнаты, ютились по шесть человек в одной. Поэтому ругань и драки были картиной настолько обычной, что никого, кроме самих дерущихся, не трогали.

Мы верили, что солнце встаёт и день отделяется от ночи именно потому, что Иннокентий ежеутренне несёт свою вахту, а не наоборот. Нашлись, правда, не в меру правдолюбивые личности, утверждавшие, что Иннокентий, как и все, ставит будильник на четыре утра, и всё его волшебство заключается лишь в завидном постоянстве, коим большинство из нас не обладает. Это мнение вызвало волну протеста. Если многие и думали об этом, то молчали и не противоречили дворницкой байке. После этого мы украдкой и с тайной опаской, будто сами боялись разоблачения, искали в дворницкой будильник, но не обнаружили не только будильника, но и вообще каких бы то ни было часов. Так попутно выяснилось, что существуют-таки предмет и деятельность, которые Иннокентию точно не по душе. Часов он не чинил, не любил и не держал. Нужно ли говорить, какой вывод мы из этого сделали? Не в меру правдолюбивые были посрамлены. Все очень радовались.

Днем Иннокентий часто отлучался из своей каморки, зато по вечерам он всегда бывал дома. Пацанье собиралось вокруг Иннокентия и слушало. Драчливые и независимые, как все дворовые мальчишки, возле него мы прекращали все разбирательства и споры. Это было время перемирия, а его дворницкая по всеобщему негласному решению была признана нейтральной территорией.

– Иннокентий, – заводил разговор кто-нибудь из нас, – расскажи историю.

Мы просили истории про войну, про царей и героев, про дружбу, что-нибудь веселое просили и – немного стесняясь – про любовь. Иннокентий рассказывал. Историй у него было много, некоторые, длинные, были с продолжением. В это время Иннокентий обычно прилаживал к лопате черенок, вязал новую метлу или чинил что-нибудь из имущества соседей.

Он рассказывал про благородного царевича, который рос в отцовском дворце, как наш Илья Муромец, тридцать лет и три года (или всё-таки меньше?), а когда вышел из дворца, окружающая жизнь так поразила его своим убожеством, что он надел сандалии на босу ногу и ушёл куда глаза глядят – надо полагать, спасать мир. Рассказывал про двух влюблённых, родители которых враждовали между собой, а они всё равно хотели быть вместе, вместе и умерли всем назло.

Ещё рассказывал про великую битву, в которой сражались и боги, и люди – совсем как равные, и не обязательно боги были главнее. И выходило так, что не было в этой битве ни наших, ни ваших, ни своих, ни чужих, ни правых, ни виноватых.

Все имена у него были мудреные, и из всех мне запомнился бог Шива. Был такой у индусов бог-разрушитель, от танца которого мир падает в тартарары. Больше всего мне нравилось то, что ему не жалко было этого мира, и в то же время он был не агрессивен, этот бог-виртуоз, он не по злобе рушил, а делал то, что полагалось, и главным образом потому, что мир постарел, но не стал совершенней, а люди, наоборот, измельчали и испакостились до такой степени, что милосердней было прихлопнуть их всех единым махом, до того как худшие из них переубивают друг друга, а лучшие передохнут от мучительного открытия собственного ничтожества и стыда за самих себя.

Дворник любил рассказывать про зверей, и звери у него тоже были какие-то удивительные. Белый слон, который упал со скалы, чтобы накормить своим мясом голодающих людей, Обезьяний царь, которому равных не было в благородстве, Царь-олень и много других. Это к тому, – пояснял Иннокентий, – что дух дышит, где хочет, и сами боги не брезговали перевоплощаться в животных, и вообще иные звери получше людей. Тут мы с ним были согласны.

Иннокентий животных любил. У него был щенок. Звали его так же, как и хозяина. Дворник был против каких бы то ни было извращений имени своего любимца, как, впрочем, и своего. Поэтому, когда звали щенка Кешей, поправлял. Путали их, конечно, – и в разговорах, и так. Пробовали звать Иннокентий-большой и Иннокентий-маленький, но ведь щенка таким именем не покличешь. Иннокентия-большого мы убеждали, что ничего унижительного для собаки в имени Кеша нет. Вон даже какие кобели и сучки с безупречной родословной и именами Арчибальд, Рудольф и Клеопатра в семейном кругу отзываются на Арчи, Руди и Клепу. Иннокентий-большой молчал, но, по всему видно, не соглашался. В конце концов щенок стал зваться Иннокешей. Хозяин отнёсся к этому как к вынужденному компромиссу, возражать не стал.

Иннокешу любили. Впрочем, мы вообще любили животных больше, чем людей (как это часто бывает с заброшенными детьми), словно получая и отдавая щенятам и котяткам ту заботу, что сами недополучали и выказать не могли.

Моя семья даже по дворовым меркам считалась неблагополучной. Отец – алкоголик со стажем, да ещё буйного нрава. Мать, бедная, измученная на двух работах, и мы с сестрой, за которыми по возможности глаз да глаз. Глаз главным образом требовался за сестрёнкой, которая страдала эпилепсией. То ли у неё это было врождённое – ребёнок-то спьяну сделанный, то ли на папочку с мамочкой да на драки их насмотрелась, вот и сказалось. Только с тех пор, как случился с ней первый припадок, мать все силы и пьяные слезы свои отдавала несчастному дитяте, а я как-то оказался в стороне.

До того я был типичным шалопаем. Курил, ругался, слыл задирой и готов был оправдать прогнозы школьных учителей относительно моего будущего, несомненно криминального. После болезни сестры во мне как-то само собой постепенно укрепилось намерение проверить, насколько далеко может упасть яблоко от яблони. Само собой получилось, что большинство хозяйственных забот легло на меня. Никто не возражал, все приняли как должное. Только вот ласки я с тех пор – ни грубой, ни пьяной, ни случайной – больше от кровных своих не видел. Не ругали, не били, но и не привечали. Дескать, взрослый уже и спрос с него, как со взрослого, и отношение такое же.

Сестра – та благодарилась молча, взглядом. Жалко было её очень – маленькая ещё. Говорили, что падучая проходит у девочки, то есть, получается, у женщины, после того, как она родит ребёнка. Мать надеялась на это. Только ждать было ещё долго – сестрёнке было всего девять.

Такие проблемы решаются на раз-два, сказал однажды Кирилл, известный наш похабник и драчун, и немедленно предложил свои услуги, с поправкой на срок, пока «девочка созреет». Я его чуть не убил тогда, он даже удивился – он же в шутку, никого обидеть не хотел, тем паче дитя убогое.

Вообще-то мы с Кириллом считались друзьями. Не то чтобы близкими, но друг друга всегда выручали. У него дома было ещё хуже. Помимо непутевых родителей он имел ещё и брата-уголовника, который как с малолетства пошел по дурному пути, так с него и не сворачивал. Сам Кириуха парнем казался неплохим. В отличие от меня он никому ничего доказывать не собирался и рано пустился во все тяжкие. Девчонки его, впрочем, любили, и подружек он имел – каждую неделю новую. Если разобраться, то хамил он больше от отчаяния. Кому не хотелось гордиться предками! Кириллу гордиться было нечем, и он пытался соответствовать – глупо, конечно, – этим их оправдывая.

Вот так мы и жили. Немногие, как я сейчас понимаю, делают это лучше нас, а нам самим всегда казалось, что так жить не то чтобы правильно, но вполне естественно.

Но однажды появилась она – Инна. Это мы потом узнали, что её так зовут. А пока увидели немисливо красивую девушку. Кирилл присвистнул и, провожая её похабным взглядом, пропел что-то на мотив известного «То ли девушка, а то ли виденье». Да-а, такие к нам ещё не заходили. Ничего особенного она, может, собой и не представляла, но настолько вся была ухожена, настолько вся казалась прямо-таки хрустальной, от волос до самого последнего ноготка, что представлялась нам существом иного порядка.

А девушка, к нашему удивлению, скрылась в дворницкой. Через некоторое время они вышли с Иннокентием, и она была заметно взволнована: лицо разругннилось, а глаза бегали и блестели. Иннокентий выглядел как обычно. Впрочем, из-за бороды и усов всё равно не разобрать было, что он там чувствует. Ни на кого не глядя, он провёл её через двор, и так же, ни на кого не глядя, вернулся к себе. Это было событие. Двор живо обсуждал эпизод, строил предположения относительно девушки, но нечего и говорить, что Иннокентий никак не пытался прояснить ситуацию.

Через несколько дней народ за чаем, пивом, домино, футболом активно толковал о том, что незнакомка приходила ещё раз и, кажется, оставалась на ночь, девица, похоже, не из бедных, вся из себя гордая, неженка и белоручка, чего она хочет от нашего дворника – непонятно, а наш-то скромник, сказочник – имелся в виду Иннокентий – каков, а?

Инна и в самом деле ночевала в дворницкой. А однажды осталась насовсем.

В этот вечер у Иннокентия собралось много народу. Многим именно сегодня потребовалась срочная починка всякой хозяйственной ерунды. Всем не терпелось взглянуть на гостью нашего дворника. Инна сидела молча и только улыбалась. Одетая она была в узкие джинсы и старый Иннокентиев свитер, который красиво на ней болтался. На её лице застыло детское выражение удивления и какой-то молчаливой благодарности. И вовсе не была она гордой. Может, она и казалась такой кому-то из наших, но, скорее всего, просто не знала она толком таких, как мы, и на нашем языке говорить не умела, потому и помалкивала. И правильно делала: стараться казаться своей в чужом обществе с первой же встречи – это выглядело бы смешно и жалко.

На узком топчане перед ней лежали книги, исписанные листы бумаги и, между прочим, недешёвый ноутбук. Кто-то уже разузнал, что Инна работает переводчиком в каком-то литературном журнале. Книги и бумаги весьма интересовали Иннокентия-маленького, который норовил влезть на топчан, вытягивался в струнку, переминался с лапы на лапу, вертел хвостом, как пропеллером, думая, наверное, что это помогает, и при этом непрерывно поскуливал, до тех пор пока Инна не взяла его на руки. Истоптав и обнюхав все бумаги, щенок уселся рядом с ней. Он выглядел очень довольным – видно, девушка ему понравилась.

Иннокентий-большой гостью свою словно бы не замечал. За весь вечер он не сказал ей ни слова. Даже не смотрел в её сторону. Рассказывал по-всегдашнему свои истории и усмехался в бороду. Зато мы просто из кожи вон лезли перед новым человеком, старались казаться более развязными, по-взрослому ругались, поминутно задирали друг друга, то и дело выходили покурить. В Иннокентиевой каморке мы этого не делали – он не любил. Инна смотрела на нас и улыбалась, но не нам, а каким-то своим мыслям.

Нам всё это казалось какой-то загадкой. Иннокентий, конечно, не от мира сего, но он был нашим. Инна, наоборот, не наша, но вполне из этой жизни, правда, из той её части, о которой мы знали понаслышке. Как они собирались уживаться вместе, было непонятно.

А потом всё стало как обычно. Разговоры утихли, и мы привыкли к новому положению вещей. И ничего даже не изменилось. Так же звали Иннокентия по всякому делу, так же шаркал он по утрам своей метлой, так же приходили мы слушать его сказки, так же резвился подросток уже Иннокеша. Инна никого не стесняла. Познакомиться с ней никто толком не познакомился, хотя она здоровалась со всеми. Здоровались и с ней.

В тот день отец пришел с работы рано, трезвый и злой. Побродил по квартире, порычал, подёргал запертую изнутри дверь моей комнаты. Потом пошёл на кухню и открыл окно – высматривать друзей. Через некоторое время, видимо, высмотрел. Я слышал, как они через окно обсуждали своё времяпрепровождение на ближайший час. Потом хлопнула входная дверь – отец ушёл. Я решил выйти на улицу подождать своих – мать и сестру.

И тут Кирилл окликнул меня из окна своей квартиры.

– Чего тебе?

– Зайди, дело есть. – Он кивнул головой куда-то в сторону.

Я поднялся к нему.

– Ну?

– Проходи.

Мы вместе прошли в его комнату. Кирилл плотно закрыл дверь, хотя дома никого не было. Оглянувшись, он протянул мне жестяную коробку.

– Я тебя специально позвал, пока моих нет. Будь другом, спрячь у себя ненадолго. Боюсь, батя пропьёт, если отыщет.

– А мой не пропьёт?

– Не успеет. Говорю же, ненадолго. Дня на три всего, потом заберу. Понимаешь, у него получка вчера была. Мать, само собой, все деньги забрала, какие успела, а он шмонает по всему дому второй день – ищет, чего бы спереть. Поуспокойся, возьму обратно.

– Ладно. Только ты уж побыстрее. Мало ли что.

– Договорились.

Я взял коробку. Она была довольно неумело запаяна и оказалась неожиданно тяжёлой.

– Ничего себе система безопасности, – усмехнулся я. – Вы от своего бати каждую получку так прячете? Тяжело-то как. Ему что, золотыми слитками выдают?

– Получку? – рассеянно переспросил Кирилл. – А, ну да. Упаковка тяжёлая. Ладно, Геньч, иди. Да коробкой не светись, спрячь куда-нибудь под куртку.

– Не учи.

Я понимал его проблемы. Мы жили с такими же. Запихнув коробку за пазуху, что вообще оказалось не совсем легко, я зашагал домой.

Дома у меня был тайник. Чтобы добраться до него, нужно было выдвинуть подоконник. Видимо, по упущению рабочих, строивших этот дом, в стене под окном не хватало нескольких кирпичей, а два самых крайних вообще держались на честном слове. Так что их можно было выпихнуть наружу, между прочим, на крышу Иннокентиева жилья. Наша квартира располагалась на втором этаже, и два окна выходили напрямиком на крышу дворницкой. Дуло из-за этих кирпичей зимой ужасно, но на худой конец на подоконник можно было накинуть одеяло или коврик, зато у меня было укромное местечко. Там я порой хранил всякие свои секреты. Обнаружил я это место случайно, когда красил рамы. Поскольку ремонтом в доме кроме меня никто не занимался, знал об этом тайнике я один. Туда я и решил спрятать Кирюхину коробку.

Дома никого не было, но я тем не менее запер дверь комнаты, прежде чем вскрыть подоконник. Тайник пустовал. Я попытался аккуратно втиснуть туда коробку. Она не влезала. Я надавил посильнее. Плохо запаянная крышка отвалилась и раскрыла содержимое. Это не были деньги, как я думал.

В коробке, завернутый в чистую ветошь, лежал пистолет. Самый настоящий, тяжёлый, холодный. Я достал его, осмотрел со всех сторон, даже понюхал. Ничем не пахло, но, по-моему, из него таки стреляли. Потом я вспомнил, что лучше бы на таких вещах не оставлять отпечатков, и тщательно вытер пистолет тряпкой, стараясь при этом не касаться курка.

Ну и Кирилл, ну удружил приятель! Я как можно плотнее закрыл коробку, напихав туда тряпья и бумаги, – вот же Кирилл, не мог додуматься, – чтобы ничего не болталось, завернул ещё и сверху, сунул её под окно. Втиснул на место подоконник. Ничего вроде заметно не было. Задёрнул штору. Так было ещё лучше. Теперь нужно к Кирюхе, выяснить, чего это он. Я бы и так спрятал, только врать-то зачем? Я не думал, чтобы Кирюха мог меня подставить нарочно, тем важнее было поговорить с ним.

Ещё из комнаты я услышал, как пришли мать с сестрой, но мне было не до них. А Кирилл успел куда-то смыться. Дома я его не застал. Мне всё меньше нравилось происходящее. Решив дождаться его во что бы то ни стало, я пошел пока к Иннокентию – скоротать время.

Я заглянул в окошко дворницкой. Иннокентий сидел голый по пояс, скрестив ноги, и глубоко дышал. В такие минуты он был весь в себе, и лучше было его не трогать. Чертыхнувшись про себя – что же это за день такой, в самом деле, нигде мне сегодня места не находится! – я вознамерился удалиться, но Иннокентий пошевелился и открыл глаза. Потянулся за одеждой, увидел меня и приглашающе кивнул. Я вошёл, уселся на полу. Инна была здесь, но, по обыкновению, ничем не выдавала своего присутствия.

– Ты поговорить или так? – сразу спросил Иннокентий.

– Так. Но можно и поговорить. Хотя я и уйти могу, если что, – спохватился я.

– Ты нам не мешаешь.

Так и сказал – «нам». Значит, всё у них с Инной как положено.

Под руку мне попался черенок от лопаты. Я взвесил его – был он тяжеленный.

– Таким и убить можно, – сказал я.

– Можно, – согласился дворник. – Опытные бойцы вообще считают, что оружием может быть абсолютно всё, включая вещи нематериальные.

– Как это?

– Ты разве не слышал, например, что словом можно убить?

– Слышал, – хмуро подтвердил я.

Не только слышал, но испытывал на себе. Не стоит говорить, что в школе я не числился среди любимчиков. Может быть, мои детские шалости были такими же невинными, как и у других ребят, но, зная о моей неблагополучной семье, осуждали меня более строго, с прогнозом, так сказать, на будущее. Убивать не убивали, но саднило внутри здорово.

– Первые войны, наверное, начинались с рукопашной, – без всякого видимого перехода заговорил Иннокентий. – Вот такими дубинами и дрались – лицом к лицу. Уже когда придумали стрелы и копья, убивать стало проще – издали ведь не видно, каковы глаза умирающего врага. А уж когда изобрели оружие массового поражения, смерть и вовсе стала безликой.

– Получается, воевать стало легко?

– Это как сказать. Убитым точно не легче. Тем более что они своего врага даже в лицо не знают. – Он помолчал. – Да и убийцам, пожалуй, тоже. Видишь ли, сама война – она от слабости человеческой, не иначе.

– А мне казалось, что наоборот: воевать – значит показывать силу.

Иннокентий покачал головой:

– Совсем не так. У человека не хватает мощи, чтобы приняться за самое трудное – перекроить самого себя. И он по злобе принимается за то, что полегче, – пытается переиначить мир. Впрочем, ты можешь думать по-другому.

– Получается, драться вообще нельзя. А как же за Родину или, там, за справедливость?

– Я говорю о войне, а не о борьбе. Борются и воевать – не одно и то же.

– Как это?

– Ну, к примеру, борьба с самим собой – это процесс необходимый, а война с самим собой – это, извини, уже раздвоение личности.

– Разве мир переделать легче, чем себя?

– А ты попробуй. Или вокруг посмотри. Люди – они ведь все почти ждут, чтобы кто-нибудь спас их, убедил, вытащил, поддержал. Кто-то со стороны. Думаешь, они не подозревают, что можно сделать шаг в сторону, один маленький шаг, шажочек – для начала, – и всё будет по-другому? Нет, как раз знают. Но с ужасом закрывают на это глаза. А почему – догадываешься?

– Страшно потому что.

– Верно. Потому что впереди – неизвестность. Когда прыгаешь через яму, прежде чем приземлиться, на какое-то мгновение зависаешь над пропастью. Вот этого мгновения люди и боятся больше всего.

От Иннокентия я вышел задумчивый. Постоял, вспомнил, куда шёл, и заторопился. Посреди двора увидел соседку. Заметив меня, она остановилась.



– Ген, ты бы к своим бежал. Они что-то... Нехорошо там, – сказала она.

Я только рукой махнул – очень нужно было поговорить с Кириллом.

На этот раз он был дома и встретил меня недружелюбно.

– Ну? – с порога начал он.

– Ты зачем меня обманул?

– А ты уже пронюхал...

– Я не пронюхал, а честно посмотрел. В коробку, которую, между прочим, закрывать надо было лучше. Дураку ясно, что уцелевшие ползарплаты твоего бати так не прячут. Тяжеловато для рублей. Вот иди теперь и сам забирай свой ствол. Я с ним больше светиться не намерен.

Кирилл сделал большие глаза и затащил меня внутрь.

– Ген, ты это... не сердись. Я сначала хотел тебе напрямик сказать, да ты сам про деньги подумал. Я и не стал разубеждать. Тебе же лучше: меньше знаешь – крепче спишь. А я бы его дня через два всё равно забрал.

– Ты влип, что ли, куда?

– Я – нет. Это брат. Попросил спрятать, только не в доме. Вроде бы прийти за ним могут.

– Он что, кого-то грохнул?

– Веришь, Геныч, я сам не в курсе. Говорю же, велел спрятать и ничего не объяснил. Обещал забрать скоро. Я думаю, не обманет, не законченный же он урод – своих подставлять. Но даже если он за стволом не придет, я сам заберу, чес-слово.

– Н-ну...

– Мне больше и просить-то об этом некого. А ты, думаю, даже если и почувешь неладное, язык распускать не будешь. Кому-кому, а тебе я неприятностей не хочу. Заберу, обещаю. Не сердись...

– Да ладно.

Пистолет явно обладал темным прошлым, иначе и быть не могло, если дело касалось Кирюхиного брата. С другой стороны, это был Кирилл, которому я мог доверять как самому себе, и не выручить его, когда в самом деле надо, было бы позорным малодушием. Да и чем я рискую, в конце концов? В общем, мы вышли во двор вполне примирённые, покурили и разошлись. Я отправился домой, вспомнив по пути предупреждение соседки и предвкушая одну из привычных семейных сцен, конца которым не было.

В доме и в самом деле было нехорошо. На кухне пьяно мычал отец. А в коридоре, в самом проходе, я увидел мать – неподвижную, в луже крови, растекавшейся по полу вокруг головы.

Я заметался. Надо было вызывать скорую помощь. Скорая непременно сообщит куда надо – они обязаны. Жалости к отцу не было. Увезут дурака в милицию, туда и дорога. Без него спокойнее. Мать лежала без сознания, а может, и неживая уже. Чем или обо что он её шарахнул, я не знал, но, видно, сделал это неслабо.

И тут я увидел сестру. У неё лихорадочно блестели глаза. Я уже знал, что за этим следует.

– Гена, не уходи, – она заплакала, тоненько-тоненько.

Я кинулся к ней, торопливо соображая, что же делать. Она цеплялась за меня тонкими своими ручонками и вся дрожала.

– Не уходи, – повторяла она.

– Да не уйду я, успокойся.

Однако уйти было нужно. Сбегать к телефону и вызвать скорую. А потом

ещё пистолет. Он всё ещё лежал у меня под окном, в тайнике. Если дело дойдет до милиции, лучше бы такой игрушки в доме не иметь. Однако и перепрыгивать было рискованно. Некогда, да и куда? Мысль сработала быстро и подсказала единственно возможный вариант: из окна прямо на крышу, повывдвинуть кирпичи, чтобы можно было в любой момент избавиться от опасной коробки, выпихнув ее наружу.

Не отпуская от себя сестру, я пробрался в комнату, к раскрытому окну. Как назло, двор пустовал. Только Инна сидела на лавочке и читала. Не слишком приятно было привлекать её к этому, но сейчас мне ничего другого не оставалось. Я окликнул её, она подняла голову.

– Можешь подняться? Очень нужно...



На постонок

Графика Геннадия Смирнова

Она захлопнула книгу и направилась к подъезду. Я встретил ее около двери и быстро пропустил в квартиру.

– Видишь? ...те, – я ещё не знал, как к ней обращаться.

Инна окинула взглядом картину бытового побоища. Увидев кровь, округлила глаза.

– Она жива? – спросила про мать.

– Не... не знаю. Надо врача. И милицию, наверное. А у меня – вот, – я кивнул на судорожно всхлипывающую сестрёнку.

Инна понимающе кивнула.

– Я сбегая позвоню, это быстро. А ты с ней побудешь? Побудете? – опять поправился я.

– Да, конечно. Только зачем бежать? У меня мобильный.

– Нет, лучше не надо, – я всё время помнил про ствол, – мне ещё нужно...

Не договорив, я опрометью помчался вниз. Вылезать из окна в её присутствии было, я полагал, подозрительно, поэтому – вихрем из дома, влезть на крышу – от

случайных взглядов там спасала неуклюжая деревянная надстройка, неизвестно для чего предназначенная, но теперь она была кстати... За спиной услышал плач сестрёнки и успокаивающий голос Инны.

Скорая приехала через четверть часа. Мать привели в чувство, всё оказалось не так уж страшно, хотя крови вытекло порядочно, да и без сотрясения, наверное, не обошлось. Милиция тоже приехала. Только заявление на отца мать писать не стала – у него была пока работа, с которой не успели выгнать, всё-таки деньги, а если в тюрьму, так вообще ничего, ещё и своё заработанное отдашь, не бросать же идиота.

Инна сидела в моей комнате на диване, голова сестры лежала у неё на коленях. Сестра спала.

– Успокоилась?

– Ага. Она сильно испугалась.

– Ничего не было? – спросил я, имея в виду приступ.

Инна покачала головой, видимо, не поняв.

– Спасибо... вам, – с заминкой сказал я.

– Можно и на «ты», – сказала Инна, без улыбки, но приветливо.

– Ладно. Спасибо тебе.

Уже потом, когда она ушла, я вдруг подумал, что если у меня появится девушка, я ничего не буду иметь против, если она будет похожа на Инну.

На следующий день я увидел Инну в городе. Она была не одна, и это, видимо, её не радовало. От парня, который шагал рядом с ней, она явно старалась избавиться. Тот, напротив, назойливо вился вокруг неё, заходя то справа, то слева. Я бы не придал этому большого значения, если бы позже, зайдя к Иннокентию, – вообще-то мне нужен был он, – не застал Инну явно расстроенной.

– Что-то случилось?

– С чего ты взял?

– Вижу, ты какая-то...

Она повернулась ко мне спиной. Стояла, сгорбившись и обхватив себя руками за плечи, будто зябла.

– Что ты знаешь об Иннокентии? – спросила она.

Я пожал плечами, хотя она этого не могла видеть.

– Иннокентий хороший... – Я произнёс это то ли спрашивая, то ли утверждая.

– Угу. – У неё это прозвучало как-то сдавленно.

И тогда я понял, что она плачет. Инна, сморкаясь и всхлипывая, поведала мне свою историю. Точнее, её и Иннокентия. Они, оказывается, одноклассники, страшно были влюблены друг в друга. Собирались, как водится, пожениться, строили планы о будущей учёбе в университете и студенческой жизни, да родители Инны, люди зажиточные и со связями, Иннокентия принимали в штыки. Он со своей одинокой и рано постаревшей матерью против них был натурально голь перекатная. Родители Инны выбрали для дочки подходящего, по их меркам, жениха и настояли на замужестве. Инна сопротивлялась, конечно, и слёзы шли в ход, и сцены, и истерики, и даже убежать собралась с Иннокентием, да, видно, страшно стало. В общем, всё-таки уступила и вышла замуж за родительского избранника.

Иннокентий сильно переживал, долго буйствовал – он тогда другой был, – преследовал Инну, клялся, что этого так не оставит, но и он в конце концов смирился. Ни в какой университет он не пошел, даже пробовать не стал. Он вообще исчез, и только потом, поняв окончательно, что счастья у неё в жизни нет и быть

не может, Инна разыскала своего любимого и узнала, что он подался в духовную семинарию – пока не монастырь, конечно, но тоже прочь от мира. Иннокентий ещё в школе был личностью задумчивой, а уж после такого облома в личной жизни и вовсе поглотили его думы о высоком.

Они снова стали встречаться – чужая жена и бедный семинарист, понимая, что ничего хорошего обоим это не сулит. Ни тот, ни другая не решались что-то изменить. Впрочем, встречались они редко, хотя и почти не скрывались от посторонних. Обоим было нечего терять. Так продолжалось до тех пор, пока Иннокентия не поперли из семинарии. За ересь, пояснила Инна.

– За что? – не понял я.

Но она только рукой махнула. И правда, чего спрашивать, разве мало того, что он, не таясь, встречался с мужней женой?

Инна попросила закурить. Сигареты у нее закончились. Поколебавшись, я протянул ей свои – мне было не жалко, но я вспомнил, что обычно курила она, и сравнил с тем, что курили мы. Она поморщилась, но взяла. Правда, как я и ожидал, сразу же закашлялась, сделала ещё пару затяжек и сигарету потушила.

Я слушал её рассказ с меньшим интересом, чем истории нашего дворника. Во всем этом немало было для меня удивительного. У нас царили вольные нравы, встречались и строили жизнь кто с кем хотел, родителей не спрашивали, да родители – бывало и такое – не знали, где и с кем живет их чадо. А в праве родителей Инны распорядиться судьбой дочери виделось мне средневековое какое-то. То же и Иннокентий. Несмотря на его бороду, скрывающую возраст, – если они с Инной ровесники, значит, не юный уже, но довольно ещё молодой, – никому в голову не приходило, что он похож на попа или дьячка или кем он там должен был стать после обучения в семинарии.

– Ну а потом? – спросил я.

– Потом он снова исчез. Я опять его разыскивала. Долго пришлось искать, но вот – нашла.

– А теперь?

– Даже не знаю. Иннокентий настаивает, чтобы я обратно вернулась, а мне лучше умереть, чем вернуться.

– Почему настаивает?

– Говорит, что жизнь мою ломать не хочет, да я не верю. Он меня любит. По-прежнему любит.

– Тогда какие проблемы? Ты его любишь, он – тебя, ну и чего раздумывать?

– Проблемы-то есть...

По словам Инны, Игорь, её муж, в действительности оказался негодяем редким. Несмотря на то, что сам изменял жене направо и налево, делить её с другим не хотел. Это понять можно, но в средствах он был неразборчив и способен на всё. Инна боялась и за себя, и за Иннокентия.

– Ты просто не знаешь. Он всё может. Убить или каких-нибудь подонков натравить. Да только не в этом дело. Иннокентий его не боится – не такой человек. Простить он мне не может, вот что.

– А ты?

– Ну что я? Дура была, теперь поумнела, да никто не верит. Жить хочется, Гена, а не доказывать кому-то всю жизнь, что могу быть человеком.

Игоря я увидел через несколько дней, когда он приехал забрать своё. За Инной приехал. Я сразу понял, что это он. Коренастый, невысокий, с размытыми чертами



Мир на ладони

лица. Если бы не рот, лицо его вообще было бы белым пятном. Рот был большой, красный и жадный. А дашь ведь такому в зубы – крови будет и крика! Родительский сынок, которому с детства всё на блюдечке и который к этому привык. У которого взгляд всегда мимо тебя. Очень грубый. Мы таких не любили.

Мы, конечно, тоже не отличались деликатностью, но наши дикость и грубость шли от безнадежности. Мы знали, что это плохо, что можно *иначе*, даже представляли, как (лучше, красивее, благороднее), но не могли, не умели, не привыкли. У таких же, как Игорь, это выплёскивалось от избытка самоуверенности. *Иначе* можно было не нам, не таким, как мы, – так мы все думали. *Иначе* можно было им, но они не хотели. Им казалось, что *иначе* будет не ясно, что им всё позволено. Мы были грубияны. Они – хамы.

Игорь разговаривал с Инной. Вообще-то он не разговаривал – он орал. Широко расставив ноги, не вынимая рук из карманов, он при каждом слове подавался вперед всем корпусом. Инна молчала и зло смотрела на него. Игоря это, по-видимому, распалило всё больше, так что он стал ещё и выпячивать голову в такт сказанному.

Мы издали наблюдали за этой картиной. Кирилл сплюнул.

– По-моему, хмырь хамит.

– Подожди. Пусть сами разберутся.

А дело меж тем принимало нешуточный оборот. Игорь орал всё громче, Инна что-то негромко ему ответила, он прямо взревел, вынул наконец руки из карманов и стал толкаться. «Чье это всё, я спрашиваю, чьё, и что ты без меня?» – «Забирай, сволочь, мне от тебя ничего не надо». – «Ещё приползёшь, сука блудящая». – «Ни за что!» Вот так примерно это было. Инна сорвала с себя серьги, кольца, всё, что было, бросила под ноги, Игорь грубо схватил её за плечи, сильно встряхнул и замахнулся кулачищем. Мы, конечно, видели и не такое, но это была Инна, и чтобы её вот так – нам казалось, что нет зрелища более омерзительного. Не вмешиваться больше было нельзя.

– Шел бы ты отсюда, парень, – Кирилл был настроен мирно, но решительно.

– А вы кто такие?

– Мы-то? Местные. А вот ты здесь явно лишний. Видишь, девушка тебя не хочет. Ну и проваливай подобру-поздорову.

– Не понял. – Игорь ещё был в запале, он не понимал, что мы все, стоявшие кругом, настроены серьёзно. – Это ты мне? – Он снова выпятил голову и ткнул себя пальцем в грудь.

– Зря ты так, – не повышая голоса, произнёс Кирилл. – Мы ведь не приказываем. Мы просим. Пока.

Нет, Игорь не понимал. Иначе бы не полез драться и не получил от Кириухи в зубы. Это быстро сбило с него спесь, он отступил, насколько можно сохраняя лицо, и уже с безопасного расстояния, видя, что никто не собирается его преследовать, стал орать, что всем ещё покажет, что он и сейчас бы это сделал, если бы по-честному, а не всей толпой на одного. Хотя никто его пальцем не тронул, кроме Кириухи, мы просто стояли рядом, выражая молчаливое одобрение происходящему.

Инна поблагодарила нас, однако всем было неловко. Игорь словно напомнил, насколько в разных мирах мы живём, и лучше бы этим мирам не пересекаться, а уж если это случилось – коснуться друг друга и в стороны, чтобы не успеть враспи. Инна, кажется, начала враспиды, и приходилось ей нелегко. Она пришла к Иннокентию, но получилось так, что постепенно она становилась ближе нам, а уж потом ему. Так или иначе, Инну мы уступить не собирались.

Жаль, что именно в этот момент поблизости не оказалось самого Иннокентия. Мы полагали, что ему достаточно посмотреть на Игоря, и тот ретируется быстрее, чем сейчас. У Иннокентия всё выходило красиво. Однако Иннокентий делал погоду в нашем дворе, а вот с собственной жизнью у него, оказывается, было сложно.

Этой ночью уснуть мне не пришлось. Сначала разругались отец с матерью. До крупной драки, правда, не дошло, но пошумели-таки. Мать бегала потом из прихожей в ванную, причитая, плескала водой, садилась тихо плакать в кухне, но не выдерживала и опять принималась бегать туда и обратно, призывая нас с сестрой проснуться и посочувствовать. Я не внимал. Сочувствие к ней постепенно и давно уже превратилось у меня в чувство какой-то брезгливости, как это часто бывает, когда постоянно кого-нибудь жалеешь.

Когда она наконец уgomонилась, сон у меня пропал. Подняв голову, я прислушался, потом вышел из комнаты – захотелось пить.

– Ген, – послышался из полутьмы плачущий голос матери. – Поддай полотенце. Смотри, как он, сволочь, лицо мне расписал, а мне завтра на люди идти. Чтoб ты подох! – выкрикнула она с ненавистью. Отец откликнулся невнятной руганью, уже засыпая.

У матери было две работы. Одна «культурная» – вахтёром в общежитии, за которую она переживала, что идти «на люди». Другая обыкновенная – судомойкой в заводской столовой.

Я молча намочил полотенце холодной водой и подал ей.

Потом лег в постель, но не спал, лежал в темноте и думал. Вот родит сестра, перестанет болеть. Эх! А если и родит, то от кого? Не дай Бог попадётся такой же пропойца, как папочка. Господи, не допусти этого, ну пожалуйста! Она ведь радости в жизни и не видела совсем, что ж ей, и потом мучиться? О своей собственной жизни думалось вяло и неопределённо.

За окном залаял Иннокеша. Вообще-то такое бывало: любопытный пёсик любил ночную жизнь. Его лай среди других посторонних звуков был помехой не большей,

чем остальные. Но мне всё равно стало тревожно. Иннокеша опять подал голос, и в этот раз прямо-таки залился лаем, который оборвался пронзительным визгом. Я выглянул наружу. Внизу шевелились тени: у Иннокентия-большого были гости.

Я оглянулся на сестру. Дыхания её не было слышно, так что трудно было понять, спит она или просто лежит. Но спала она всегда беззвучно. Поколебавшись секунду, я открыл окно и спрыгнул на крышу. Ломая ногти, вынул кирпичи из-под окна и достал пистолет. Я понятия не имел, зачем это делаю. Никогда в жизни не стрелял из настоящего оружия, только примерно знал, как надо целиться и куда нажимать. Но так казалось надёжнее.

Прежде чем спрыгнуть, я посмотрел вниз. Тени шевелились уже в стороне, и в одной из них я узнал нашего дворника. Это была немая и стремительная сцена. Дрался он красиво. Я такого даже в кино не видел. Не дрался, а танцевал. И где это он так научился? Как он их раскидывал! Как метлой махал. Но их, сволочей, было четверо. При этом никто почему-то не издавал ни звука. И Инны не слышно...

Инна! Не медля ни секунды больше, я прыгнул вниз и устремился в дворничью. Инна была там. Но кричать она не могла, потому что её душил потный, растрёпанный и исцарапанный Игорь. Сначала я подумал, что он её уже убил. Считанные мгновения понадобились мне, чтобы прыжком очутиться возле этого негодяя и изо всех сил треснуть его рукояткой ствола по затылку. Выстрелить мне даже в голову не пришло. Только мелькнула мысль, а заряжен ли пистолет вообще? Игорь так и повалился лицом вниз. Потом говорили, что удар был профессиональным: короткий, точный и сильный. Такой, что старался бы – не получилось.

Инна поднялась, задыхаясь и кашляя. В ужасе уставилась на Игоря, потом на меня.

– Ты его уб... – дыхание у неё опять перехватило.

Я так и стоял, сжимая ствол в руке. И тут появился Иннокентий. Даже если бы не сияла ссадина на правой скуле, его бесстрастный вид никого не обманул бы: от него так и веяло яростью и победой. Он огляделся и потерял костяшки обеих рук. Подошел к Игорю, положил ладонь на шею: сказал – жив. Они обменялись взглядами с Инной. Она коротко кивнула и стала собираться. Запихнула в студенческую сумку свитер, пару книг и свой ноутбук. Под ногами, чужая неладное, покусывал Иннокеша, которому, видно, тоже крепко досталось.

Иннокентий подошел ко мне. Поднял мою руку вместе с пистолетом. Пальцев я не разжимал.

– Эту штуку забрось подальше. Или верни, откуда взял.

Я судорожно сглотнул.

– А вы?

– А нам всё равно здесь больше не жить.

Инна стояла, вполне готовая. Сам Иннокентий взял только куртку. Погладил притихшего щенка, поднял его за загривок.

– Возьми-ка ты Иннокентия, – сказал он мне. – Ему с нами не по пути теперь. Пусть живёт спокойно. Щен ласковый и послушный. Не пожалеешь.

Я протянул руки, принимая щенка. Обнаружил, что злосчастный ствол всё ещё у меня в руке, поспешно сунул за пояс. Инна порывисто обняла меня.

– Прощай, Гена. Будь счастлив.

– И вам счастливо. Может, ещё свидимся.

– Вот это вред ли, – откликнулся Иннокентий. – Уходим, а то эта банда скоро

оклемается, – поторопил он Инну. – Ну, будь здоров, братец. Хороших вам лет и зим. Будьте счастливы, насколько сможете...

Слава Богу, Иннокеша молчал, когда я тем же путем вместе с ним пробрался домой. Но сестра всё равно не спала.

– Гена, – окликнула она меня, – что там?

– Где?

– А где ты был?

– Гулял. Подарок вот тебе принёс. – И я протянул ей повизгивающего Иннокешу.

– Какой тёплый, – выдохнула она. – Ты прямо за ним ходил?

– Угу, – неопределённо откликнулся я.

– Гена, – опять позвала она.

– Что ещё?

– Я никому не скажу.

Сестрёнка моя умна была не по годам. Но молчать она будет – в этом я не сомневался.

Больше никто никогда не слышал об Иннокентии и Инне. Я часто думал о них, и всегда они виделись мне двумя маленькими человечками на огромной безучастной земле. В моих видениях их окружали фантастические горы, мертво-фиолетовые и неподвижные. Иногда их окружала пустыня, снежная или песчаная, но тоже необитаемая. И всё же казалось, что если земля взбунтуется, то уцелеют именно они двое.

Иннокеша стал жить с нами. Сестрёнка приучила его спать с собой, и он не возражал. Теперь рядом с ней всегда находилось радостное и любящее создание. Они почти не расставались. Случайно или благодаря щенку, но приступы у неё прекратились сами собой.

Игорь остался жив. Все его показания были направлены против Иннокентия – а о чем он ещё мог подумать? Совесть меня поглаживала, но не сильно: дворник всё равно был в бегах.

Кирилл, как и обещал, забрал ствол на следующее утро после всех этих событий. Невозможный его братец, засунув пистолет за пазуху, не вдаваясь в подробности, объявил, что уезжает навсегда, чтобы его не искали, что, может, и придётся свидеться когда-нибудь – чего не бывает на огромной Земле! – а так – до Страшного Суда. Хохотнул на прощание и исчез.

Кирилл что-то думал про меня, хотя я, разумеется, не посвящал его в то, что произошло у Иннокентия в ту ночь. Он не спрашивал. Он вообще стал другим. Молчал, часто задумывался о своём, почти не сквернословил. Кинул всех своих подружек.

– Как ты думаешь, Ген, – спросил он меня однажды, – чтобы по-настоящему, не как эти все... – он с отвращением махнул рукой по направлению к окнам, – чтобы девчонка за тобой и в огонь и в воду, нужно такую девчонку найти или самому такое заслужить?

– Не знаю, Кирилл. Наверное, и то и другое.

– Не знаешь. Эх, ничего-то мы не знаем... – Не попрощавшись, он пошёл прочь.

Вместо Иннокентия пришел новый дворник, бродяга и бездельник, которому не было дела ни до порядка на вверенной ему территории, ни до смены дня и ночи, разницы между которыми он, впрочем, порой не замечал по причине



своего беспробудного пьянства. Дворницкая стала местом обычным и нисколько не привлекательным.

Боги устали страдать за людей, которые оставались язычниками, обращавшимися к ним только чтобы выпросить капельку благополучия во всей своей нескладной жизни.

И вместо весны наступила осень...

## ДРУГОЙ СЫН

Рая работала в детской больнице, в отделении патологии новорождённых. В её обязанности входило готовить смесь для младенцев, находящихся на искусственном вскармливании. Здесь таких было большинство. У некоторых мамочек молока не хватало, у иных вовсе не было. Кроме того, здесь жили свои первые дни брошенные дети. Этих Рая особенно жалела. В положенные часы она стерилизовала стеклянные бутылочки, разводила в воде белый сладковатый порошок, который, если верить надписи на упаковке, был питательным, гипоаллергенным и заменял грудное молоко по всем параметрам. За исключением одного – материнской близости.

Кроме этого приходилось делать почти всё, что не требовало специальной медицинской подготовки: кормить малышей из пузырёчка, и купать, и пеленать. Разумеется, это касалось тех, кто лежал здесь без матерей.

Раньше Рая работала библиотекарем. Работа была нетрудной, но утомительной и однообразной. Собственно, когда Рая училась, она по-иному представляла себе свою будущую профессию. Она любила книги и любила уединение. В библиотеке всё это вроде было, но оказалось столько сопутствующих и неблагодарных дел, что скоро Рая почувствовала себя неуютно. Каталоги, книжные выставки, ежеквартальные отчёты... Ей казалось, что по большому счёту всё, что она делает, никому не нужно. Ей вообще стало казаться, что в мире огромное количество никому не нужных профессий и, оказывается, ничуть не меньше бесполезных книг. А когда в автобусе Рая попыталась расположить названия остановок в алфавитном порядке, она поняла: надо уходить. И ушла. Никому толком ничего не объяснив.

Рае казалось, что она живет в бумажном доме и что дом этот скоро рассыплется, но ей даже хотелось, чтобы он рассыпался, она даже ждала этого. Учеба, работа, выполнение каких-то ежедневных мелких обязанностей, самому человеку, как правило, не нужных, вроде приобретения билета на проезд в осточертевшем автобусе или дежурства на лестничной площадке, создают иллюзию того, что ты кому-то необходим и чем-то занят. Но проходит время, а нет ни сына, ни дерева, ни мало-мальски сносного жилища. Сидя в четырёх стенах, Рая размышляла о том, как фантастически одинок человек, как он феноменально одинок, как он одинок бесконечно и безнадежно. Так продолжалось довольно долго.

Вот тогда Рая и стала жить в бумажном доме. Сначала дом был пустым. Потом в нем поселились голоса.

Работа на молочной кухне – это было что-то совсем далёкое от её прежней жизни. Здесь не было ни книг, ни уединения, но Рае почему-то нравилось. В конце концов, для чтения у неё оставались дни между сменами.

Со стороны окружающих это всё выглядело по меньшей мере странно. Для того чтобы готовить смесь и кормить грудничков, не требовалось высшего обра-

зования. Но теперь её это не заботило. Она приходила в свою смену, заглядывала в боксы, потом шла на молочную кухню и бралась за бутылочки. Конечно, она знала, что никто из этих малышей и их мам не вспомнит тихую и незаметную Раю, так же как и посетители библиотеки, которые вряд ли даже заметили её отсутствие. Но там были книги, а здесь – дети.

\* \* \*

– А вот здесь у нас материнская комната. Туалет, душ направо, пользуйтесь аккуратно, буфетная напротив. Вот ваша кровать. Постельное бельё своё, нет? Сейчас принесу. Располагайтесь.

Бодрая санитарочка проводила Иру, помогла ей донести до места тяжелые пакеты. Ира оглядела комнату. Теперь она будет жить здесь. В материнской уже сидела молодая мамаша. Она дружелюбно улыбнулась Ире. Увидев её заплаканные глаза, понимающе кивнула:

– Все плачут, кто приезжает. Потом успокаиваются. Ничего – недельку-другую полежите, подлечитесь – и домой.

Ира усмехнулась. Ах, если бы!

Все дни теперь были похожи один на другой. По утрам Иру будил крик дежурной медсестры из коридора: «Мамочки, подъем!» Надо было кормить малышей. Бутылочка со смесью для её мальчика уже стояла на столике. В который раз Ира относила её на детскую кухню почти нетронутой. Потом садилась и ждала. Иногда вполголоса напевала колыбельную или рассказывала сказки и стихи – все, что помнила наизусть, твердила их как заклинания. Вечером позже всех возвращалась к себе. Падала ничком, не засыпала – проваливалась. Для неё не было разницы между сном и явью. Ей мучительно хотелось проснуться. «В той норе, во тьме печальной гроб качается хрустальный...» Внутри хрустального гроба белело личико её ребенка. В неверном свете оно расплывалось, и порой Ира видела перед собой лицо взрослого, даже старого человека, только очень маленького. Она иногда доставала его – покормить. И клала обратно.

А в материнской соседки Иры обсуждали диагнозы своих ребятисшек.

– Ну какой же порок сердца у моей Санечки! – восклицала Света, женщина уже немолодая. Дочка Санечка была её поздним ребенком. Из рассказа Светы Ира знала, что у неё есть тринадцатилетний сын Максим, был и второй сын, но умер. – Ест хорошо, живенькая, розовая. А между прочим, если сердце не в порядке, ребенок синееет и задыхается.

– Да всё будет хорошо с твоим ребенком, – вяло отвечала ей другая соседка, Люда, девушка деревенская, молодая и крепкая. Разговор этот на тему здоровья и болезни ребятисшек был не первым, поэтому былая острота эмоций была потеряна и реплики звучали по привычке.

– Врач говорит – тремор, – продолжала Света, с приобретённой в больнице лёгкостью вставляя в речь медицинский термин. – Тремор, говорит, ещё присутствует. А я что-то ничего особенного не вижу. Ну, губка подрагивает иногда, совсем чуть-чуть, даже не заметно.

Люда лениво потянулась к тумбочке, к пакету с домашней снедью, взяла пухлый пирожок и принялась жевать.

– Со мной в роддоме, – с набитым ртом начала она, – лежала девчонка, малолетка совсем. Рожала она трудно, но всё ж родила. Вот у её мальчика такой тремор был – он даже грудь взять не мог. Его вот так трясло. – Она показала, как. – Так что здорова твоя Саша, не сомневайся.

Сама Люда уже готовилась к выписке. Её мальчик лежал в отделении положенные три дня после пустячной процедуры удаления гематомы.

Ещё совсем недавно Света навзрыд плакала, рассказывая о том, что потеряла одного ребенка, подросткового уже, причитала, что это ей крест на всю жизнь. Люда тоже рыдала, поскольку была уверена, что для удаления кровоподтека на голове ребенку необходима трепанация черепа. «Это даже не операция, – успокаивали плачущую Люду медсёстры. – Введут шприц, откачают лишнее, и всё. Да таких проколов у нас в патологии по пять раз на дню делают». Сейчас всё уже было позади, и Люда с нетерпением считала дни до отбытия домой.

Ира прошла на свою койку и легла, отвернувшись к стене. Помолчав, соседки продолжили разговор, но уже вполголоса.

– Спит?

– Вроде бы.

– Споко-о-ойная! Она, может, не знает, что такое лейкоз?

– Да знает, конечно. Просто, наверное, уже выплакалась.

– Бедная. И малыш её бедный.

Ира молчала, закрыв глаза и стиснув зубы. Они продолжали шёпотом жалеть её и её малыша, выплескивали своё облегчение – что всё бывает страшнее и безнадеее, чем у них.

Между мамочками принято было убеждать друг друга в том, что их дети абсолютно здоровы. Описывали друг другу симптомы и состояние ребёнка, рассказывали такие же случаи из жизни, когда ребёнок с таким же диагнозом остался жив и здоров и даже занимается спортом (отлично учится, водит машину, ходит в музыкальную школу, собирается замуж и так далее, в зависимости от пола и возраста). Уверяя себя и других в том, что с их ребёнком всё в общем-то в порядке, за исключением досадной мелочи, но это ведь сущие пустяки, они искали утешения извне, но всё равно в глазах жила тревога. Они знали, что абсолютно здоровых детей выписывают из роддома домой, а не в больницу.

С Ирой не разговаривали. Не о чём было беседовать. Здесь говорили о детях и их здоровье, а как утешать и поддерживать Иру, никто не представлял. На неё избегали смотреть, при ней не говорили о своих малышах – боялись взгляда, каким смотрят матери больных детей на здоровых ребятешек. Но Ира ни на кого не смотрела. Ей просто не было дела ни до кого в мире. Её вселенная вертелась вокруг тусклой и холодной лампочки, днём и ночью горевшей над постелькой её малыша.

\* \* \*

Сейчас в Раином боксе спали четверо: цыганёнок Вася, два мальчика, один из которых с синдромом Дауна, и девочка Юля. Юля была самой взрослой из всех – ей было два месяца, она уже хорошо держала головку и начинала улыбаться. Два месяца назад и подбросили эту малышку к дверям больницы. Она была завернута в тонкое одеяльце и беспрерывно плакала. При осмотре оказалось, что девочка совершенно здорова. Только никому не нужна. Красивый и подвижный ребёнок, Юля скоро стала любимицей всего персонала. Имя ей тоже дали в больнице. Пока жаловаться ей ни на что не приходилось. Ею любовались, её ласкали; окруженная вниманием и заботой, она ещё не понимала той неизвестности, что ждала её впереди. Беззаботного детства ей было отпущено очень мало. Рая, правда, надеялась, что такую здоровенькую и умненькую малышку при первой же возможности удочерят.

Даунёнку в этом смысле надеяться было не на что. Большеголовый и раскосый, он не оставлял в этом никаких сомнений. Рая даже не знала, как его зовут, да и все звали его просто даунёнком, хотя по документам он как-то там проходил под нормальным именем.

Цыганёнок Вася, собственно, брошенным не считался. Просто его мама, юная цыганка Зара, едва родив чадо и оправившись, умчалась вперед за цыганской звездой кочевой. Звезду звали Николаем, был он, само собой, цыганом и отцом ребёнка. Догоняя табор, молодая мамаша поручила сына добрым докторам, здраво рассудив, что в жестокие январские морозы путешествовать с младенцем будет трудно. Путешествие родителей, правда, затянулось почти до весны, но Васю всё равно должны были забрать – цыгане своих отпрысков не бросают. Вася был кудряв, смугл, громогласен и прожорлив, унаследовав, как видно, все достоинства своего кочевоего племени. За раз съедал больше положенных новорождённому сорока граммов, орал, требуя ещё, а если не давали, сосал палец.

Ещё оставался тихий мальчик Саша, бледненький и болезненный. Он даже плакал потихоньку – может, оттого, что не было сил. Истории его Рая не знала.

Её ребята успели проголодаться. Юля призывно и весело вскрикивала, даунёнок гудел, Вася сосал палец, который уже успел побелеть. Саша не подавал признаков жизни, и когда Рая подошла с бутылочкой к его кровати, без интереса посмотрел на неё. Рая улыбнулась ему. Последнее время её внимание со всеобщей любимицы Юли переключилось на Сашу – она жалела мальчика, которого, скорее всего, тоже никто не возьмет.

Она как раз кормила Сашу, когда почувствовала спиной чье-то присутствие.

– Извините.

На пороге стояла одна из здешних матерей. В соседнем боксе под капельницей и стеклянным колпаком лежал её сын. Эту молодую женщину Рая запомнила. Она часами сидела возле своего ребенка, выражение лица у неё не менялось – рассеянное и безжизненное. Словно жизнь, уходившая из её малыша, улетучивалась и из неё тоже. Рая думала, что так оно и было.

– Извините, – повторила женщина. – Про нас, наверное, забыли. Сейчас ведь время кормить, а бутылочки нет. Нам пока ещё нужно...

Она говорила с каким-то затаённым вызовом. Рае стало жарко. Как же так – она же помнила, что ставила пузырёк со смесью на столик возле мальчика. Наверное, мамочка по привычке отнесла нетронутую еду на молочную кухню и забыла. Спорить Рая не стала, протянула Юлину бутылочку, всё равно сейчас сбегает и принесет девочке ещё.

Женщина не уходила.

– Сиротки? – спросила она, кивнув на кровати, в которых копошились Раины подопечные.

– Нет. Отказники.

– Да что вы говорите! Все?

Рая пожала плечами.

– Надо же – в нормальных семьях рождаются больные дети, а кто-то отказывается от здоровых.

– Они в отделении патологии, значит, не такие уж они здоровые, – возразила Рая.

– По сравнению с моим мальчиком они здоровы!

– Не кричите так. Детей напугаете.

Женщина хотела ещё что-то сказать, но передумала. Она резко повернулась и вышла.

Рая ей, конечно, сочувствовала. Её малыш не выдержал бы лечения, которое ему полагалось, так что вопрос о его жизни и смерти решался однозначно и скорее считался вопросом времени. Рая повидала многих мам – и озлобленных в том числе. О да, она понимала её. Но своих грудничков давать в обиду не собиралась.

– Незачем здесь кричать. Правда, мой маленький? – обратилась она к Саше. Тот, конечно, не ответил.

В следующее Раино дежурство странная мамочка пришла опять. Бесшумно вошла и села в уголке. Рая молча взглянула на неё, и та сама начала разговор.

– Вон там, – она ткнула пальцем в стену, – уже который день лежит мой ребенок. Я его сильно ждала и заранее любила. Он у меня один, больше никого нет, понимаете? А он родился, чтобы умереть. Это справедливо?

– А разве вообще справедливо, что болеют и умирают дети?

Собеседница усмехнулась.

– Можно, я закурю? – спросила она.

– Послушайте – вас, кажется, зовут Ира? Так вот, Ира, вы прекрасно знаете, что в отделении запрещено курить. И не надо обвинять в своём несчастье весь мир. Тем более других детей.

Ира открыла было рот, но тут голодным басом закричал Вася, и она замолчала. Глаза у неё опухли от бессонницы. «Наверное, она вообще почти не спит», – подумала Рая.

– Можно, я посижу здесь? – тихо спросила Ира. – Там от меня всё равно никакого толку.

– Пожалуйста.

– Вы не обращайтесь на меня внимания. Я посмотрю.

– Что, простите? – переспросила Рая, не расслышав.

– Посмотрю, говорю. Как вы пеленаете, купаете, кормите. Может, всё-таки пригодится.

Рая уже готова была сказать – конечно, пригодится обязательно, даже не сомневайтесь. Но мысленно оборвала себя. Врать не хотелось.

– Что, не верите? Не верите, что мой ребенок выживет?

Рая внимательно посмотрела на неё. Она сходит с ума, подумала она про Иру, и, как все сумасшедшие, почти читает мысли.

– Ира, – медленно заговорила Рая. – Разве что чудо...

Она не договорила и зажмурилась. «Что я говорю? Разве это можно говорить?»

– Ну что ж, спасибо, – вздохнула Ира. – Правда, спасибо.

– Да за что же?

– За то, что не врете, как все вокруг. И не отворачиваетесь, когда говорите. От меня же все шарахаются, будто не у сына моего лейкоз, а у меня – чума.

\* \* \*

Ночью Ира горячо молилась.

Ей вдруг вспомнились утки, стайка уток, всегда прилетавших на их городскую речушку. В один год неподалёку от берега построили автомастерскую, которая стала сливать в воду какую-то дрянь, отчего все вокруг было покрыто чем-то липким и чёрным. Прилетевшие утки застали речку неузнаваемой. Они шли пешком по берегу, молча, ступали лапками, перепачканными в мазуте, и такое было в этом

шествии – это и покорностью не назовёшь – безоговорочное принятие своей судьбы, какова бы она ни была!.. И это казалось красноречивее всякого упрека.

«А дети-то, – думала Ира, – новорождённые дети тоже страдают, если уж им приходится страдать с первых дней жизни, и принимают как должное свои страдания, хоть и плачут от боли. Они просто не знают, что бывает по-другому. Это потом они научатся мечтать о лучшей жизни. Впрочем, тогда они будут страдать ещё сильнее. Что же это за мир такой, в котором вся боль достаётся самым невинным и самым беззащитным – детям и животным? Может, этот мир и мудро устроен, но страдающие дети в нём точно ни к чему». Это уже не молитва была, Ира понимала. Только вот смириться и утешиться тем, что кому-то, дескать, виднее, казалось ей ещё хуже.

\* \* \*

Где-то за бумажной стеной плакал Саша, совсем близко. Рая заметалась, ища выход. Ни окон, ни дверей в этом проклятом доме не было. Идти напролом бесполезно – Рая знала. Однажды она пробовала, ломала стены. Они легко поддавались, но впереди была ещё одна стена, ещё и ещё...

Утро Рая любила. Дети ещё спали, полусонные мамы разбредались по комнатам, возвращаясь с первого раннего кормления. Рая не спеша стала переодеваться, машинально отметив, что в прошлый раз свирепствовал ветер и детишки беспокоились и кричали. Сегодня повисла тишина.

– Юлю удочерили, ты знаешь? – встретила Раю напарница.

– Так быстро? – удивилась Рая.

Напарница рассказала, что Юлю забрали в хорошую семью, что у неё теперь мама, папа и старший брат и что называли её теперь по-другому.

– А чем «Юля» не понравилось?

– Хозяин – барин.

– Так хозяйева или родители?

– Рай, ты чего? Я же говорю – хорошая семья. Там её не обидят.

– Хорошо бы. Я это к тому, что ребёнка усыновить – это не котёночка завести. Котёночек тоже свой норю имеет. А о человеке и говорить нечего. Сначала им имя не понравилось, потом покажется, что личиком не вышла, потом характер не устроит. А она ведь расти будет, свою жизнь сама лепить. Пытаться, во всяком случае. А если родителям, или хозяйевам, не понравится? Что тогда? Откажутся и прогонят?

– Да с чего ты взяла, что у Юльки будет такая судьба?

– Может, и не будет. И правда, чего это я? – Рая сама удивилась своей горячности. Так ведь надеялась, что девочка попадет к хорошим людям, теперь это случилось, ну и что за сомнения? Однако возможность совсем не радужной судьбы усыновлённого ребёнка она осознавала впервые.

В этот же день забрали даунёнка, и в этот же день Рая узнала, что скоро придут за Сашей. Он отправлялся в интернат.

Этот день вообще был какой-то странный. Что-то случилось с бумажным домом. Всё оставалось по-прежнему, но вдоль трещащих стен пролетал какой-то сквозняк, и вообще дом выглядел как перед землетрясением.

Рая в задумчивости стояла перед кроваткой Саши, когда появилась Ира.

– А мальчик мой умер сегодня, – сообщила она.

Ира была бледна. Рот её медленно растягивался до ушей. Это была безумная улыбка.

– Я не дала ему имени, – сказала Ира, и её начало трясти.

На секунду Рае стало жутко. «Врача», – подумала она было. Но уже в следующее мгновение шагнула к дрожащей Ире и крепко обняла её.

– Ну что ты, мамочка, что ты, он же в раю теперь, твой сыночек, он теперь ангел. – Она говорила много и быстро, тихо и быстро, совсем по-бабьи, она даже не думала, что может так много говорить и *так* говорить. Просто в этот момент она чувствовала, что молчать нельзя. И вдруг Иру прорвало.

– Я не... успела. Как же он – без имени? Как же он – безымянный? – повторяла она сквозь рыдания.

Раньше такое тоже бывало. За бумажными стенами на разные голоса плакали дети, а Рая не успевала к ним, потому что не видела выхода. Они же умрут от голода, ужасалась она, и чем громче и надрывнее они кричали, тем безнадежнее были её попытки найти дорогу.

– Что же мне теперь делать? – спросила Ира, выплакавшись.

– Возьми себе Сашу.

– Ты думаешь, он заменит мне сына?

– Ты не поняла. Не взамен, а просто возьми Сашу. Если ты будешь пытаться заменить им своего малыша, ты возненавидишь этого ребенка. Это не тот. Это другой твой сын.

Сначала Рая не поверила. Бумажного дома не было. Не землетрясение – ураган, догадалась она. Действительно, остатки бумажного лабиринта ещё валялись кое-где серыми лоскутами, но небо очистилось, сияло солнце, а ветер... Ветер был весёлым и ужасающе сильным, но Рая уже ничего не боялась. Главное, за стенами больше не будут плакать дети.

\* \* \*

Ира уходила из больницы в начале апреля. Она бережно несла свёрток, в глубине которого тихо посапывал бледненький болезненный мальчик. «Ничего, маленький, – мысленно обращалась к нему Ира, – ты окрепнешь, вырастешь большим и сильным и будешь похож... Впрочем, какая разница. Ты мой теперь, а мне всё равно, на кого ты будешь похож».

Ира еще не успела полюбить этого ребенка. Она и на руки-то взяла его первый раз за все время. Сразу же после смерти сына она занялась документами по усыновлению. Всё оказалось непросто, зато ей некогда было горевать. «Наверное, я всё делаю правильно», – думала она.

На улице ярко светило солнце и мощными потоками сбегали вниз, в землю, последние ручьи. Для Иры весна в этом году осталась за окном, а она ведь была уверена, что это будет самая счастливая в её жизни весна. Впрочем, апрель только начинался. Ира в последний раз оглянулась на окна больницы. Она хотела, чтобы кто-нибудь помахал им рукой, но окна тоже ослепли от солнца. Ира поправила кружево на конверте, чтобы солнце не разбудило Сашу, вдохнула полной грудью и пошла дальше, уже не оглядываясь.

## СЕСТРА

Бабушку хоронили вчера.

А потом Вадим нашел... В стопке бабушкиных документов, аккуратно, по-старушечьи перевязанных тесёмкой и завёрнутых в головной платок, Вадим обнару-

жил подробную медицинскую и психофизическую характеристику 10-месячного мальчика Вадима, заверенную печатью областного Дома малютки города такого-то, и заключение суда по усыновлению этого самого мальчика Вадима супружеской четой – здесь стояли имена мамы и отца.

Выходило так, что он, Боров Вадим Витальевич, вовсе не Боров, и не Витальевич, и вообще не сын своих родителей. Не внук любимой бабушки. И Анна ему вовсе не сестра.

Вчера сразу после похорон Анна подошла к нему.

– Я уезжаю, Вадим.

– Куда?

– На Дальний Восток. Может быть, мы больше не увидимся.

Он помолчал.

– Ты с Николаем?

Аня кивнула. Николай, муж её, был военным, и, как водится, жили они нынче здесь, завтра там, не прикипая к одному месту. Значит, уезжают. Аня, конечно, будет тосковать – она-то как раз человек привязчивый... А Николая здесь никогда ничто не держало, тем более родственники.

– Ну что ж, счастливый путь, – сказал Вадим.

Николай сухо кивнул, помедлив, протянул руку. Он недолюбливал Вадима. Правду сказать, и было за что. Вадим и сам понимал, что человека с более скверным характером, чем у него, найти трудно. Ещё Вадим подозревал, что Николай не одобряет и Аниного общения с братом. Вадим бы на его месте не одобрил.

Сейчас Вадим сидел в своей полупустой комнате, не зажигая света, и раздумывал обо всем, что случилось. Можно сказать, что для него невольное открытие тайны усыновления стало потрясением. Да, это его здорово потрянуло. Он даже не пытался себя уговаривать, взывать к рассудку. Просто сидел, закрыв глаза руками, и смотрел, как в памяти всплывают картины его детства и юности, которые сейчас преисполнились новым содержанием и смыслом.

Аньку он с детства считал вредной девчонкой, ябедой. Назойливая, как и все младшие, она непременно всегда хотела быть с братом. Разница в возрасте у них была слишком большой, чтобы иметь общие интересы, и слишком маленькой, чтобы Вадим мог быть снисходительным к младшей сестре. Родители часто просили Вадима поиграть с Анечкой, и он, воспринимая просьбу в общем-то как обязанность, и не думая даже, что можно отказаться, брал сестру на свое попечение, но что это были за игры...

Почти всегда он доводил её до слез, делая всё наперекор. Сестра любила животных – Вадим на её глазах бросал камнями в собак и кошек. Конечно, не попадал, поскольку сам был жалостлив. Аня во многом подражала ему – он беспощадно её высмеивал. А кукла...

Куклу эту – большого и нелепого голыша из пластмассы, одетого мальчиком, – Вадим не любил, и нелюбовь его усугублялась привязанностью к ней сестры. Ему этот голыш казался похожим на соседского мальчишку – сопливого и нахального, со вздернутым носом и покатым затылком. Вдобавок сестра звала «сыночка» Вадиком, и Вадима просто бесило, что такая уродина носит его имя. Он не упускал случая пнуть эту куклу, швырнуть её куда-нибудь или, если уж Вадик находился под защитой сестры, обозвать его или плюнуть. Аня заступалась, Вадим зверствовал ещё больше, всё заканчивалось слезами, дракой и смертельной обидой.



Как-то Вадим увидел плачущую Аню, несущую в объятиях своего любимца. Точнее, то, что от него осталось. Голова оторвана, руки-ноги тоже. Мама утешала её:

– Ну не плачь, Вадим сейчас его починит, только не плачь.

– Не починит! – рыдала сестра. – Не будет он его чинить! Он его не любит!

И столько безнадежности было в её рыданиях, в её по-взрослому горестных всхлипываниях – ну точно так плачут взрослые женщины, матери над умершим или больным ребёнком, – что Вадим, устыдившись, сбежал в дальний угол бабушкиного сада и долго, украдкой, стыдясь самого себя, как все мальчишки, плакал там над бедной куклой, над сестрой, над общим нашим человечим сиротством. Куклу он починил...

Вадим встал, потрянул головой. Надо же, как это бывает. Интересно, если бы он узнал об этом раньше...

Мама с папой были хорошими. Замечательные были мама с папой. Вадим всегда принимал это как должное и не более. А сейчас думал, что они были роднее родных. Отец один-единственный раз поднял руку на сына. Вадим долго не мог ему простить этого, хотя отлупить его тогда и в самом деле стоило.

Случилось всё из-за соседки Альбины Ивановны. Жили они тогда в двух объединённых комнатах общежития. Вадим сам открыл дверь, в которую соседка немедленно ввалилась.

– Привет, хулиган, – дернула его за ухо. – Ну-ка, прими пальто.

Сбросила на Вадима свое пальто. Вадим рук не протянул, и тяжелая одежда рухнула на пол.

– Эх, растяпа! – весело крикнула она.

Вадим немедленно набылчился. Он с детства не любил таких вот бодреньких тётенок, которые в любом доме имели обыкновение делать вид, что они свои в доску. Такие обычно всегда говорят громкими, натужно-весёлыми голосами, а на свадьбах изо всех сил визжат пошлые частушки и пляшут в центре круга, почему-то думал он, с отвращением представляя себе их потные красные лица и объёмистые зады, колышущиеся под одеждой во время пляски. И юбки непременно в какую-нибудь пошлую складочку, и волосы барашком, – воображение разыгрывалось, подсказывая новые детали. Спohватившись, Вадим оборвал самого себя и, как всегда, разозлился. Смеяться над собой он не умел и терпимостью не отличался.

Вышедшая навстречу мама велела пальто поднять и повесить, гостью провела в комнаты.

А на Вадима будто нашло что-то. То ли большое самолюбие подростка было задето, то ли он просто не любил соседку, но Альбине нужно было навредить во что бы то ни стало. Посадить Анькиного хомячка Гошу за подкладку Альбининого пальто – воображения Вадима хватило именно на это. Его чуть было не застали за этим занятием – а он уже подкладку зашил и держал пальто в руках, намереваясь повесить обратно. Альбина умилилась его вежливости, приняв пальто из рук. Но когда почувствовала, как Гоша в панике мечется где-то уже у неё под мышкой, охнула и схватилась за сердце.

Когда разобрались, и Гошу освободили, и зашили нарушенную подкладку, и повели Альбину на общую кухню отпаивать чаем, а Вадим сидел злой в своей комнате после отцовской затрецины, сестра вошла к нему.

– Ты вот сидишь, а она там плачет, – сказала она.



Путь домой

– Альбина? Да чёрт с ней!

– Она же тебе ничего не сделала. За что ты её? И Гоша...

– Тоже плачет?

Сестра не ответила, вскинула голову и пошла прочь. Тоже мне, с досадой подумал Вадим. Он и сам уже почти раскаивался. Поэтому в тот же вечер за что-то на сестру грубо наорал. Он вообще часто орал на неё.

Ане было девять, Вадиму пятнадцать, когда погибли родители. Провалились в шахту вместе с лифтовой кабиной новостройки. Отправились осматривать полуценную квартиру, хотели было взять с собой и детей, но не взяли...

Об этом несчастном случае тогда писали в газетах. Даже на похоронах назойливые репортеры пытались фотографировать Вадима и напуганную Аню. Как прощались с матерью и отцом, Вадим помнил. Аню, жавшуюся к бабушке. Саму бабушку, строгую, скорбную, с сухими поджатыми губами. Ту самую Альбину Ивановну, которая, как всегда, отличалась расторопностью, хотя и с красными глазами и в чёрном платке. Остальное – смутно. Кажется, он тогда и горевал-то не очень. Может, сразу не дошло, что случилось.

А квартиру им тогда не дали. Наверное, стоило выяснить, насколько всё это было законно, да было не до того. Служебную жилплощадь в общежитии тоже попросили освободить. И началась другая жизнь – у бабушки, в её маленьком и старом домике с садом из трёх яблонь и нескольких кустов смородины. Аня с этого дня сразу притихла, перестала быть ябедой и приставалой. Да и то – кому теперь было ябедничать? Бабушке, которая никогда в жизни никого не наказывала?

Потом Анна вышла замуж, как-то совсем не торжественно. Но мужем она была довольна, семейная жизнь складывалась. В тот же год женился и сам Вадим.

Анна, сестра моя, у нас ещё не худшая судьба. Бывает, что живут врагами. А тут просто не получалось вместе по жизни. У тебя своё течение, у меня своё. У нас разные берега, но никто не в силах отнять у нас тайну общего истока. Если помнить о ней, можно чувствовать движение друг друга с разных концов света. А теперь – где он, этот исток? В каких дебрях искать его, чтобы объяснить наше невольное и причудливое родство?

С женой Вадиму не повезло. Красивая и своенравная, Жанна была единственной лелеемой дочкой обеспеченных родителей. Замуж за Вадима она пошла против их воли. Настояла на своем. Аню она, кстати, невзлюбила с первых дней, хотя непонятно было, за что. Жанна всегда хотела быть единственной, и чтоб никаких друзей и родственников. Вадим, собственно, не настаивал.

Сначала он ещё заходил к бабушке ненадолго. Аню, если не заставал, не дожидаясь. А бабушка всегда хотела, чтобы они увиделись.

– Она сестра тебе, родная кровь, – говорила она. – Ты её береги. Бывших жён много, а сестёр бывших не бывает.

– Это, бабуль, смотря какие жёны и смотря какие сёстры, – возражал Вадим.

– То-то и оно, – ворчливо отзывалась бабушка. Жанна ей не нравилась.

Потом Вадим стал заходить всё реже, потом перестал совсем. Так и пробыли они недолгую совместную жизнь втроём: он, Жанна и пес Аполлон неопределённой породы, Полик, Жаннин любимец. Вадим даже стал почти забывать в лицо Аню и бабушку.

Когда они развелись, Жанна ничего из совместно нажитого забирать не

стала. Оно, правда, и нажитого оказалось немного. Жанна обозвала Вадима ничтожеством и ушла. Даже дверью, как это принято, хлопнуть не стала. Полик ушёл с ней. Вадим жалел о нём больше всего – к пёсику он привязался.

Вадим привык считать, что ему не везёт: и в школе, и на улице, и в личной жизни. И с сестрой, которую он всегда воспринимал как помеху.

А сейчас он думал, что всё оказалось наоборот. И нет у него теперь ничего. И поделом ему, неблагодарному.

Последнее время их отношения с сестрой трудно было назвать родственным общением: Аня приходила раз в неделю, убирала, готовила – опять же на неделю – и уходила. После своей неудавшейся женитьбы Вадим так и остался жить на съёмной квартире, которую мог не покидать по целым неделям. Аня пыталась с ним о чем-то говорить. Потом перестала. Вадим почти всегда бывал угрюм. Иногда он даже не выходил из своей комнаты. Так в молчании и расставались.

Вадима большей частью злили эти её визиты. Он был несчастен, голоден и зол – она мешала ему стать ещё несчастнее, голоднее и злее. Но как бы то ни было, к её следующему приходу кастрюля с супом была пуста, а комнаты нуждались в уборке.

Основные хлопоты о похоронах бабушки взяли на себя Николай с Анной. Вадим ходил как неприкаянный. Приехали родственники, которые собирались только по таким вот печальным поводам. Вадим мельком подумал, что свадьбы – и его, и сестры – обошлись без них. Веселиться вместе было труднее, чем вместе горевать.

В какой-то момент привыкшего к одиночеству Вадима внезапно охватила такая жгучая жажда родства, желание иметь родных, родню, которая, как встарь, в случае чего шапки оземь и за своего в огонь и воду, – такая тоска накатила, что на похоронах он сам, слушая чьи-то причитания, едва не заплакал в голос. Впрочем, он был уверен, что не позднее чем завтра это желание пройдёт и ему опять никто не будет нужен.

Но теперь, когда Вадиму грозило настоящее, а не устроенное им самим одиночество, ему стало не по себе. Боясь, что Анна уже уехала, он не выдержал – снял трубку и набрал её номер.

– Алло! – откликнулся тихий голос сестры.

– Аня, это я. Я сегодня нашёл... Я узнал... Понимаешь, – он с трудом искал слова, чтобы объяснить то, что передумал и пережил за это время.

Но Анна удивила его.

– Не надо, Вадим. Я знаю. Давно знала.

Вадим даже не нашёлся, что сказать.

– От кого?

– Так. Случайно. Разве это важно?

– А разве нет?

Теперь замолчала Аня.

– Почему ты не сказала?

– Зачем? Для меня ничего не изменилось. Ты мой брат, я твоя сестра. Хотя ты, кажется, никогда этому не радовался.

«Дурак был», – подумал Вадим, но вслух не сказал. «Родная кровь...» – вспомнилось ему.

– А как же бабушка? Не могла же она не знать.

– Да она просто забыла. Как забывают и прощают долги и обиды.

Вадим опять помолчал, беззвучно подышал в трубку, не зная, что теперь сказать.

– А для меня вот всё изменилось, Аня, – наконец произнёс он.

– Это же хорошо.

– Ладно. Спокойной ночи... – На язык просилось «сестра, сестрёнка», но Вадим не привык...

– Спокойной ночи, Вадик.

Вадим ещё некоторое время слушал короткие гудки в трубке, улыбаясь неизвестно чему. Внутри всё ещё что-то ныло, но так, что было ясно: скоро пройдёт. Он лёг не раздеваясь, подумал, что обязательно пойдёт провожать Аню в дальнюю дорогу, а потом будет писать ей письма, звонить и, может быть, даже приедет в гости. Когда-нибудь.

Этой же ночью ему приснилась бабушка. Она только что переехала в новую квартиру – это было *там* – Вадим даже чувствовал запах краски и новеньких обоев. Квартира была светлая и просторная. Мебели пока не было. Бабушка стояла у распахнутого окна, в окно веяло свежестью, и Вадим живо представил себе, как она будет пить чай у этого окна, и какие повесит занавесочки, и какой заведёт чайничек. Бабушка признавала только свежесваренный крепкий чай. И ноги у неё болеть не будут, как это было при жизни.

Бабушка всегда хотела, чтобы её дети и внуки поселились у неё и жили дружно. Большого дома при жизни у неё никогда не было – всю жизнь скиталась по хибарам. И вот теперь – дождалась. Когда приедут дети, не будет тесно. Вадим понял, что это был её рай. Он никогда не задумывался, как он представляет себе *свой* рай. Может быть, он не сильно отличался бы от бабушкиного.

Бабушка улыбалась и, как всегда, ждала их в гости.

*Тамбов.*

Николай Болдырев-Северский

## Между чарой силы и чарой духа

### Ягненок, влюбленный в волка

1

...Древние почитали преимущественно богов, на них изливая своё восхищённое внимание, и лишь с уходом богов (они растаяли в тумане, равно как кентавры, драконы, нимфы и другие “чудесные” существа) началось, усиливаясь, восхищённое внимание к человеку (гуманизм). Окончательно сместился центр культуры. С одной стороны, человек невольно обожествлял себя, не мог не обожествлять, ибо изливал (не мог не изливать куда-то и на кого-то) накопленную в тысячелетиях энергию общения со священным. А с другой стороны, восхищаясь выдающимися особями как чем-то наивысшим, человечество все неуклоннее понижало свои критерии и тем самым свой потенциал. Несомненно, что планка «замечательности» и «великости» на протяжении последних веков стремительно понижается параллельно массовому росту интереса к «замечательным» людям.

С одной стороны, шансов попасть в разряд великих и замечательных людей у современного человека становится всё больше, так как в ход запущена машина голой соревновательности, сравнивается наличный материал, а не



Статья оформлена работами Павла Филонова

его соответствие идеальному (божественному или героическому) прототипу. (Я уж молчу о телевизионной и журнально-газетной машинерии созидания знаменитостей в одночасье из абсолютно заурядных особей. Сама идея «замечательности» профанируется ныне как никогда.) А с другой стороны, реальный, вполне профанный человек, зачисляемый восхищённой толпой в великие, инстинктивно воспринимается подчас как выражение божественного начала. Если некогда люди черпали идеальное, высшее из самого идеального (боги, полубоги, титаны, герои) и тем самым непрерывно подтягивались, высекая вышнюю в себе искру, струня себя высшим напряжением, то с течением

тысячелетий и особенно последних веков идеалы стали черпать из самой человеческой обыденности. Идеалом стал сам человек в своей ежедневной будничной (рационально-просчитывающей, познавательной и чувственно-животной) суетности. Идеалом становится самый активный, напористый, то есть самый машинный. Если ранее мерой всех вещей был бог или в крайнем случае герой, то теперь мера всего – сам человек, растерянный и потерянный, утративший звёздную внутреннюю нить, связывавшую его духовной пуповиной с Центром. Но если идеалы черпаются из самой реальности, то совершенно понятно, что по всем законам (и физики тоже) воплощение этих идеалов будет неуклонно понижаться, стремительно понижая фактическую человеческую наличность<sup>1</sup>.

Так что ныне весьма нередко самое обыкновенное зло, но патетически самовозвеличенное, принимает мистифицированные формы идеала. Нам недолго ходить до Сталина, сакральный статус которого в глазах миллионов был очевиден. Но вот Наполеон. Совсем, казалось бы, другая история. Певец демократии, истово ненавидевший аристократизм и безбожно льстивший плебсу. Загубивший в войнах, по некоторым подсчётам, одних только французов около двух миллионов. И однако же вписан в пантеон священных особ.

Весьма почитаемый французский писатель Леон Блуа писал в начале XX века: «Наполеон непостижим, и, безусловно, он самый загадочный человек в мире, ибо он, прежде и превыше всего, – прообраз ТОГО, кто должен прийти в мир и кто, быть может, уже

близок; Наполеон – его прообраз и предтеча среди нас...». (Перевод здесь и далее А. Курт и А. Райской.) Романтическая тоска по сверхчеловеку? Однако нам, помнящим о тех, кто же именно пришёл как прямой последователь наполеоновских антиаристократических тенденций, – например, о Гитлере и о Джугашвили, невозможно удержаться от саркастической улыбки. Однако и сегодня книга Блуа «Душа Наполеона» переиздается во всем мире с апологетическими предисловиями. В этой книге Блуа пишет: «Бог взглянул в растекающееся море крови и в зеркале этом увидел лик Наполеона. Он любит его как Свой собственный образ. Он дорожит этим неистовым воителем, как дорожил кротчайшими апостолами, исповедниками. Он нежно ласкает его своей могущественной десницей, как повелитель пугливую девственницу, отказывающуюся совлечь с себя одежды...» Или: «Наполеон – это Лик Божий во тьме...»

Весь этот бред по поводу Бога, пытающегося овладеть девственным Наполеоном, можно было бы отнести на счет индивидуального «сдвига по фазе» у поэта Блуа, путающего божий дар с яичницей, если бы ему не вторили, пусть и не в такой экстазной форме, многие иные романтизаторы *человека силы*. Николай Бердяев, назвав Блуа (в 1914 году) «рыцарем нищеты», защитником бедных и истинным христианином, весьма сочувственно комментирует тот культ Наполеона, который владел душой Блуа с детства. Происходит странный перенос истории кровавого императора-самозванца из реально-бытовой исторической плоскости в плоскость поэтическую, фантазийно-задушевную, где бедный, несчастный, закомплексованно-одиноким человек Блуа, не сумевший пробиться в герои, идентифицирует себя в своих фантазиях с Наполеоном, наделяя его душу всеми страданиями и метаниями

<sup>1</sup> Не из этой ли ситуации, собственно, и вырос сверхчеловек Ницше, как призыв к рывку вверх от среднестатистической, неуклонно самопонижающейся усреднённости, пыжащейся при этом что-то мнить о себе.

своего сердца, до которых ни одному человеку не было дела<sup>2</sup>. «Как страстный влюбленный, вкладывает Л. Блуа в предмет своей любви все, что любит, чем пленён, – одиночество, непризнание, нищету», – пишет Бердяев, добавляя: «Головокружительно прекрасно одиночество самого Л. Блуа, одиночество Наполеона, одиночество Бога. Наполеон был глубоко несчастный человек...».

И вновь: сколь парадоксально сакральная выстраивается цепочка! И какого рода несчастью сочувствует здесь «Бог»? Наполеон, как видим, становится поэтической темой, как поэтической темой был для Гоголя Акакий Акакиевич – глубоко несчастный и глубоко одинокий человек. Впрочем, как подавляющее большинство представителей человеческого рода; как слесарь Иванов, как учительница Петрова. Кто из прошедших по земле не был одинок и «глубоко несчастлив»? Однако же один писатель отождествляет себя с обреченным одиночеством Акакия Акакиевича, другой – с одиночеством внезапно прозревшего Ивана Ильича, третий – с одиночеством корсиканского офицера, разрываемого демонами тщеславия. Каждый сам выбирает направление фантазий и любви.

Понятное дело, какой простор для фантазии: представить, скажем, величие одиночества Джугашвили-Сталина, размер этого одиночества. Хотя, возможно, в субъективном переживании там не было ни страданий одиночества, ни других мучительных напряжений. Скорее всего. Но отчего же тогда, из каких истоков наш современный культ «великих людей»? *Перед кем* здесь

<sup>2</sup> Мне думается, этот механизм весьма популярен: каждый выбирает величие по своей собственной нереализованной мечте, по своей тайной страсти. Вчитываясь в то или иное жизнеописание, он говорит себе то ли с восхищением, то ли с расстраивающей душу досадой: о, если бы на его месте был я! Или: в принципе, сопутствуй мне удача, и я бы, чёрт возьми, мог...

преклонение? Нет никаких сомнений, что перед силой, которая в глазах толпы мифологизируется до Силы. Неуклонно тупая эстетизация неморального, наглого напора, то есть зла в чистом виде. Однако сами понятия «добра» и «зла» здесь отменяются как якобы всецело условные и чересчур обывательские.

Для человека религиозного нет большей силы, чем Сущий, Творец, Хранитель, Всемогущий, Дух, Бесконечность, Воля. И, конечно, велик соблазн предположить, что Вседержитель любит подобных себе, то есть сильных. Что и делает тот же Блуа: «Бог взглянул в растекающееся море крови и в зеркале этом увидел лик Наполеона. Он любит его как Свой собственный образ...». То есть Бог, по Блуа, в своей великой поэтической работе не может избежать пролития морей человеческой крови – мол, это входит в условие «божественной игры»<sup>3</sup>. По этой логической схеме происходит восхищённое оправдание злодеяний всех и всяческих Александров Македонских, Атилл, Петров Великих. По этой же причине Сталину, несомненно, гарантировано почётное место в пантеоне священных особ как одному из

<sup>3</sup> Не избежал соблазна обожествления исторического великана и Пушкин. В «Медном всаднике» Петр ассоциируется с разрушительно-необъяснимой, неморальной, неподвластной пониманию, сверхчеловеческой природной стихией. В «Полтаве» – апофеоз ещё более высокого уровня:

Выходит Петр. Его глаза  
Сияют. Лик его ужасен.  
Движенья быстры. Он прекрасен,  
Он весь, как божия гроза.

Пётр поставлен на уровень урагана, землетрясения, наводнения, извержения вулкана. Вспоминается афоризм Г. Кайзерлинга: «Всякий великий человек – бедствие для современников». Но здесь возникает встречный вопрос: разве существует у нас культ ураганов или землетрясений? Однако культ великих людей существует. Выходит, что восхищаются в них люди всё же и ещё чем-то иным, нежели просто феноменом природного катаклизма. Чем же?



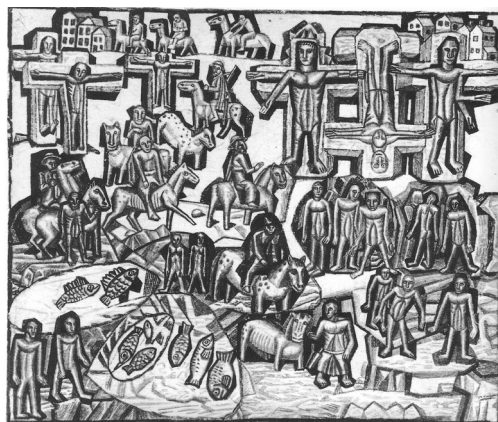
«несравненных поэтов в действии» (фрагочка Блуа о Наполеоне).

Я начал разговор о культе великих людей (о культе личности), ссылаясь на столь крупных персон, как Блуа и Бердяев, поскольку именно «высоко-лобая» интеллигенция задает тон в этих вопросах, научая массу, то есть простых людей, поддаваться иррациональному благоговению перед всякой силой. И какую бы колоссальную «разоблачительную работу» ни проводили историографы и публицисты в отношении бывшего грузинского семинариста, узурпировавшего совершенно чуждый ему по ментальности этнос (и уже поэтому не мог Сталин «понимать» русский народ, это был, несомненно, двусторонне глухой телефон), всё же даже они будут вынуждены подчиняться той *чаре поэзии*, которая и управляет, в сущности, мифологическим мышлением наших современников. В этом смысле они тоже подстраиваются под игру «поэтического умиротворения» истории, которую легко увидеть, скажем, в «Капитанской дочке» Пушкина, где поэт создал портрет прекрасного, доброго, справедливого разбойника Пугачёва уже после того, как написал жуткую по фактам «Историю пугачёвского бунта», где сам не смог не содрогнуться перед моральной (да и эстетической) неприглядностью конкретного исторического персонажа.

## 2

Вослед Пушкину, и много дальше его, пошла Марина Цветаева, чья работа «Пушкин и Пугачёв» есть не что иное, как неистовый и одновременно чревно-исповедальный гимн Вожатому, то есть Вождю. Это слово она выпевает без устали, словно в экстазе, словно мантру какую-то. «Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь...» «О, я сразу в Вожатого влюбилась...» Далее она объяснит, в чём суть этой *чары*: в том, что Вожатый – волк,

мятежник, сила. Ни малейшего намёка на этические императивы мы в этих текстах не обнаружим. Ни намёка, скажем, о благородстве как критерии или как источнике очарования – что, казалось бы, само собой должно подразумеваться, если, скажем, нас интересует *проба* человеческого состава. Нет, *чара* для Цветаевой не в этом, а в том, что дрожащий от страха агнёнок не может не благоговеть перед силой волка в тайной надежде, что по какой-то мистичес-



кой причине волк помилует и не съест именно его (тебя). Ибо поэта-агнёнка не волнует, что волк кушает других: смерть всегда *чужая*, не твоя. Вздёрнуты на виселицу невиннейшие и благородно-бесстрашные Иван Кузьмич и Иван Игнатьевич... «Но – негодовала ли я на Пугачёва, ненавидела ли я его за их казни? Нет. Нет, потому что он *должен* был их казнить – потому что он был волк и вор. Нет, потому что он их казнил, а Гринёва, не поцеловавшего руки, помиловал – за заячий тулуп. То есть – долг платежом красен. Благодарность злодея...» Красивый жест разбойника (как все уголовники падкого на театрализацию своего образа, равно и всей жизни) принимается здесь с умиленно-рабским восторгом: так, быть может, кто-то из зрителей веровал в благородные образы, создаваемые Нероном на сцене.



Вероятно, многие из тех, кто в несчастные времена наших тридцатых-сороковых прошлого века понимали, что Сталин – злодей, все же в глубине души верили, что этот злодей не может не таить в себе душу, чреватую спонтанной *симметричной* добротой. Трепетно-поэтическое всматривание в красивые жесты и театральные позы «достигшего верха». «Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось – добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра», – пишет Цветаева. Заявление опасное, ибо оно втягивает нас, русских, в то романтизированное уголовщины, которое началось в России с середины XIX века и длится, по нарастающей, по сию пору, фактически став корневой системой нового типа сознания – сущностно антиправославного, создавшего идеальную платформу для воровского капитализма и плутократии.

Сила этой необъяснимой (для неё) *чары уголовщины* выражена у Цветаевой с искренностью и энергией, едва ли не равной экстазности Леона Блуа. Её интерпретации сюжетов Пушкина тоже патетически эротичны. «Между Пугачёвым и Гринёвым – любовный заговор...» «Пушкин Пугачёвым зача-

рован...» «От Пугачёва на Пушкина – следовательно и на Гринёва – шла могучая чара...» Это чара энергии, наслаждающейся балансированием на краю гибельности – чара уголовного произвола, которую Цветаева называет «страстью всякого поэта к мятежу, к мятежу, олицетворённому одним... К *преступившему*...»

Страсть к уголовнику, действующему самочинно и с целью «возведения себя на трон» (не таким ли представляет себе Цветаева и поэта?), страсть к самозванцам-узурпаторам. Страсть к Наполеону, портрет которого в буквальном смысле заменял Цветаевой многие годы икону.

Спросим ещё раз, задействованы ли здесь хоть в какой-то мере эмоции этические? Ни в коей мере. Всё мышление поэта протекает в русле чувственно-эстетических волхвований, что, впрочем, синхронно с народной склонностью избегать морализаторства, а на *преступивших* смотреть с сочувствием либо даже с изумлённым уважением, порой переходящим в ужас. «Поллюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой, оставляя её круглой сиротой и этим предоставляя первому встречному, такого любить никакая

благодарность не заставит. А чара – и не то заставит, заставит и полюбить того, кто на твоих глазах зарубил самоё любимую девушку. Чара, как древле богинин облик любимца от глаз врагов, скроет от тебя все злодейства врага, всё его вражество, оставляя только одно: твою к нему любовь...»

Жутковатый апофеоз. (И ведь, заметим, Цветаева здесь не столько проповедует, сколько всего лишь тончайше исследует механизм именно-таки пушкинской чары, чары пушкинского художественного заискивания перед человечески-природным катаклизмом.) Неискоренимая любовь ягнят к волкам. Рабская умиленность перед силой. Не с этой ли любовью уходили под палаческий топор вожатого Джугашвили тысячи и сотни тысяч, включая военачальников и всех иных волчат и ягнят? Да, убил на моих глазах мою невесту, жену, сына, и всё же – *люблю*: чара! (Сколько таких признаний!) Благоговение перед уголовной (то есть в одной из своих ипостасей капризно-артистической) силой: авось *меня-то* помилует. Не за заслугу, а просто так: из прихоти, куража или неизвестно почему. Ибо – вне закона и вне логики. Ведь и казнил не за что-то, а тоже по прихоти, по логике уголовного артистического каприза, как это делали, «подражая богам», Нерон или Сталин.

И когда это Цветаевой писалось? В 1937 году. Поразительная «зрячьсть» поэта. Неужто, пусть и жившая отчасти на Западе, Цветаева не осознавала тождества вожатого Пугачёва и вожатого Джугашвили, тождества самозванцев, вышедших из русской метели? Маловероятно. Именно-таки понимала. И приехала с сыном в 1939 году в Москву именно вследствие этой чары, притом в компании мужа, дважды *преступившего*, тоже этой чарой охмелённого, хлебнувшего глоток той самой пугачёвской свободы-кровушки живой. На что надеялась? «О, я сразу в Вожатого

влюбилась, с той минуты сна, когда самозванный отец, то есть чернородый мужик, оказавшийся на постели вместо гринёвского отца, поглядел на меня весёлыми глазами. И когда мужик, выхватив топор, стал махать им вправо и влево, я знала, что я, то есть Гринёв, уцелеем, и если боялась, то именно как во сне, услаждаясь безнаказанностью страха, возможностью весь страх, безнаказанно, до самого дна, пройти...»

Однако в реальности топор Вожатого с «веселыми глазами» (и в самом деле, глаза-то у Сталина в хрониках большей частью именно-таки весёлые, пугачёвские!) оказался более чем реален и пришелся прямо в центр цветаевской семьи. Чара рассеялась, оставалась лишь петля, потому что поэтическая грёза о волшебных метаморфозах *человека преступившего* ни в одном атоме не совпала с реальностью бытовой, заочно-бытийной. Пугачёв, севший на трон, оказался тем, кем и был он всегда и изначально – демонизированным и безжалостным уголовником. И помощники у него были уголовники, и строй у него был уголовный, ибо иначе мыслить и чувствовать он не умел. Он не был ни байроновским Конрадом, ни Ларой, ни лермонтовским Демоном.

Цветаева – типично русский тип интеллигента, гордящегося своим максимализмом: *всё или ничего!* М. Мамардашвили называет это качество «российским историческим бессилием», идущим из нежелания реально работать в конкретной форме и отвечать за её совершенствование изо дня в день. В итоге ничто не доводится до конца: ни одна форма жизни, мысли, чувствования; не продумывается до конца ни одна мысль, ни одна идея. Все обрывается на том или ином этапе, и делается еще одно фрагментарное, судорожное движение: «из лучших побуждений», из прожектёрских самообманов, из грёз Ивана-дурака. Отказываясь

любить и совершенствовать ту форму жизни, которая дана ему исторической традицией, опытом дедов и отцов, русский человек попадает каждый раз в лапы уголовников-авантюристов, и выбраться из этого ирреального месива он уже, конечно, не в состоянии. Ведь и в ситуации второго обрушения (начало девяностых годов XX века) что выбирает русский интеллигент? Русскую традицию, русские формы, которые следовало бы продолжать и совершенствовать? Отнюдь. Он выбирает чужеземные формы, позарившись на их мнимую «замечательность», мнимое «совершенство». Он, в точности как Иван-дурак, мечтает стать счастливым на дармовщинку. Надеется бесплатно эксплуатировать формы, созданные и выработанные не им. Новый виток рокового инфантилизма.

«Словно *о себе* она тосковала, с такой страстью вжилась она в судьбу Наполеона! – вспоминала Анастасия Цветаева свою сестру в юности. – Кого из них она любила сильнее – властного отца, победителя стольких стран, или угасшего в юности его сына, мечтателя, узника Австрии? Любовь к ним Марины была раной, из которой сочилась кровь. Она *ненавидела* день с его бытом, людьми, обязанностями. Она жила в портретах и книгах. “Воображение правит миром!” – повторяла она слова Наполеона. И тотчас же: “И я совершенно не знаю, чем бы я смог быть – в действии” – слова его сына».

Это-то и волновала Цветаеву всю жизнь – роковая для нее невозможность осуществить в живой, осязаемой реальности то, что так ярко, соблазнительно до головокружения представляло ей её воображение. Невозможность жить по модели внутреннего глубинного ХОТЕНИЯ; недостаток СИЛЫ, недостаток УДАЧЛИВОСТИ. Способность реализовать воображаемое и удачливость – качества, кото-

рыми она неуклонно восхищалась, и потому Наполеон был для неё, конечно же, таким же великим «поэтом в действии», как Пугачёв или Казанова. Для неё, не умевшей выстроить самый элементарный контакт с людьми и вещами, не умевшей наладить самый обыкновенный быт, окружённой стеной символов, это была высшая раса поэтов: поэты не в слове, а в действии. Опять это: либо всё, либо ничто! Но почему же – спрашиваю я себя – Дон Жуан, Казанова, Пугачёв, Стенька Разин, Наполеон, а не Франциск Ассизский, не Тереза Авильская, не Владимир Печерин, наконец? Только ли в её ужасе перед своей житейской беспомощностью дело? Или здесь действуют энергии индивидуального вкуса, этической или даже религиозной инстинктивной предрасположенности? Впрочем, влечение есть влечение, как страсть есть страсть. Уже тридцатилетней Цветаева писала в записной книжке: «Моё дело в мире – ходить за глухим Бетховеном, – писать под диктовку старого Наполеона, – вести Королей в Реймс. – Всё остальное: Лозэн–Казанова–Манон – привито мне порочными проходимцами, которые всё-таки не смогли развратить меня вконец...». То есть временами она ясно видела эту внутреннюю пропасть в себе.

### 3

Страсть не просто к *преступившим* (ведь и Франциск, и Тереза, и русский Печерин преступали многожды рутинные шаблоны поведения), но к преступившим во имя сатанической радости манипулирования чужими волями, телами, судьбами, жизнями. Цветаева никогда бы не смогла искренно сказать то, что любил говорить Лев Толстой: «Плохое колесо всегда громче скрипит. Пустой колос выше стоит». Ей, напротив, нравилось большее, громадное, громогласное, вызывающее. Высокое и громкое. Здесь-то и была для нее чара.

Други! Сообщники! Вы, чьи наущения –  
жгучи!  
Вы, сопреступники! – Вы, нежные учителя!  
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, –  
Богу на Страшном суде вместе ответим,  
Земля!

Поразительно, что Земля как живое существо для Цветаевой – великая грешница, отпавшая от Бога вместе с ней, Цветаевой, заодно.

Заповедей не блюла, не ходила  
к причастью.  
Видно, пока надо мной не пропоют литию,  
Буду грешить – как грешу – как грешила –  
со страстью!..

Но почему, собственно, каким это *само собой разумеющимся образом* стихии Земли грешны? А потому, что Земля для Цветаевой – концентрация стихийности в разорванности стихий, а не в сбалансированно-сиятельной их гармонии, не в просветлённости. Стихия, стихии (равно и стихи) для Цветаевой – непременно бунт, словно бы море только и делает, что насылает цунами, а воздух создает каждую минуту ураганы, а земля только и делает, что рушится. Интеллигентский миф, укоренённый, увы, в европейском сознании, подстроенный под другой миф: будто бы природа есть слепое извержение энергии, силы. И далее – благословение клокочущих человеческих воль.

«Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии – следовательно и бунта – нет... Найдите мне поэта без Пугачёва! Без самозванца! без Корсиканца! – *внутри...*»<sup>4</sup>. Вот и логика:

<sup>4</sup> Внимание к стихиям, действительно, главное у большинства поэтов XX века. Проанализировав структуру образных систем Бориса Пастернака и Сергея Есенина, исследователь стиха Владлен Феркель обнаружил, например, что в их образном микрокосме (и у того и у другого поэта по отдельности) миру стихий отведено 43 процента ото всего их «поэтического внимания». См.: Феркель В.Б. Поэтические образы: Словарь. Челябинск, 2002.

коли стихия, то – бунт; и далее – поэт внутренне не может не быть тщеславным монстром с безграничной жаждой самовозвышения. Но порок этой логической цепочки уже в самом начале. Почему шумящая роща, журчащий ручей, плещущее море, струенье солнечных лучей, текущий воздух – это бунт, а не тихий, блаженно-медитативный рост, не умиротворённое трансформационное свечение? Против чего, собственно, бунтуют дерево, травинка, поток воздуха, холм, речка, летящая птица, извергающийся вулкан, крестьянин, пашущий свое поле, отшельник в горной хижине?

Цветаева подстраивает природу под свой внутренний миф (шедший в ногу с мифом всеевропейским) о том, что настоящий человек<sup>5</sup> не может не находиться в непрекращающемся конфликте с окружением во имя *самоутверждения своей силы во что бы то ни стало*. Максимально возможный витальный порыв, взрыв человеческой энергии! Такой, чтобы всей земле страшно стало! Вот что, по Цветаевой, прекрасно. Поэтому вообще все великие люди для неё поэты и всегда оправданы как поэты: ибо служат стихийному бунту во имя особого, высшего рода сладострастия, якобы угодного матушке Земле, великой грешнице, великой подстрекательнице.

Как творят великие люди, все эти Казановы, Пугачёвы, Самозванцы, Корсиканцы? «Состояние творчества есть состояние сновидения, когда ты вдруг, повинувшись неизвестной необходимости, поджигаешь дом или сталкиваешь с горы приятеля...» Укрупните масштаб, и вы получите ужасающие фигуры великих людей в истории. В истории, написанной поэтом.

Цветаева – не случайный свидетель. Она – создатель прекрасных стихов

<sup>5</sup> Ибо что такое поэт, на которого ссылается Цветаева, как не «подлинный человек» в её системе координат?

и одновременно, во мнении Иосифа Бродского, крупнейший, величайший поэт XX века, то есть безусловно превзошедший всех музыкой звука. Да, агрессивнейшие стихи, с форсированными жестами, на пределе интонационного и звукового крика, почти истерия. Бунт, одним словом.

*Атрофия совести* (термин Цветаевой) вполне осознанно вводится ею в необходимое условие поэтического действия. Таким вот образом *великий преступивший* (а величие определяется, разумеется, победительностью) освобождается от нравственного суда. Что мы и наблюдаем реально в истории. Никто в новейшее время не судил и не судит так называемых гениев и великих людей на моральном и религиозном суде. Следовательно, заповедь: освободи себя от всех и всяческих нравственных ограничений во имя раскрепощения в себе бунтующей силы – входит основополагающим звеном в искомый многими алгоритм суперуспешности.

Так наше время зашло в наиглавнейший экологический тупик, на глубинном основании отменив шкалу благородства и чести, дав понять, что за эту шкалу цепляются лишь слабые, хилые, убогие, то есть неконкурентоспособные, и что подлинная сила благословляется самой природой, абсолютно якобы равнодушной к этическому. Слепая, механически (однако же с оттенком мистики) интерпретированная природа объявляется верховным учителем. В природе господствует сила, повелевающая слабостью, так же должен действовать человек, – писал Гитлер в «Mein Kampf». Но что такое сила? Есть сила урагана и сила травинки. Есть сила высокого дуба и сила ручейка... Ураган легко ломает могучее дерево, но не в состоянии справиться с травинкой. Нежная, мягкая вода легко разрушает скалы и бетонные плотины. После мощных ураганов и пожаров, в том числе пожаров разного толка пуга-

чѐвщин, неизменно входит в действие сила Роста и Цветения – кроткая, смиренная, всепревозмогающая.

Не следовало бы преувеличивать агрессию силы в природе. Скорее в ней преобладают энергии дружественного существования и мудрой покорности судьбе (родовой и индивидуальной). Любое существо в природе сильно в одном отношении, но слабо в другом. Лев бессилён, если оказывается в темном земляном туннеле, где крот неизменно силен. И т.д. и т.п. Немало в природе примеров и верности, и сотрудничества, и доброты. Стихийно-демоническое в ней соседствует с просветлённо-орфическим, отчего и был возможен феномен Орфея. И чем глубже человек входит в природную жизнь как среду обитания, тем больше находит там энергий сакрально-космических, убеждаясь, что демоническое начало в новейшем смысле этого слова привносит в жизнь не природа, а омрачённая психика человека. <...>

## Две формы силы

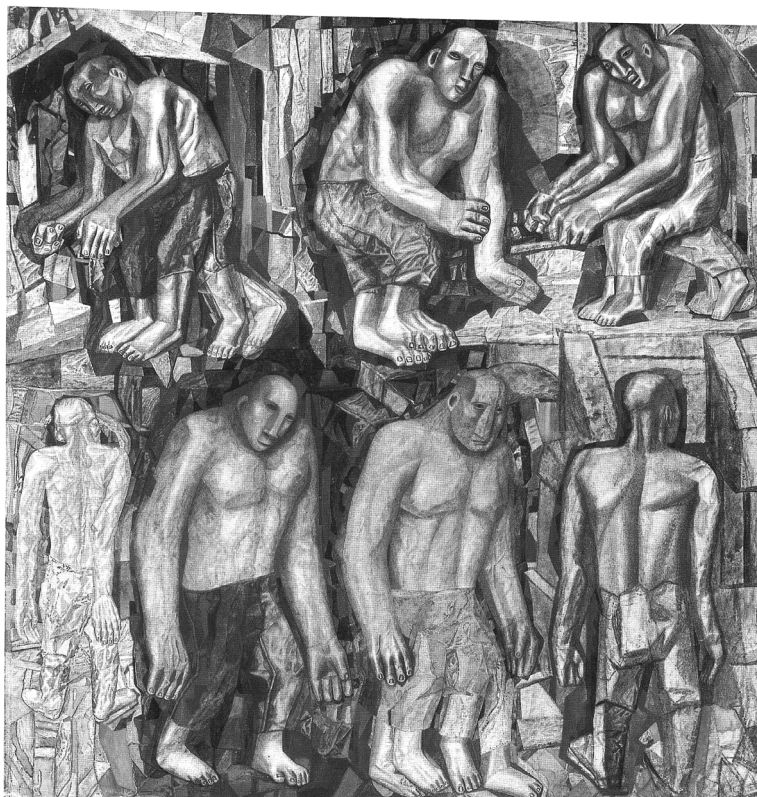
Одна из самых больших меланхолий Цветаевой шла из её тоски по бытию рядом с сильным великим человеком. Но: «Не суждено, чтобы сильный с сильным / Соединились бы в мире сём...». Однако в 1926 году Борис Пастернак подарил ей заочное знакомство с Райнером Рильке, которого она почитала за величайшего среди великих. Как водится, Цветаева пустилась в сумасшедшую переписку, разогнав цунами высоких переживаний, добиваясь любовной встречи двух величий. А Рильке в это время умирал, и этих его, между строчек, переживаний боли и отчаяния Цветаева не услышала. Она слишком, как очень часто, была упоена красотой словесных чувств.

Здесь мне вспоминаются размышления индийца Ошо об истинном и

ложном сострадании. Ошо пересказывает рассказ Льва Толстого о том, как одна барыня любила театр, часто в нем бывала и всегда сильно переживала по ходу действия пьесы, часто плакала, жалея несчастных и слабых. Наблюдавшим это она казалась человеком глубоко сострадающим. Однако Толстой сомневается в подлинности её чувств: он сообщает, что приезжала она в театр осенью и зимой в коляске, бросая кучера возле театра, и тот в своей одежонке страшно мёрз. Она же просто этого не замечала. По Толстому, сострадательность этой дамы фальшива. Ошо комментирует: «Очень легко плакать в театре, поскольку ничто лично ваше не вовлечено в действие. Очень легко плакать в кино. Все плачут в кино. Но плакать в жизни трудно, поскольку в этом случае вовлекается что-то лично ваше. Если вы заплачете вот над этим замёрзшим человеком, вашим

кучером, то в следующий момент вы должны будете изменить весь стиль вашей жизни. Тогда, если метет пурга или большой мороз, вы не отправитесь в театр. Или вы сделаете так, чтобы у кучера была теплая одежда или он мог бы пересидеть время спектакля где-нибудь в тепле. Но это повлияет на стиль вашей жизни. Кого беспокоит реальный человек? Люди плачут, читая романы, смотря кинофильмы, сидя в театре. Но в реальной жизни их глаза пусты – в них ни слезинки».

Рильке умирал, умирал тяжело, он нуждался в сострадании, а не в страсти, но утончённая Цветаева, чья сущность и сила эманировали в экстаз искусства как самоценной горделивой игры, этого не услышала. Но, скажу больше, и не могла услышать, поскольку её интересовала и волновала только сила, а точнее – сила как мощь победительности. Её интересовало – «чтобы сильный с сильным...».



Однако парадоксальность этой заочной ситуации была в том, что сам Рильке видел силу отнюдь не в Казановах, Пугачёвых или Наполеонах, не в лордах Байронах или Гришках Отрепьевых, одним словом, не в великих самоутверждениях. Носителями высших ценностей являются у него люди с обыденной точки зрения крайне слабые, кроткие, чуждающиеся любой формы агрессии и самоутверждения. Их путь – интуитивно-внутренний, они движутся к тому истоку, где было их наибольшее касание к Первокротости. Любимейшие герои Рильке – люди с обыденной точки зрения разбитые и побеждённые, потерпевшие крах, это люди страдающие и претерпевающие все виды несчастий, то есть аутсайдеры, отверженные. Его герои – нищие, идиоты, сумасшедшие, карлики, прокажённые, заключённые, слепые, бедные вдовы, брошенные влюблённые, сироты, рано умершие и погибшие, пьяницы, грешники, монахи, святые и... Иисус Христос. Как видим, чуть ли не все виды маргинальности, обочинности удела. Но именно в них Рильке видел глубину миро- и духопереживания. Подлинное выражение силы как эманации духа.

Подобную модель «силы в слабости» можно увидеть в фильмах Чарли Чаплина, а ещё позднее в кинематографе Андрея Тарковского, чьи персонажи менее всего борцы в общественном смысле слова, они словно бы вытеснены на обочину социальной жизни. Для людей они – побежденные, для Бога же – победители. («Сила совершается в немощи», апостол Павел.)

Таковы, по неизбежности, истоки двух форм силы на Земле. Одни хотят, чтобы их увенчивали лаврами люди, ибо отрезаны от духа и не чувствуют его реальности, жизнь для них – сугубо материальное, опьяняюще-эстетическое предприятие, и само сознание человека для них материально-энергетическая вещь, умирающая вместе с

телом. Других интересует истина, внутренняя правда, то есть безмолвно-внесловесная часть нашего сознания.

Соответственно существуют два параллельных потока искусства, отличающиеся тем, каков исходный мировоззренческий импульс художника. Одни инстинктивно сориентированы на свой тайный демонизм, на открытость стихиям в себе в том их смысле, как понимала это Цветаева. Другие сориентированы на святость и чистоту: в мире, в природе и в себе.

В одном случае поэт пишет поэму о Казанове (Цветаева), в другом – «Молитву за сумасшедших и заключённых» (Рильке).

За последние тысячелетия и особенно столетия людей приучили восхищаться грубой, брутальной энергией, восхищаться людьми, которые побеждают любыми средствами. Как справедливо писала Симона Вайль, «побеждённые ускользают из поля внимания историков. История – это центр дарвиновского процесса, ещё более безжалостного, чем тот, который руководит животной и растительной жизнью. Побеждённые исчезают. Они ничто». (Здесь и далее перевод О. Игнатъевой). Понимание величия извращено. Лишь очень немногие, как Рильке, Диккенс, Тургенев, Лесков, Ван Гог и им родственные<sup>6</sup>, повёрнуты лицом к побеждённым, понимая величие как внутреннюю чистоту и страдательность, сердечно-интеллектуальную интуитивность, связующую с Истоком.

«История – цепь низостей и жестокостей, где лишь время от времени поблескивают капельки чистоты», – пишет великая Симона. Историки, как пра-

<sup>6</sup> Отдельно стоят в этом ряду Солженицын, Шаламов и другие, трепетно сохранявшие имена побеждённых и жертв. Однако стали ли люди послесталинской эпохи менее восхищаться грубой силой? Увы, ничуть. Можно уверенно констатировать, что эстетизация примитивной, агрессивной силы никогда ещё не достигала столь нагло-изоциренного напора.



вило, цепляются за примеры ложного величия. Чрезвычайно важно чувствовать этот водораздел. Вайль показывает, как это можно сделать на примере искусства, которое точно так же двойственно, как и история. «Существует точка величия, в которой гений (творец красоты и открыватель истины), а также героизм и святость – нераздельны. У Джотто невозможно разделить гений художника и францисканский дух; в китайских дзэн-буддистских картинах и стихах нельзя разделить гений художника или поэта и состояние мистического озарения; когда Веласкес изображает на полотнах королей и нищих, невозможно разделить художественный гений и пылающую всеобъемлющую любовь, проникающую в душу. “Илиада”, трагедии Эсхила и Софокла несут на себе очевидную печать того, что создавшие их поэты пребывали в состоянии святости... Такая трагедия, как “Король Лир”, есть непосредственный плод чистого духа любви. Святость воссияла в романских церквях и григорианском пении. Монтеверди, Бах, Моцарт были в жизни такими же чистыми существами, как и в творчестве. Если есть такие, чей гений чист до такой степени, что открыто приближается к величию, присущему самым совершенным святым, зачем же терять время, восхищаясь другими? Последних можно использовать, черпать у них знания и наслаждения, но зачем же любить их? Для чего отдавать свое сердце чему-то ещё кроме добра?» – спрашивает французенка вполне наивно, словно бы не догадываясь, что можно любить, увы, и грязь, и сам порок. Ведь любят-то сегодня чару.

Даже столь сбалансированный и скептический мыслитель как Мишель Монтень в своей знаменитой главе «О трёх самых выдающихся людях» поставил на одну доску Гомера, Александра Македонского и фиванского полководца четвертого века до н.э. Эпаминонда. И если первым он восхищается за то,

что его творенья – неисчерпаемый кладезь познаний и вдохновения, а третьим – за его нравственную чистоту, то в Александре он восхищён необычайной его удачливостью и блеском его славы, то есть восхищение Монтеня здесь сугубо эстетическое, прощающее все зверства великого вояки, убийства и опустошения. Часть этих ужасов Монтень перечисляет (в том числе «одновременное истребление множества персидских пленников и целого отряда индийских солдат в нарушение данного им слова, поголовное уничтожение жителей Коссы вплоть до малых детей»), но резюмирует все же так: «Добродетели его коренились в его природе, а пороки зависели от случая». Монтень пленён самим сиянием славы Македонского: «Нельзя не оценить его незабываемой в веках славы, чистой, без единого пятнышка, безупречной, недоступной для зависти, славы, в силу которой ещё много лет после его смерти люди благоговейно верили, что медали с его изображением приносят счастье тем, кто их носит». (Перевод Ф. Коган-Бернштейн).

Эстетика очевидно победила здесь этику. Но так оно и происходит почти всегда, ибо «победителей не судят» и «не по хорошу мил, а по милу хорош». Чара.

## Культ личности

1  
Едва ли не ярче всех это столкновение двух типов идеала выявил Фридрих Ницше, почти надрывно почувствовавший профанность новой эпохи, нашу покинутость богами и героями и возмечтавший о новой сакрализации – о выведении нового типа человека, не только отвергающего идеал Христа, но возрождающего в себе экстатически-опьянённое жизнечувствование и сверхчувственность, оргийность Диониса. «Дионис против Распятого».

Вся сила гнева Ницше направлена на современного стадного человека

(реально-массово, то есть уже в пародийно-опереточном виде, он появился в XX веке и впечатляюще описан как тип Ортегой-и-Гассетом), который предпочитает слышать о добреньких и сострадательных людях ради того, чтобы ему, сытенькому и ленивому, было удобно дремать на диване. Это опошление жизни в эпоху “демократической деградации” человечества Ницше предлагает взорвать, навязав людям активнейшее зло и опасность, в ходе которых бурно пойдет в рост тип людей, ныне почти полностью задавленных «стадом» – людей вненравственных, властных, гордых, самодостаточных – таких как Александр Македонский, Тамерлан, Наполеон, Гёте, Бетховен, Вагнер... Он называет эту породу людей «знатный человек», «высший человек», «сверхчеловек». Большого гимна культу личности представить себе невозможно. «Вперед, высшие люди! Только теперь гора человеческого будущего мечется в родовых муках. Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек».

По мнению Ницше, в последние два тысячелетия в истории действовали три силы: «Инстинкт стада против сильных и независимых. Инстинкт страждущих и неудачников против счастливых. Инстинкт посредственностей против исключений». Следовало бы всё поменять с точностью до наоборот. Добрые и хорошие люди все слабы. Силен лишь злой человек. Следовательно, да здравствует зло! «Моральный человек представляет собой низший и более слабый вид сравнительно с безнравственным; более того, он со стороны своей морали представляет известный тип, но только не оригинальный тип, а копию, мера его ценности лежит вне его. Я ценю человека по степени мощи и полноты его воли, а не по мере угасания и ослабления этой воли».

Ницше, при всей своей интеллектуальной гениальности бывший, в сущности говоря, духовным дальтоником,

видевший в человеке только чувственную плоть с интеллектом и душевными страстями, а сверх этого ничего не замечавший, воистину не видевший шесть седьмых человеческого айсберга, тем не менее глубоко проник в психологию «великих людей». «Принципиальная фальсификация великих людей, великих создателей, великих времён: хотя бы вера была отличительным признаком великих, но в действительности величие характеризуется решительностью, скептицизмом, “безнравственностью”, умением расстаться с известной верой (Цезарь, Фридрих Великий, Наполеон; но также и Гомер, Аристофан, Леонардо, Гёте). Утаивают постоянно самое главное – “свободу воли”».

Великий человек или гений безнравствен не из любви к пороку, а из неукротимого следования зову своей внутренней свободы либо же своей воли к власти, что для Ницше есть одно и то же.

И все же, отвергая одну мораль (стадную), человек с неизбежностью приходит к другой. Какова же, по Ницше, мораль великих людей? «Мораль самопрославления – они чтут все, что знают в себе». «Рискуя оскорбить слух невинных, я говорю: эгоизм есть существенное свойство знатной души; я подразумеваю под ним непоколебимейшую веру в то, что существу, “подобному нам”, естественно должны подчиняться и приносить себя в жертву другие существа. Знатная душа принимает этот факт собственного эгоизма без всякого вопросительного знака, не чувствуя в нём никакой жестокости, никакого насилия и произвола, напротив, усматривая в нём нечто, быть может, коренящееся в изначальном законе вещей, – если бы она стала подыскивать ему имя, то сказала бы, что “это сама справедливость”». (Перевод Н. Полилова).

Какая, в сущности, наивная, глубоко подростковая игра ума! Красивые



теоретизмы, за которыми раскалённые печи Аушвица и промёрзшие нары Мандельштама. «Знатная душа» монстра Джугашвили, убивающего гения, – это, конечно же, «справедливость», ибо клыки у монстра большие, а жажда крови неиссякаема. Такого рода фиоритуры легко было с важным видом выводить в «затхлой, сверхмещанской» Швейцарии конца XIX века, – а что бы говорил интеллеktуал Ницше, скажем, в Германии 1937 года?..

Что же пленяет Фридриха Ницше в «высших человеках»? «Тут мы видим на первых планах чувство избытка, чувство мощи, бьющей через край, счастье высокого напряжения (дионисийство, одним словом! – *Н.Б.*), сознание богатства, способного дарить и раздавать: и знатный человек помогает несчастному, но *не* или почти *не* из сострадания, а больше из побуждения, вызываемого избытком мощи. Знатный человек чтит в себе человека мощного...» Бог мой, как это, увы, нам современно – ну прос-

то-таки массово все кинулись чтить в себе знатность по Ницше! Ты победил, безумный Фридрих! Но ты застрелился бы, увидев эти орды наивульгарнейшей «знати», бездарную мощь ворованной сытости. Такая пародия, конечно же, не могла привидеться базельскому мечтателю и в дурном сне.

И всё же более любовно продуманного культа (сильной) личности, чем у Ницше, нам не сыскать. Как всякий честный атеист, Ницше попадает в собственную интеллектуальную ловушку. Раз добро пассивно, а зло активно (а это, увы, правда: именно так они являют себя в современном человеке), следует выбрать зло. Но активность плотского, то есть одномерного, человека, человека-зверя приводит лишь к разрушению либо к грабежу. По теории Ницше хорошо видно, как культ сильной личности естественно перерастает в культ преступника (известно нам уже по теории Цветаевой), так как единственным критерием «знатной

души» здесь является беспредельно самовлюбленный и наглый стиль поведения, диктующий исповедание морали подлости, ибо никакого внеморализма в природе человека не существует; мы с неизбежностью вынуждены выбирать: либо мораль благородства, либо мораль подлости. Третьего не дано. Встать «по ту сторону добра и зла» может лишь святой либо тот, кто освободился от человеческой формы, всецело войдя в зону безмолвного знания.

Однако Ницше весь, с потрохами, – в социуме. Высшая ценность для него – «это наивысшее количество власти, которое человек в состоянии усвоить – человек, а не человечество! Человечество, несомненно, есть скорее средство, чем цель. Дело идет о типе – человечество просто материал для опыта, колоссальный излишек неудавшегося, поле обломков».

Какие знакомые театральные жесты! Было бы, вероятно, нелогично, если бы после утонченно-героического Вагнера и после Ницше в Германии не явился Гитлер. Думаю, Вагнер и Ницше – не столько побудители, сколько симптом. В утонченно-благородной душе Вагнер вызывает одни переживания, в утонченно-подлой – совсем иные. Нечто подобное и с восприятием Ницше. Одухотворенного, но интеллигентного, робкого юношу, несколько пришибленного духом лицемерного христианства, Ницше может научить быть верным врожденному инстинкту – прожить *собственную*, оригинальную, не заёмную жизнь. Этот юноша вполне может взять себе в спутники такие строки базельского отшельника: «Дело идет не о том, чтобы *идти вперед* (этим путем можно в лучшем случае стать пастухом, то есть верховной и настоящей потребностью стада), а о возможности *идти самому по себе, о возможности быть иным*».

Казалось бы, после опытов Гитлера и Сталина, оставивших после себя



огромные «поля обломков», культ сильной личности не должен был бы процветать у нас в России и на Западе. Однако же мы видим, как массмедиа мира, делая деньги, обыгрывают образ «супермена» во всех его бесчисленных ипостасях. Образ сверхуспешности, высмеянный Гоголем, сияет зазывно-белозубой улыбкой с телеэкранов, возросший в амбициях и самоуверенном напоре тысячекратно. Мечта о «дионисийском» образе жизни внедряется в сознание мирных стад с завидным постоянством. Бедный Фридрих был бы невероятно шокирован профанацией своих идеалов, ибо ныне все мечтают стать знатными, власть имеющими, одним словом – теми «высшими людьми», о каких помышлял автор «Дионисовых дифирамбов» и «Проклятия христианству».

## 2

Антихристианин Ницше, несомненно, преувеличивал действенность христианских идеалов в современной Европе. Фактически в мире давно уже господствует идеал личности, а не внеличности, который проповодовали Христос и, например, Будда, учившие уходу с поверхностного психологического слоя в более глубокие, корневые слои и уровни человеческого существа. Обозревая «великих людей» в истории, легко увидеть, как они рас-

падают на две группы. Одни, в полном соответствии с рекомендациями Ницше, всеми способами раскармливают свое эго, свою самость, так что образуется забронзовевшая, недосыгаемая ни для каких тонких влияний капсула личности, способная словно таран идти к своей цели. Мораль здесь соответствующая: «чтят все, что знают в себе». Другие же видят смысл своего пути как раз в освобождении от тирании эго и в выходе из личностной капсулы к анонимной глубине своей индивидуальности, растущей из космического духовного семени.

Люди первой группы обычно торжествуют и многого добиваются в первую половину жизни, опираясь на свежие биологические и психические силы. Однако с какого-то момента начинается неотвратимый спад, откат, нескончаемая и всё нарастающая череда неудач, сопровождающаяся внутренним чувством пустоты, тщеты, бесконечных повторов, всё усиливающихся внутренних конфликтов, одним словом – чувством краха. Идёт неотвратимая деградация, на которую историки, кстати, как правило, стыдливо закрывают глаза, акцентируя всё внимание на победительном периоде деятельности «великого человека». Хотя это более чем странно, ведь именно жизненный финал наилучшим способом показывает, доброкачественным или злокачественным было само направление пути. Так что в истории с наивной недобросовестностью воспето множество ложных путей.

Личностный путь не имеет внутренней, «космической» подпитки. Личность опирается в конечном счёте на свою плоть (вместе с чувствами и страстями плотской души), на её, так сказать, энергетическую мощь. Но энергия плоти имеет предел. Потому что у личностей нет пути как внутренней эволюции, личность не растёт, не трансформируется, она лишь крепнет,

а затем, когда появляется усталость, рушится, как всё, ставшее чересчур сильным и крепким, – иногда от первого сильного ветра или первой сильной волны. Вспомним Лао-цзы: «Побеждает не крепкий, а нежный, ибо слабость – велика, а сила – ничтожна. Когда человек рождается, он слаб и гибок, а когда умирает – он крепок и чёрств. Когда дерево растёт, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жёстко – оно умирает. Чёрствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия...».

Личностный путь есть пустой расход природной энергии в заведомо тщеславных целях. Избыток такой энергии даёт иллюзию необыкновенного полёта и «божественности» поступи героя. Но как только эта энергия расходуется, тысячи трещин разваливают созданное. Ибо оно было сколочено, построено, но не было *выращено*, подобно всему живому.

Зачастую историки выдумывают замысловатые причины этой внезапно начинающейся деградации героя. Самое непостижимое для многих – крах Наполеона, существа, казалось бы, исключительного во всех отношениях, заложившего начало новой империи, крах, непонятный самому Наполеону. Т. Карлейль объясняет это тем, что Наполеон будто бы изначально был «чудовищной помесью героя с шарлатаном», и покуда героическое начало в нём доминировало – он побеждал, а когда он дал волю в себе шарлатанству – стал терпеть поражения. Сброшенный со всех тронов, Наполеон «испытывает, по-видимому, вполне неподдельное удивление, что всё совершилось таким образом, что он выброшен на эту голую скалу, а мир продолжает вращаться вокруг своей оси. Франция – могущественна и всемогуща, а, в сущности, ведь он и есть Франция...».

Теорию фатальной, непостижимой для человека высшей предопределен-

ности наших действий применяет Лев Толстой, отказывая Наполеону в гениальности, полагая это мифом, склонностью людей любой успех объяснять качествами лица или механическим стечением обстоятельств. Толстой же оперирует таким понятием, как *Провидение*. Провидение действует через цепочку случайностей. Случайность, миллионы случайностей способствовали, по Толстому, возвышению Наполеона и его победам, а затем столь же бесчисленное число новых случайностей привели его к гибели и краху. «Он нужен для того места, которое ожидает его, и потому, почти независимо от его воли и несмотря на его нерешительность, на отсутствие плана, на все ошибки, которые он делает, он втягивается в заговор, имеющий целью овладеть властью, и заговор увенчивается успехом...» Такова неведомая людям логика включения личностей в исторический процесс, по Толстому.

И вот, наконец, финал. «Человек, опустошивший Францию, один, без заговора, без солдат, приходит во Францию. Каждый сторож может взять его; но, по странной случайности, никто не только не берёт, но все с восторгом встречают того человека, которого проклинали день тому назад и будут проклинать через месяц. Человек этот нужен для оправдания последнего совокупного действия. Последняя роль сыграна. Актеру велено раздеться и смыть сурьму и румяна: он больше не понадобится.

И проходят несколько лет в том, что этот человек, в одиночестве на своем острове, играет сам перед собой жалкую комедию, мелочно интригуется и лжёт, оправдывая свои деяния, когда оправдание это уже не нужно, и показывает всему миру, что такое было то, что люди принимали за силу, когда невидимая рука водила им.

Распорядитель, окончив драму и раздев актёра, показал его нам.

– Смотрите, чему вы верили! Вот он! Видите ли вы теперь, что не он, а Я двигал вас?..»

Конечно, ни доказать, ни опровергнуть такую теорию невозможно. Однако, наблюдая за вождями наций в последние двести лет, мы не можем не заподозрить, что все они движимы непонятными для них силами (энергетическими потенциалами толп, демонизмом их давлений), пожиная вполне объективные успехи или неудачи. Современный вождь – лишь эмблема потока, сущности которого он не знает.

### 3

Человек, вступивший на путь культивирования своего эго, укрепления и бетонирования личностной капсулы, невидимо отгораживающей его от космической открытости и проницаемости, неизбежно оказывается в ловушке. Что такое воля к власти, обоготворяемая Ницше и многими великими людьми, как не жажда стяжательства, чтобы заполнить свою зияющую внутреннюю ущербность, утопить в награбленном свою растерянность? Воля к власти, к господству, богатству, славе и т.д. – есть не что иное, как вывернутый наизнанку страх перед бытием, перед бытийствованием как таковым. Отнюдь не парадоксом будет сказать, что жаждущие стать личностями – самые большие трусы, ибо страшатся *быть*, то есть оставаться наедине со своей исконной пустотностью, с тем чистым простором, где ты никто и ничто, где тебе ничто не принадлежит и нет в тебе никаких качеств, но где пребывает то анонимно-донное основание, в котором мы все необычайно едины.

«Не является ли стремление к власти одним из признанных и уважаемых способов бегства от себя, от того, что *есть*? – вопрошал индийский посвященный Джидду Кришнамурти. – Каждый из нас стремится уйти от своей неполноценности, от внутренней нище-

ты, от одиночества, от изолированности. Нам не нравится настоящее, а бегство от него представляется привлекательным и полным очарования. Посмотрите, что случилось бы, если бы вам угрожало лишение вашей власти, положения, имущества, приобретенного с большим трудом? Вы сопротивлялись бы всему этому, не правда ли? Вы считаете, что вы необходимы для благосостояния общества, поэтому вы оказывали бы сопротивление, применяя при этом насилие или используя хитроумные и убедительные аргументы. Если бы вы смогли добровольно отказаться от всех ваших многочисленных приобретений на различных уровнях, вы стали бы ничем, разве не так? Вот почему вы имеете все внешние отличия, но у вас нет внутреннего содержания, нет внутреннего нетленного сокровища. Вы жаждете внешних отличий, и этого хочет каждый: из подобного конфликта рождаются ненависть и страх, насилие и распад. Вы с вашей идеологией так же несостоятельны, как и ваши противники, поэтому вы уничтожаете друг друга во имя мира, изобилия, отсутствия безработицы или во имя вашего бога. Так как почти каждый человек жаждет оказаться на вершине, мы и создали общество, которому присущи насилие, конфликты и враждебность.

Можно ли это искоренить? Да, если мы перестанем быть честолюбивы, жадны к славе, к имени, к положению, если мы станем тем, что каждый *есть*, будем простыми, будем ничем. Негативное мышление есть высшая форма разумности.

*Материалистически мыслящее человечество погубит себя, если полностью не откажется от идеи личности.* Отказ от личности всегда имеет первостепенное значение. И лишь в результате такой революции может быть создано новое общество».

Не всегда согласный с Кришнамурти, здесь я аплодирую. В каждом из

нас идет борьба между энергиями личности с ее неполеоновщиной и энергиями индивидуальности с её поэзией анонимности, безымянности, необладания, бесцельности, несоревновательности, чистой бытийности как соучастия в незримом космическом процессе. На чем базируется поэзия индивидуальности? На интуитивном ощущении единства души. Как сказано в Упанишадах: «Кто во всех существах видит себя, все существа видит в себе, тот войдет в высочайшего Брахмана (абсолютную реальность. – Н.Б.) без какой-либо другой причины».

Вспомним Артура Шопенгауэра, который однажды, открыв для себя Упанишады, был так потрясен этой центральной их идеей, что под новым углом зрения увидел всю мировую мысль, обнаружив, например, что кантовский категорический императив существовал на Земле уже многие десятки тысяч лет назад. Немецкий философ писал: «... Если, таким образом, множественность и разобщение присущи исключительно явлению и во всех живущих представляется одна и та же сущность, то не будет ошибочным понимание, устраняющее разницу между “я” и “не-я”, напротив, таким должно быть понимание, ему противоположное. И мы находим, что это последнее обозначается у индусов именем *майя*, т.е. видимость, обман, призрак. Именно первое воззрение нашли мы лежащим в основе феномена *сострадания*, даже признали последнее его реальным выражением. Оно должно поэтому служить метафизическим фундаментом этики и состоять в том, что *один* индивидуум узнаёт в *другом* непосредственно самого себя, свою собственную сущность. Таким образом, практическая мудрость, справедливые и добрые дела в конечном итоге точно совпадают с глубочайшим учением наиболее далеко проникшей теоретической мудрости, и практический философ, т.е. человек справедли-

вый, добродетельный, благородный, выражает на деле лишь то же самое познание, какое является результатом величайшего глубокомыслия и упорнейших изысканий теоретика-философа. Однако моральное достоинство стоит выше всякой теоретической мудрости, которая всегда бывает лишь незаконченной работой и приходит медленным путем заключений к цели, какой первое достигает сразу; и **человек, морально благородный, хотя бы он сколь угодно отставал в интеллектуальном превосходстве, своим поведением являет глубочайшее познание, высшую мудрость** (выделено мной. – Н.Б.) и посрамляет гениального и учёнейшего, если последний своими действиями показывает, что его сердцу всё-таки осталась чуждой наша великая истина».

#### **Человек великий и человек истинный**

Наше западное и прозападное мышление стремится подчеркнуть в человеке его размерность или исключительность. Мы говорим о *великих* людях, то есть в буквальном смысле указываем на размер, на превышение обычного человека по росту, по массе, по силе, в конечном счете, по способности унижить, подавить и разрушить. Либо же употребляем слово «замечательный», т.е. заметный среди других, яркий, приметный, отличающийся, оригинальный, не похожий на большинство. Либо употребляем слово «гений», «гениальный», где опять же подчеркиваем высшую степень превосходства, никак не связанную ни с собственными достижениями воли человека, ни с направленностью действий гения («гений» – это стихийная сила, дух-покровитель, могущий быть как добрым, так и злым).

Нетрудно заметить, что западный человек, живущий в каждом из нас, восхищается либо силой, мощью (данной от природы либо приобретенной,

т.е. наращенной, «накачанной»), либо интересностью, исключительной непохожестью. Не случайно, думаю, наш самый «великий» русский деятель, Петр, бывший в физическом смысле раритетом, так увлекался своей кунсткамерой, коллекционируя исключительно уродства. Некое странное единство прослеживается.

Проще говоря, западный ум склонен восхищаться личностью, ее «природной» силой и агрессивной оригинальностью. Личность должна быть успешной, она должна как можно больше «наследить». Какого рода эти следы – добрые или злые – не имеет принципиального значения, главное, их должно быть много и они должны быть большими, «великими», выдающимися, т.е. заметно выделяющимися рядом со следами обыкновенными. Почти по поговорке: «Убил одного человека – преступник, убил тысячу – выдающаяся личность». Глядишь, тебя уже изучают историки, психологи, появляются воспоминания, а затем и раболепные биографы.

Иной взгляд на человеческую иерархичность – на традиционном Востоке. Здесь в почете *мудрость*. Поворошим восточную память в себе: как расшифровывается «мудрый человек»? Нетрудно будет вспомнить, что чаще всего пользуются двумя видами описаний. Первый вариант: мудрый – это прежде всего просветлённый (пробуждённый) человек. То есть существо, вышедшее из тумана слов, освободившееся от рабства словесного описания мира, выскользнувшее из этой клетки, сквозь прутья которой мы только и видим все вещи. Человек, чьё сознание вдруг видит мир вне слов, *как он есть*, начинает воспринимать первореальность, обнаруживая иллюзорность личностной самоотдельности. Отсюда и мудрость: на нас он смотрит как взрослый на малых детей, не ведающих, что творят. Будда Шакьямуни, Пифагор, Иисус из Назарета, Франциск



Ассизский, Майстер Эххарт, Якоб Бёме, Серафим Саровский, Рамакришна, поздний Лев Толстой, Розанов, Бергсон, Рильке, Флоренский, Кришнамурти, Чжуан-цзы, Лао-цзы, Конфуций, Линь-цзы, Банкэй, Басё и еще десятка два дзэнских мастеров – список этот мог бы быть весьмадолог. Всех их характеризует осознание той истины, о которой писал «прозревший» однажды Шопенгауэр, и, соответственно, уход от *личности* в себе, перемещение в «сверхъестественную» растительность *индивидуальности*, чувствующую свою единичность со всеми и Всем. Иоганн Себастьян Бах обращается в своей музыке к внеличным в нас энергиям, а Чайковский, чаще всего, к личностным, капсульным.

Но ещё чаще Восток говорит об истинном, настоящем, подлинном или искреннем человеке. Это высшее поименование. Здесь указывается не на размер, а на нечто совсем иное. Пробуждённый (пробудившийся от жизненного сна, от мира словесоцентричных иллюзий – майи) становится тотально искренним, т. е. искренним всем своим существом (а не умом только) в каждый момент времени. За счёт чего достигается подобная поразительная «несонливость»? За счёт перемещения центра внимания из умственной сферы (ум замолкает) в сферу чистой бытийности: человек живёт уже не в проекциях своего прошлого и будущего, а в подлинно настоящем, в непрерывности течения *потока*. *Настоящий человек*, в восточном понимании, – это человек, живущий в настоящем и настоящем. Его поведение не определяется идеями, теориями, словесными матрицами и словесно-идеологическими перемещениями. Он весь – в присутствии, т. е. в приникновении к суги. *Истинный человек* – живущий в *истине*. Но истина здесь – не очередная система научных гипотез и словесных формул, а то, чем истина всегда и была в русском, славянских, да и в исходном языках, – *естинной*<sup>7</sup>: как говорят просветлённые, исти-

ну нельзя знать или познать, в истине можно либо быть, либо не быть. Истина – не предмет владения<sup>8</sup>.

Итак, что же мы наблюдаем в хронике великих людей? С одной стороны – историю человеческого величия (силы воли, инстинктов, характера, страсти), страстного выявления человеком своей природной, чувственно-психической оригинальности, а с другой – историю человеческой истинности, просветлённости. Две формы движения и внутреннего с собой диалога. И все же едва ли бы этот наш очерк имел для нас серьезный смысл, если бы не трагизм ситуации, из которой он написан. Едва ли бы я стал тревожить многострадальные тени Цветаевой и Ницше, если бы их поэтико-интеллектуальные игры, обращенные к «аристократам духа», не отразились в чудовищно брутализированном зеркале XX века в качестве ухваток миллионов булгаковских шариковых и разнообразнейших паханов, если бы не было столь очевидным, что последние полтора столетия в России неуклонно всходил, множился и завладевал ментальным пространством человек уголовного типа сознания. Именно он и есть, увы, герой нашего времени. Однако это уже другая большая тема.

<sup>7</sup> См. в «Столпе и утверждении Истины» у Павла Флоренского: «Наше русское слово “истина” лингвистами сближается с глаголом “есть” (истина – естина). Так что “истина”, согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности: Истина – “сущее”, подлинно-существующее <...> в отличие от мнимого, не действительного, бывающего. Русский язык отмечает в слове “истина” онтологический момент этой идеи...». Далее Флоренский обращается к Вл. Далю, у которого «“истина” – “всё, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть. Всё, что есть, то истина; не одно ль и то же есть и естина, истина?” – спрашивает он».

<sup>8</sup> Замечательно чувствовал эту разницу между мороком внешнего и блаженством процесса Мандельштам, писавший в манифесте: «Любите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше самих себя!»

Валентина Ефтифеева

## Люба Байкалова из села Сростки

«Калина красная» – киноповесть В.М. Шукшина. Первоначально – литературный сценарий одноимённого фильма. Он написан осенью 1972 года в Москве, в больнице. Впервые опубликован в журнале «Наш современник», в четвёртом номере за 1973 год.

Кто же стал прообразом главной героини со столь необычной судьбой? Ответ на этот вопрос мы находим в воспоминаниях сестры Василия Макаровича – Натальи Макаровны:

«Как-то Вася меня спрашивает, почему Люба Байкалова (сродная наша сестра) замуж не выходит, ведь давно вроде пора? Я говорю, она переписывается с тюремным заочником, он пишет ей хорошие письма, обещает после освобождения приехать в Сростки. Вася эту переписку не одобрил. И вот в фильме «Калина красная» Егор Прокудин освобождается от собственных пут и едет к заочнице Байкаловой Любови Фёдоровне. (Даже отчества не изменил)»<sup>1</sup>.

Здесь же Наталья Макаровна развивает мысль о том, что односельчане нередко были героями его рассказов, вот и двоюродная сестра Василия Макаровича стала прототипом героини. Что она за человек и какова её судьба, был ли в её жизни тот самый «тюремный заочник»? Попытаемся найти ответ в воспоминаниях сростинцев, знавших Любовь Фёдоровну.

Л.Ф. Байкалова родилась в селе Сростки 29 декабря 1937 года. Её родители – Фёдор и Евдокия Байкаловы. Евдокия Сергеевна – старшая из четырёх дочерей Сергея Фёдоровича Попова, родная сестра Марии Сергеевны Куксиной, матери В.М. Шукшина.

О Фёдоре Байкалове сведений практически нет, нам так и не удалось установить его отчество. Его родственники ничего не знают о нём, и не удивительно, жизнь Фёдора была короткая, всего 37 лет<sup>2</sup>.

Воспоминания о Фёдоре Байкалове удалось записать со слов Валентины Васильевны Шумковой, двоюродной сестры Любы Байкаловой:

*«Я как-то спросила у своей мамы (Поповой Анны Борисовны – родственницы Байкаловых по мужу. – В.Е.):*

<sup>1</sup> Шукшин В.М. Надеюсь и верую. М.: Воскресенье, 1999. С.446–447.

<sup>2</sup> А.С. Пряхина. Родословная В.М. Шукшина. Бийск, 2005. С.66.

– А где Любин отец, его на войне убили или тоже расстреляли?

– Нет, это ещё до войны было. Табак сеяли, Фёдор возил этот табак и решил, видимо, припрятать дома маленько. И соседка показала на него, она злая была. Ссорились они. Пришли, увидели... и посадили за корешок табака. Там он и умер, не пережил это всё. Молодой умер».

После смерти мужа у Евдокии на руках остались две дочери: старшая Анна и младшая Люба. Жили Байкаловы по улице Советской, на три дома выше в горку от усадьбы Макара и Марии Шукшиных. Позднее, в середине 1960-х годов, Евдокия Байкалова купила дом у своей сестры Марии по переулку Широкому, 28 (ныне улица Братьев Ореховых).



О детстве Любы Байкаловой вспоминает В.В. Шумкова:

*«Люба Байкалова со мной в первый класс пошла. Фотография такая есть. Училась я с ней вместе до 6 класса. Она была полная сильно...»*

*После шестого класса Люба училась в вечерней школе. Вася тогда вёл вечернюю школу, там она и училась, и работала на стройке. Дома по тракту тогда строили...*

*Она и ушла-то после 6 класса, потому что её задрознили. Пришлось уйти. Стеснялась. А в вечерней школе там все взрослые. Там она 7 классов окончила.*

*С Любой мы всё детство вместе были... Она была медлительная из-за полноты, всё очень медленно делала. Добрая была и не жадная. Но очень стеснялась своей полноты...*

*Она училась на парикмахера, и тётя Маруся её учила».*

О дальнейшей судьбе Любы Байкаловой в музее есть воспоминания работников комбината бытового обслуживания, где она работала примерно с начала 1960-х по 1980 год.

Александра Ефимовна Слободчукова:

*«В ателье я пришла работать 23 февраля 1960 года... Там была парикмахерская, сапожная, фотография. В парикмахерской работал Михаил Асташкин, а потом Байкалова Люба. Она была добрая, хорошая».*

Екатерина Фёдоровна Холманская:

*«Люба работала в парикмахерской. Каждую неделю нам давали машину, и мы бригадой, куда входили закройщицы, парикмахер и фотограф, ездили и обслуживали людей в сёлах. Маршруты были самые разные: Верх-Талица – Лебяжье – Каменка – Первая ферма – Третья ферма; Образцовка – Берёзовка – Суртайка – Быстрая; Талица – Новая Деревня – Кокши – Урожайное; Полеводка – Верх-Катунское – Светлоозёрск – Мясовозхоз. Все эти сёла мы обслуживали. Люба стригла, Анна Сухачёва принимала заказы на верхнюю одежду, я на лёгкое платье...»*

*Люба как-то в разговоре с девочками рассказывала, что у неё был какой-то тюремщик, вроде даже приходил он к ней.*

Я ей говорила тогда:

– Люба, брось ты, ради Бога, сдавать кровь, – а она отвечает:

– Мне значок дали донорский и кормят нас там.

А что их там кормили, отведут в столовую и всё, дадут компот, а это что. Надо сразу граммов по 100 водки, чтобы разжигало. Вот и досдавала кровь, умерла рано».

Вспоминает Ольга Кондратьевна Шефер:

«До прихода на работу в ателье Любу я толком не знала. В 1968 году, когда я пришла в ателье, она уже работала мастером в парикмахерской. Тогда под парикмахерскую была выделена одна комната.

Швеи из неё не получилось, но иногда она садилась за швейную машинку...

Она сама была добрая, не скандальная, не сплетница, в душу ни к кому не лезла.

Жили они с матерью, Авдотьей Сергеевной, недалеко от нас, по переулку Широкому, домой, бывало, вместе шли. Скуповатая была на еду, может, потому, что мать такая. Мы всегда приглашали Любу обедать на работе.

Мать её строго держала. Люба одна жила, без мужа. Потом познакомилась по переписке с тюремщиком, переписывалась с ним, крадучись от матери. Я не помню толком, приезжал этот тюремщик или не приезжал к Любе...

Десятилетки у неё не было, классов семь. Полная была, как грузочек. В белом халате ходила, всё серу жевала – листовенную.

Болела, у неё было большое давление. Мы с ней раза два вместе лежали в больнице. Ночь настанет, для нас горе – Люба сильно храпела, она спит, а мы сидим. Она даже просилась у врача: «Переведите меня в коридор куда-нибудь». А врач ей отвечает: «Кому плохо, пусть домой идут, а вы тут будете». Тогда она сама вечером взяла вещи и ушла в коридор на кушетку, а утром в палату пришла.

Умерла Люба внезапно. У неё сердце большое было. О её смерти мы утром услышали. Ходили на похороны. Авдотья Сергеевна после этого одна жила, но недолго, немного погодя её забрала старшая дочь Анна, в Бийск».

Александра Васильевна Емельянова:

«Пришла я в ателье работать в 1975 году... Люба Байкалова тогда стояла на утюге в бригаде лёгкого платья. Я работала на массовом пошиве через стенку, это другая бригада. Стенка была тонкая, и все разговоры было слышно. Слышали и как над Любой бабы посмеивались, подшучивали. Нехорошо, зло подшучивали. А Люба, она простая, открытая была, всё принимала за чистую монету. Всё у неё бабы выпросят, а она откровенно рассказывала о своей жизни.

Вот спросят:

– Люба, однако к тебе приезжал сударь?

Она сначала скажет:

– Нет, – а потом: – Да, да, приезжал.

– Как его звать?

– Геня<sup>3</sup>.

– Где живёт?

– В Верх-Катунске. – Потом: – Нет, он с Чуйского, оказывается.

– Что, Люба, он высокий, красивый?

И она рассказывала всё откровенно. Над ней посмеивались. А она не обижалась ни на кого. А бабы раз укусят, еще раз укусят. Мария Раковская ругалась на баб: «Вы чё про себя-то не рассказываете, возьмите да расскажите про себя!»

Другая на Любином месте отругала бы, чтоб больше не приставали, а Люба бесхитростная была...

<sup>3</sup> В воспоминаниях А.В. Емельяновой, скорее всего, речь идёт о другом человеке.

*Помню, тогда ходили на уборку свёклы осенью. Сначала работали всей бригадой у одной кучи. Потом решили работать по одному. Люба была больная – сердце. Ей на свекле работать было трудно: «Я не вижу в наклон. Пока куча большая, вижу. Куча становится меньше, наклоняюсь и не вижу. Тычу ножом куда попаду».*

*Мы тогда работали с Маней Перехожевой и Ольгой Наумовой, а Ольгин муж за нами приезжал. Мы кучи брали рядом, помогали друг другу и Любе помогали, а она старалась взять кучу рядом с нами. Она даже до слёз доходила, так ей было тяжело работать...*

*Люба и разговаривала интересно, на всё у неё была присказка разная.*

*Отзывчивая была, у кого горе случится, сильно переживала за человека, искренне так горюет, как за своё».*

Такой помнят Любу Байкалову те, кому пришлось с ней работать. Однако воспоминания эти не дают полной ясности – был ли в Любиной судьбе «тюремный заочник»? Вроде бы – да, был. Но более конкретно никто из людей, знавших Л.Ф. Байкалову, ничего сказать не смог.

Несомненно, Любовь Фёдоровна Байкалова со своими чертами характера является прототипом героини киноповести «Калина красная»: открытая, простая, отзывчивая, бесхитростная, добрая, совестливая. Как и большинство героев Шукшина, Любу можно причислить к «людям с чудинкой», но, возможно, на таких и держится мир, на людях, не озабоченных какими-то корыстными целями, не думающих о сиюминутной пользе, а стремящихся хоть как-то облагородить и украсить жизнь, хотя бы тем, чтобы не кривить душой.

В данном случае не только подтверждается творческая манера Шукшина-писателя наделять своих героев именами и фамилиями реальных жителей Сросток, но и имеет место совпадение биографий, судеб и характеров прототипа и героини.

В фондах музея есть фотоснимок, где, согласно описанию, Л.Ф. Байкалова с мужем Леонидом (Алексеем?). Как сообщила Валентина Ивановна Козлова, родственница Байкаловым по мужу, этот человек жил с Любой, а потом ушёл к другой женщине, Зине Заводкиной.

Зинаида Михайловна Заводкина живёт в Бийске, но общается со сrostинскими женщинами, в том числе и со своей бывшей соседкой Казанцевой Анной Петровной. Именно Анна Петровна помогла нам собрать сведения со слов Зинаиды Михайловны:

*«Нюра Козюлина предложила его мне в женихи. Когда его Байкаловы выгнали. Он на ферме жил, питался там. А Нюра и говорит: «Вот тебе мужик». Звали его Фролов Алексей (Леонид?) Филиппович, из Рязани он. Мы с ним прожили года четыре. В Сростках. Он там нас коров, потом мы в Бийск уехали, где он работал на котельном заводе. Потом мы с ним разошлись, и он жил опять в Сростках с Марусей Поповой.*

*А Люба Байкалова познакомилась с ним по переписке. Алексей (Леонид?) был за что-то осуждён там, в Рязани, и сидел в тюрьме. Потом ему было разрешено жить где-то вдалеке от тех мест, где его осудили. На поселение отправили. Люба из Урожайного привезла его.*

*Пил он. А Любиной матери это не нравилось, и они его выгнали. Люба вскоре умерла.*

*Когда я с ним жила, мы ездили в Рязань, к нему на родину. А потом уж не знаю, куда он подевался».*

Любы Байкаловой не стало 19 ноября 1980 года. К тому времени «Калину красную» посмотрели миллионы зрителей не только в нашей стране, но и за рубежом.

*Село Сростки,*

*Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина.*

Валерий Ланин

## Стихира

\* \* \*

Только начнёшь записывать стихи –  
то воры постучат, то пуля свистнет...  
И незаписанное – в воздухе повиснет,  
светясь и оплывая, как свеча.

### Стихира

Мы, пионеры Страны Советов,  
взошли на Элом-Пут-Таим-Совт  
в верховьях Луиовыльи и Котильи,  
притоков Большой Сосьвы.  
Ветер перехватил дыхание.  
Ыджид-Болван-Из, Ичот-Болван-Из (по-хантыйски),  
Яныг-Пупыг-Нёр, Мань-Пупыг-Нёр (по-мансийски),  
горы забытых жертвенников, безлюдные сопки идолов  
остались далеко позади.  
Элом-Пут-Таим-Совт дословно:  
Вершина, где черти съели котёл клея.  
Всякое дыхание да хвалит Господа.  
Мы водрузили на Совте флаг СССР.  
Спели под гитару «ЛЭП-500».  
Ветрище перехватывает дыхание.  
Мы отступили в парму, поставили палатку.  
Шипят по-змеиному верхушки елей.  
Когда заварили чай, пришёл человек, явно не геолог.  
Он присел на корточки возле нас, протянул руки к костру.  
Наколок на руках мы не заметили.

Он сказал: тут у вас настоящий седален от юности моея.  
Мы промолчали.  
Он сказал: сегодня Святая Троица,  
Пятидесятница... Слушайте, пацаны, стихиру.

Ни один из нас даже не вякнул, мы просто окаменели.  
Он начал. Всё стихло.  
Обычное дело, чего там... ветер к ночи стихает.

Там белые ночи и свет там такой... невечерний.  
Ушёл он на Мань-Пупыг-Нёр, – ещё костёр не потух...

### **Уральскому Афону (строителям скита)**

Здесь под небом низким,  
Низким, да не близким,  
Сушат свои ризки  
Хвойные попы.  
Зелёные, кондовые  
Еловые, сосновые...  
Помазует братию  
Сам епископ кедр.

\* \* \*

Дни летят, это ветер, конечно, их гонит,  
О живущих ломая немислимой вечности твердь.  
Бьётся камень в груди.  
И как будто один в поле воин,  
Мимо, мимо проносится лёгкая на руку смерть.

### **Искушение**

Нет друзей у тебя.  
Есть враги,  
Очень близкие, –  
Им помоги.

\* \* \*

*Алексею Решетову*

Ещё я весь  
во власти прежней жизни.  
Душа как мир стара.  
Ей трудно привыкать

к родителям,  
к конфессии,  
к отчизне...  
Ещё труднее будет –  
отвыкать.

\* \* \*

Неведомый и недоступный мне  
вот-вот меня за пазуху засунет,  
иначе Страшный Суд меня засудит...  
И остаётся – миг... И длится целый век.

\* \* \*

Столпотворение сосущих землю трав,  
Где каждый стебель – верующий нерв.

Стихотворение – обычный Шестоднев,  
пред Воскресением, где смертью смерть поправ.

### **Возвращение с Нового Афона**

Испарений полуденный ток  
Над долиной змеится.  
Далеко я зашёл на восток.  
Лица,  
Гурандахта, Хасанта, Псху,  
Калдахвир, Чеохваме,  
Аудхара, Баграт, Лашкандар,  
Моква...  
Передых. Перекур. Перевал.  
Пик «Солёные Уши».  
Я стихи бормочу про Урал.  
Слушай.  
Подчерем, Торре-Порре-Из,  
Ёгра, Вишера, Чугра,  
Парма, Койп, Ауспия, Щугор,  
Колва...

\* \* \*

Я в чёрном теле. Нищий дух  
Одежды тесные примерил,  
В своё бессмертие поверил,  
Колблемое, как воздУх.



\* \* \*

Мир состоит из тел и дел  
И уравнение решает  
с неравенством.  
А двоеданка из Шатрово –  
между Тюменью и Курганом –  
к иконе Спаса прикрепила  
медальку сына за Чечню.  
И все дела.  
Ей нравится.

### **Голоса**

– Иисус растёт, а Ирод скоро сохнет. А избранный народ уйдёт в запой.  
– О Господи!!!  
– Безбожие иссохнет. И веры пыль Престол покроеет Мой.

### **Лесные новости**

Чу! птиц костистые уста:  
Твой скит спалил не супостат,  
Не молния с небес;  
Паломник шёл сквозь лес.

### **Памяти схимонахини (Конжаковой)**

Приютила собаку и кошку,  
На окошке цветы развела,  
А ужа деревянной ложкой  
Прогоняла. Святые дела.

### **Пейзаж**

Шелковистое облако слухов,  
Сновидений кочующий ад...  
Над землёй,  
Над провинцией духа –  
Закат.

## АПОЛОГИЯ СКОТИНЫ

Народ уже готов был остервениться, но Державин строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось.

*А.С.Пушкин. История Пугачёва.*

За 11 месяцев 1987 г. в области пало более 69 тысяч крупного рогатого скота, более 125 тыс. свиней, более 143 тыс. овец.

*Из Отчёта Курганского областного комитета народного контроля. Газета «Советское Зауралье».*

Азь на ферме Агропрома  
 Подрядился поработать –  
 Вывозить говно и трупы  
 Околевших там животных.  
 С каждым днём добра всё меньше,  
 Каждый день скотина дохнет;  
 Азь готов остервениться,  
 Но Державин тут как тут.  
 Он велит своим казакам  
 Стервеца в момент повесить.  
 Завопил Азь благим матом –  
 Тот и ухом не повёл.  
 И тогда сказал Азь: «Братцы!  
 Вижу, что конец мой близок...  
 Думал денег заработать.  
 Вот позарился дурак.  
 Вы меня уж так повесьте,  
 Чтоб верёвка не порвалась,  
 Ибо Азь тяжёлый нынче...»  
 Усмехнулись казаки:  
 Чует, жареным запахло...  
 Ё-моё! пожар на ферме.  
 Казачков уж след простыл.  
 Вервие перегорело...  
 Пых! и крикнул агропром.

После этого события Азь долго молился Богу, жаловался на Державина... Господь Бог вызвал обоих к Себе, усадил за стол, угостил (и я там был. – *В.Л.*) и говорит:

Я занят чужими делами,  
 И время моё – нарасхват.  
 Никто в этом не виноват,  
 Я бог, ты – Державин, он – Ланин...  
 Дай волю мне – что я такое? –  
 Задумаюсь, загрузу,  
 Чужие дела запущу...  
 Покоя не будет.  
 Покоя.

## Утро

Пора вставать,  
Пора вставать...  
Стоит – невидимая рать.  
Идёт – невидимая брань.  
Гудит – невидимая рана.  
Грядёт – невиданная рвань.  
Поёт – неслыханная Слава.

## ВЫЙТИ ИЗ КЛАССА ВО ВРЕМЯ ДИКТАНТА

Неподвижный воздух...

*Л. Н. Толстой. Набег.*

Выйти из диктанта – ближе к Истине, чем выйти из класса. Из класса выходишь за дверь, из диктанта – неизвестно за что. Из класса можешь выходить, можешь не выходить, как тебе заблагорассудится; из диктанта не можешь не выходить.

Из класса могут вывести, вынести, выволочь, выпнуть, выпихнуть, вытолкать, выбросить в окно; из диктанта никто никого не выводит, не выносит, не выволакивает, не выпинавает, не выпихивает, не выталкивает, не выбрасывает в окно.

Из диктанта можно выйти совершенно спокойно, написав его. Диктант – пишут. Сначала – пишут, потом – диктуют.

Например, пишешь: «Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскалённый воздух жаркие лучи на сухую землю».

Учительница Анна Львовна диктует: «Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскалённый воздух жаркие лучи на сухую землю».

Ты пишешь: «Тёмно-синее небо было совершенно чисто, только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками».

Анна Львовна повторяет каждое предложение три раза. Поэтому диктует: «Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскалённый воздух жаркие лучи на сухую землю».

Ты пишешь: «Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пылью: становилось нестерпимо жарко».

Анна Львовна спрашивает:

– Лаптев, ты почему не пишешь?

Ты отвечаешь:

– Разве?

Вы оба, ты и учительница, смотрите друг на друга и вроде бы ждёте чего-то ещё...

Ты можешь сказать:

– Я себя плохо чувствую.

Учительница скажет:

– Выйди из класса. Тетрадь положи на стол.

Идёт контрольная по русскому. Контрольный диктант. Выйти из класса означает вылететь из школы.

Легче решать уравнение на уроке математики, когда выходишь из уравне-

ния. Из уравнения выходишь, не думая, – ответ сходится сам собой. Диктант тоже пишешь, не думая. Только в диктанте нет ответов. В диктанте есть что-то лишнее, какой-то остаток, который не знаешь куда отнести, к какому действию...

Анна Львовна диктует: «Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскалённый воздух жаркие лучи на сухую землю».

– Лаптев, – повторяет она, дотрагиваясь до тебя. – Ты слышал, что я сказала? Выйди!

Этот остаток, это что-то лишнее есть ты сам. Выйти из диктанта можно совершенно спокойно, написав его без остатка.

Анна Львовна диктует: «Тёмно-синее небо было совершенно чисто, только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками».

Выйти из класса – дальше от Истины.

Учительница говорит:

– Кто ближе, откройте окно.

Ты пишешь: «Ближе всех – Христос...»

Ты – пишешь.

г. Курган.



Андрей Духовников

Витебская улица

Александр Шааранин

# Железная цепь со строгим ошейником

Беседы с участковым Егорушкиным о литературе

Возможно, будь тут какой-нибудь старый дзенский мастер, он бы пошел и пнул сидящего на цепи пса, чтобы всех постигло внезапное пробуждение.

*Jack Kerouac, «The Dharma Bums».*

В подвале разрушенного дома по Советскому проспекту археологами из Москвы обнаружен подросток, прикованный неким извергом на железную цепь со строгим ошейником к батарее парового отопления. Подросток и его родители до сих пор в стрессе.

*Газета «Вологодские новости» от 28 августа 1999 года, по сводкам УВД.*

**Директору средней школы № 1  
Осипову Афанасию Фёдоровичу  
от преподавательницы русского языка и литературы  
Егорушкиной Елены Павловны**

## **Заявление.**

Работая в вашей школе неделю, я постоянно вижу вас пьяным. Поэтому обращаюсь письменно. Может быть, все-таки иногда вы бываете трезвым, и до вас дойдет нижеследующее.

Во-первых: прошу обратить внимание на приложенные к заявлению четыре сочинения учеников восьмого класса на заданную мной тему «Самое яркое впечатление прошедшего лета». У вас что, над всеми новыми учителями так изощрённо издеваются? Хотя это не удивительно. Имея в вашем лице яркий пример для подражания...

Во-вторых: я устраивалась работать не в психиатрическую лечебницу, а в школу. Я педагог, а не санитарка! Поэтому прошу уволить меня по собственному желанию и как можно скорее! Иначе я обращусь куда следует. Надеюсь, вы понимаете.

В-третьих: если вы все же протрезвеете, то прошу рассказать мне, как молодому, неопытному педагогу, каким образом вам удалось сделать из школы пьяную лавочку, притон! Подозреваю, что ко всему ещё и дом терпимости!

Ответ прошу предоставить в письменном виде, так как один ваш вид вызывает у меня отвращение!

Егорушкина Е.П.  
10 сентября 1999 года.

## САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ЛЕТА

Я проснулся в полвторого ночи. Чувство необычайной по силе внутренней пустоты говорило мне, что уже всё равно... Всё равно, что спишь, что не спишь, что идёшь, что стоишь... Я заглянул в своё подсознание и увидел чёрные улицы, еле мерцающие фонари и аптеки. Следуя за своими хромыми мыслями, я оказался на улице. В круглосуточном магазине я истратил сорок пять рублей на водку. Я вовсе не злоупотребляю, и вообще мне нужно было завтра рано на рыбалку с отцом. Но когда чувство глубокого безразличия цепко держит за горло, что ещё остается делать?

Я сел в скверике, там, где церковь Иоанна Предтечи, стал курить и пить водку... Сумрак в подсознании всё сгущался, фонари с аптеками медленно валились набок, я сам чуть не упал под их давлением со скамейки. Меня вовремя окрикнул некий тип с ножовкой по металлу в руках:

– Эй, ты умеешь пилить?

– Да, я умею пилить. Я умею и пилить, и строгать... Но чувство глубокого безразличия цепко держит меня за горло, и фонари с аптеками валяются в моём подсознании в одну кучу.

– Строгать не надо. Пошли.

И мы пошли. Я помахивал бутылкой водки и молчал. Тип сказал, что его зовут Илюша. Наконец мы подошли к распиленному на три части памятнику Ленину в натуральную величину.

– Вот, пили, я уже устал, – сказал Илюша.

Я стал пилить и пить водку. Илюша сидел на асфальте, слушал, как визжит ножовка, и качал головой как тунгус.

– Илюша, ты что качаешь головой как тунгус? У тебя что – невращения?

– Нет, – ответил он, – чувство глубокого безразличия пронзает мою душу, и белая яхта в моем подсознании качается туда-сюда. Но ветра нет... Плыть некуда... И мне всё равно – пилить памятник или качать головой туда-сюда. Вот только рука устала, аж посинела, – Илюша показал синюю руку.

Тут мы заметили, что рядом стоят два мужчины, по очереди пьют что-то из трехлитровой банки и смотрят на нас.

– Хотите пилить? – спросил я.

– Нам всё равно. Мы пьем ацетон. Мы из коллегии адвокатов. Чувство глубокого безразличия овладело нашими адвокатскими мозгами, а в наших подсознаниях стоит мутный английский смог над свалкой английских каминов, – сказали мужчины, начали пилить и пить ацетон.

Потом к нам подошел зэк Фикса. Он держал на привязи печального окровавленного монстра. Мы безразлично посмотрели на них и спросили Фиксу:

– Хочешь пилить?

– Мне всё равно. Чувство глубокого безразличия режет мне глаз. Из моего подсознания вылезают монстры и ходят туда-сюда. Одного я привязал, потому что мне всё равно, что привязывать, что отвязывать.

– Вот пусть он и пилит, – сказал Илюша.

Монстр стал пилить и кровоточить. Из моего подсознания выпал фонарь и треснул монстра по лбу, прибавив ещё одну рану. Тут приехала милиция. Мы подумали, что нашей компании крышка, но милиционеры сказали:

– Чувство глубокого безразличия охватило нас. Мы ездим по городу и ищем преступников. Но нам всё равно, найдем мы их или не найдем. В подсознании у нас пусто – большая невспаханная межа.

– Тогда заберите его, – сказали адвокаты, указывая на кровоточащего монстра и распространяя смог из своих подсознаний по скверу.

Когда смог рассеялся, начало светать. И мы пошли по домам. Илюша все-таки выронил яхту из своего подсознания – она упала и сломалась. Монстры, из подсознания зэка Фиксы, печально качались на детских качелях и кровоточили. Весь сквер был усеян фонарями, обломками каминов и аптек.

А мы уходили домой... И нам было всё равно, что сидеть в сквере, что не сидеть; что идти домой, что не идти; что пилить Ленина, что не пилить.

## САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ЛЕТА

Когда всё развалено и находится в хаотическом положении, когда всё взорвано, у меня за спиной вырастает крыло. Я люблю разруху. Почему одно, а не два? Я давно улетел бы в Гренландию, если бы выросло два, не парился бы тут за партой с Лёхой-лысым. Лысый он по-настоящему, а не бритый. Это – от ума. А почему в Гренландию – вам всё равно не понять. Вы ж не разбираетесь в метафизике.

К разрушенным объектам влечёт меня не как демоническое существо. Совсем нет. Поверьте, в демонических существах нет ничего заманчивого. Они все поганные и тупые. Меня влечёт разруха с научной точки зрения, научный азарт, если хотите. Там, где происходит разрушение материальных объектов, происходит столкновение пространства и времени, возникает разрыв, через который можно увидеть – если обладать специальными знаниями и способностями – параллельный мир. Мы с Лёхой-лысым спорим: а можно ли туда войти? Я говорю – да, а он меня называет «вонючим идеалистом». Вот мы с ним и решили выбрать объект энергетически покруче, чтобы разрыв побольше был.

Сначала мы взорвали телефонную станцию, но – ни фиги. Так, обычное дело: узкий тоннель, белый свет – ничего интересного. Тогда мы решили (я первый допёр) взорвать вытрезвитель, на Петина. Позвонили ночью: типа, заложена бомба. Взрывать нужно ночью – эффект лучше. Из вытрезвителя всех эвакуировали. Совсем пьяных прямо так на землю побросали, а что? Лето – тепло. Те, кто потрезвее, – убежали. Менты матюгались, думали – розыгрыш. Когда МЧС подъезжала, мы и рванули. Вы не подумайте – никто не пострадал. Если с людьми взрывать, то это уже не разруха, а нечто другое, не имеющее к науке никакого отношения.

Дак вот, когда мы рванули вытрезвитель, эффект был удивительный, впечатление яркое. На нас дохнуло мистическим морозом Гренландии, и с Лёхой-лысым мы сделали несколько важных научных выводов. Но я излагать не буду – вы же всё равно не разбираетесь в парапсихологии и метафизике – по лицу видно.

## САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ЛЕТА

Всё лето я провел в подвале, в темноте. Один дворник держал меня там на железной цепи со строгим ошейником. Каждый день он приходил, включал свет и молча смотрел своими глазами в мои, давал кусок чёрного хлеба, а иногда лепёшку с чем-то кисло-сладким, наливал в миску воды и обливал меня керосином из бутылки, видимо, чтобы я не завшивел.

В темноте я слышал, как в земле шевелятся черви, видел фиолетовые и ярко-зелёные человеческие фигуры, они разговаривали между собой, бросали на меня удивленные взгляды и показывали в мою сторону пальцами. Вначале я этого пугался, потом привык, – пытался с ними заговорить, но они тут же исчезали.

Самое мучительное было, когда тишина превращалась в гудение. Меня всего будто сдавливало, тогда я бормотал не имеющие смысла фразы. Это помогало.

Однажды, то ли во сне, то ли наяву, я видел бесконечность. Это была огромная пустая картонная коробка, летящая в пустоте. У нее не было дна. Если бы я забрался в неё, то увидел бы, как рождаются миры, планеты, различные существа. Но я был на цепи.

Ещё я видел однажды сад и огромную голую розовую женщину, прохаживавшуюся от дерева к дереву. Когда она заметила меня, пришёл дворник, включил свет, и сад с женщиной исчезли. Дворник стал смотреть на меня и бесшумно, не размыкая губ, двигать челюстями. У меня внутри звучала нудная скрипичная музыка. Я вздохнул и плюнул ему на бороду. Дворник перестал жевать, достал носовой платок, вытер плевки и, слегка пошаркивая по земляному полу, ушёл.

Однажды я почувствовал, что превратился в большую каплю какого-то тяжёлого вещества. Я потёк по всем координатам сразу. Разбил какие-то стёкла, вышиб своей массой несколько дверей. Сколько времени то продолжалось, неизвестно. Внезапно пришел дворник, включил свет, посмотрел на меня, отцепил от батареи парового отопления и на цепи вывел наружу. Дворник привязал меня к дереву, как собаку, и ушёл.

Поэтому я хожу теперь в тёмных очках. Мне их прописал врач.

## САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ЛЕТА

Всю ночь моего отца била дрожь. Матери у меня нет. Мой отец всю ночь прожил живой рыбы. Холодной рыбы на его горячий лоб. Я не спал, отвернувшись, смотрел на обои, как Раскольников, хотя никакой старушки я не убивал.

Я тогда ещё не знал, что у моего папы белая горячка. И утром, когда открылись магазины, пошёл и купил двух аквариумных рыбок-телескопов, с такими выпученными глазами. Мне их дали в маленьком целлофановом пакетике с водой.

Когда я шёл домой, меня схватила за рубаху Маша из параллельного класса и стала быстро говорить; я ничего не понял. И хотя я знал, что это неправда, всё равно спросил:

– Опять, Машка, ты на городской свалке рылась? – Настроение у меня просто такое было.

– Ты, Жора, дурак, что ли! – уже вразумительно сказала Маша, поправила причёску и закурила. Она курила «Парламент». Вот откуда она деньги берёт на всякое такое – это ещё вопрос.

– Ты мне нужен, Жора, позарез. Пошли со мной, кое-что покажу, – сказала Маша уже серьёзно.



Мне сделалось любопытно. Я даже забыл про дрожащего, дохнувшего папу. На Маше был замечательный кожаный пиджак фиолетового цвета, и я сказал:

– Дашь пиджак поносить – пойду.

– Всё же ты, Жора, – даун. Пиджак-то женский, – ответила Маша, и мы пошли.

Мы шли мимо деревянного дома, где раньше был Клушинский магазин, а теперь – неизвестно что. Потом по улице Гоголя, где всё старые одно- и двухэтажные дома, в которых, по всей видимости, проживают наркоманы, зэки-убийцы и дешёвые проститутки. И потом оказались за Домом культуры, а теперь – психотерапевтическим платным центром. Маша указала на канализационный люк пальцем с длинным ярко-фиолетовым, в тон пиджака, ногтем и сказала:

– Хочешь пиджак поносить – открывай.

Я помялся и не без усилий открыл люк.

– А теперь лезь туда.

Ничего не оставалось, я взял пакетик с телескопами в зубы, – предварительно сделав на нём узелок, чтобы вода не плескалась, – и полез.

На самом дне я обнаружил круглый стол. Пришли четыре мужчины с рыбьими головами, одеты они были в чёрные костюмы. Один мужчина, видимо, самый главный, со щучьей головой, сказал: «Садитесь». Появились стулья, им всем побольше, а мне такой – средний. Рыбьими глазами мужчины смотрели на меня и только поправляли галстуки. В полумраке, во влажном застоявшемся воздухе, слышались капанье воды и чьи-то постанывания.

– Слушайте, мне страшно, – сказал я.

Мужчины молчали.

– Ладно, ладно. Вот у меня есть это. – Я положил пакетик с телескопами на стол. Заключённая в нем вода приняла форму прозрачного холмика, а телескопы внутри сильнее выпучили глаза и забеспокоились. Господа, казалось, заулыбались, пожали мне по очереди руку, потом подали прозрачный пакетик взамен моего, с какой-то радужной жидкостью. Низкорослый мужчина с головой окуня помог мне подняться наверх.

Маша сидела на земле с бутылкой «Джин-тоника» и курила.

– Держи, – протянул я ей пакетик с радужной жидкостью. – Что это?

Маша объяснила, что если капельку этого вещества нанести на член, то ни одна женщина не откажет, что оно бешеных денег стоит. Потом отдала мне свой фиолетовый пиджак, и мы расстались.

Я пришел домой, папы не было. Он выбрался на улицу и умер у подъезда. Соседи рассказали, как он сообщил перед смертью, что весь мир заключается в его мозгах. И потому, когда он умрет, то и весь мир умрет вместе с ним. Но это так – постскриптум.

**Елене Павловне Егорушкиной  
от директора школы Осипова А.Ф.**

**Объяснительная.**

Милая Елена Павловна! Да, я привык выпивать, работа очень нервная. Как мне удалось устроить в школе пьяную лавочку, я не помню. По поводу сочинений ничего сказать не могу. Ничего я не понял. Но уверен, что над вами никто не изде-

вається. Зачем это восьмиклассникам? Просто у них половое созревание, вот вам и кажется. Воспитательные меры... (неразборчиво), так что дом терпимости – не мой стиль.

А вы, Елена Павловна, а вы! Мне нравятся ваша фигура и голос. Бросайте вашего мужа-мента, на хрен! А я обещаю – брошу пить. Мы нарожаем детей, и вы будете их воспитывать, как захотите. Я в молодости был симпатичным, и дети у нас будут симпатичными, а это уже полдела! А у вашего мужа-мента и наследственность ментовская! А у меня гены дворянские!

А увольняться я вам не позволю, и не просите, потому что (заялпано чем-то жирным).

P.S. Тут вот пришел физрук Носов с «Рябиной на коньяке», очень рекомендую, сладкая такая и оборотов нужное количество, не то что (заялпано чем-то жирным).

И вот он мне напомнил, что у вас есть ребенок, надо полагать, от вашего мужа-мента. Но это ничего! Вы его сдайте в приют. Ни в коем случае не оставляйте с мужем. Я уже двадцать лет в педагогике и знаю, как мент ребенка воспитает. Он ему всю психику поломает. Так что уж лучше в приют. А лично мне ментовского отпрыска в своем доме не надо. Приходите одна. С нетерпением жду!

10 сентября. Осень. Афоня Осипов.

P.P.S. Дайте физруку Носову пятнадцать рублей до аванса!

\* \* \*

Участковый Егорушкин прочитал четыре сочинения на тему «Самое яркое впечатление прошедшего лета» учеников его жены Елены Павловны, объяснительную директора школы Осипова на заявление Елены Павловны об уходе, перевернул затвор табельного оружия, сунул его в кобуру, почесал колени и сказал:

– Не плачь, Лена. Сейчас я этого директора пристрелю, а детям для начала уши поотрываю. Вот, блин, писатели нашлись!

На самом деле участковый Егорушкин сам себя считал писателем. Он уже полгода трудился над приключенческим романом. Никого пристреливать и никому уши отрывать участковый Егорушкин не собирался. Он так, пошутил. Он вообще был добрым милиционером.

Елена Павловна наконец успокоилась. До слез её довел пьяный физрук Носов, который принёс объяснительную директора Осипова. Физрук Носов распространял неприятный запах и требовал пятнадцать рублей до аванса, за что получил от участкового Егорушкина в морду. И когда участковый Егорушкин вышел на улицу, то услышал, как физрук Носов протяжно воет от боли и обиды в кустах акации с ещё не опавшими листьями. Это не вызвало у участкового Егорушкина никаких эмоций. Он был полностью поглощён мыслями о прочитанном. Одно сочинение написал мальчик Петя со странной фамилией Лей. В нём он описывал свои впечатления о лете, которое провел в подвале, куда посадил его на цепь некий дворник. Это вовсе не являлось «издевательской шуткой», как решила Елена Павловна. Участковому Егорушкину было известно: недавно на соседнем участке в одном из подвалов заброшенного дома археологи из Москвы обнаружили мальчика. На шее мальчика был строгий ошейник с железной цепью, намертво прикованной к батарее парового отопления огромным замком. Бедный подросток был так плох, что плачущие родители лишь после долгих уговоров представителей органов позволили его допросить. Оказалось, что какой-то изверг (по описанию – бородачатый

мужик с метлой) хитростью заманил мальчика в подвал и, изловчившись, посадил его на цепь. Что характерно, никаких домогательств и издевательств со стороны маньяка не последовало. Он приходил каждый день, включал свет, оставлял чёрный хлеб, воду, иногда лепёшку с чем-то кисло-сладким и уходил. То же самое описывал Петя Лей в своём сочинении. И ещё характерная деталь: жертва подвергалась профилактическому обливанию керосином (от вшей).

«Так что, блин, – решил участковый Егорушкин, – всё это не просто так. Это получается не просто маньяк, а серийный маньяк», – и завернул в оптовый магазин за китайской вермишелью, где она стоила дешевле.

У участкового Егорушкина была своеобразная привычка – дёргать дверцу холодильника туда-сюда и пожирать китайскую вермишель прямо так, из пакета, сухую. Это помогало ему думать. Холодильника под рукой не оказалось, поэтому пришлось ограничиться просто пятью пакетиками вермишели по рубль девяносто. Употребив их в тиши осеннего Кировского сквера на немного загаженной голубями скамейке, участковый Егорушкин позвонил из кукольного театра, справился по своим служебным каналам о местожительстве Пети Лея и отправился туда.

\* \* \*

Дверь квартиры открыл худой и грустный чернявый поэт, любовник жены хозяина. Он так и сказал:

– Здравствуйте. Я по вашей одежде вижу, вы – милиционер. Скорей всего, участковый. А я – поэт, любовник жены хозяина. Хозяин отсутствует, и мы с его женой занимаемся любовью и выпиваем. Не хотите присоединиться? Я имею в виду не к занятиям любовью, а к выпиванию.

Участковый Егорушкин немного запутался, но взял себя в руки и проследовал за чернявым поэтом на кухню, где сидела жена хозяина, принял предложенную рюмку, почесал колено и, наконец, сказал:

– Ну, блин!

На кухне было прохладно и хорошо. В открытую форточку залетали жёлтенькие листья и падали на колени жены хозяина. Сентябрь.

Жена хозяина подтвердила, что сын её, Петя, внезапно исчез в начале лета. Искать его не стали: «мало ли, дело молодое». Так же внезапно в конце лета он появился, сказал, что болят глаза. Окулист ему выписал тёмные очки. Вот и всё.

– Как это – «всё»? – возмутился участковый Егорушкин.

– А что? – ответил вместо жены хозяина чернявый поэт. – Дальше он пошел в школу. Я ему ещё денег на новый портфель добавлял. Пятьдесят рублей.

– Вы вообще помолчите! Я с гражданкой разговариваю. Где же был ваш сын, гражданка? Что он сказал?

– Да ничего он не сказал, – снова ответил чернявый поэт, – его никто и не спрашивал. Вам же объяснили, его отвели к окулисту. Окулист выписал тёмные очки. Я на очки тридцать рублей добавлял.

– Ладно. – Участковый Егорушкин занервничал. – Гражданка, ответьте, пожалуйста, где ваш муж?

– Её муж в подвале, – ответил чернявый поэт.

Участковый скрипнул зубами, он стал терять терпение:

– В подвале? Что он там делает?

– В подвале. Что это вы на меня так смотрите нехорошо? – забеспокоился чернявый поэт. – Внизу, в подвале. А что он там делает, я не знаю.

– Самогонный аппарат он там делает! – наконец заговорила жена хозяина возбужденно. – Скотина потому что и моральный урод. Он сначала романы писал мистические – разбогатеть хотел. Не получилось. Вот теперь самогонкой хочет торговать. Посадят ведь скотину! Урода морального. Хватит уже о нём, гражданин начальник. Давайте лучше выпьем и побеседуем о чём-нибудь.

– Да, – поддакнул чернявый поэт, – например, о литературе.

Участкового Егорушкина передернуло: сегодня вечером его ожидал визит тещи, Эммы Константиновны, и долгая нудная беседа о литературе – такая уж у них была в семье традиция. Участковый Егорушкин не выдержал и перешёл на строгий, неприятный официальный тон:

– Беседовать о литературе будете без меня. Гражданка Лей, покажите, где ваш сын. И позвольте мне побеседовать с ним наедине.

Ему тут же показали и позволили.

Петя Лей сидел в своей комнате на раскладушке в позе сикха. Половину его лица закрывали темные очки. В полумраке – шторы были задернуты – его субтильная фигура отбрасывала три тени.

– Ну что, Петя, – бодро начал участковый Егорушкин, – давай побеседуем. О дворнике с бородой, о подвале, о том, почему ты скрыл от милиции случившееся и решил поведать о нём в литературной форме. Видишь, я всё знаю. Вот давай и побеседуем.

Петя покачался из стороны в сторону на своей раскладушке и тихо ответил:

– Хорошо. Давайте побеседуем. Только не об этом.

– Почему не об этом?

– Неужели вам всё это интересно? Мне уже нет. Неужели нам не найти другой темы? Например... – Петя задумался. – О литературе.

– Вот, блин! – воскликнул участковый Егорушкин. – Хватит тут мне! Ты что, не понимаешь? По городу ходит опасный маньяк и сажает детей в подвалы. А ты тут!.. А ну, хватит качаться!

Петя перестал качаться, попросил на него не кричать, поправил очки и рассказал тихим отстранённым голосом всё то, что участковый Егорушкин уже знал из сочинения.

– А в каком доме тот подвал, я точно не знаю. У нас все дома в районе, а, следовательно, и подвалы – одинаковые, – почти шёпотом закончил Петя и снова стал качаться.

– Не понимаю я, как можно взрослого парня заманить в подвал, – почему-то тихо, вторя собеседнику, сказал участковый Егорушкин.

– Дворник объяснил, что там собачка в проводах запуталась. Надо помочь её спасти.

– А вообще-то почему ты решил, что он дворник?

– У него метла была.

– Вот, блин. Как же он тебя на цепь-то посадил?

– Ну как, как! Двинул чем-то сзади по башке. Знаете, надоела мне эта беседа, лейтенант. Не зря говорят, что менты тупые, – с легким раздражением заявил Петя Лей. – Знаете что?

– Что?

– Вы идите лучше домой. Попейте кофе. Сформулируйте вопросы как следует.

– А ты?

– А я тут посижу.

Участковый Егорушкин вышел из Петиной комнаты, плотно закрыл за собой дверь и понял, что запутался.

На кухне было пусто. «Наверное, пошли любовью заниматься», – подумал участковый Егорушкин, попил воды из-под крана и вышел наружу.

На выходе из подъезда его встретил физрук Носов с бейсбольной битой в руках. Он был пьян и агрессивен:

– Ну что, ментяра? Побеседуем?

– О чём? – уточнил участковый Егорушкин и увидел двух здоровых парней, явно разделявших агрессивные намерения физрука Носова.

– А побеседуем о литературе! – сказал один парень.

– О Прусте. О Марселе. О его многотомной эпопее «В поисках утраченного времени», – вторил ему другой.

– Знаете, – хладнокровно, помня о наличии табельного оружия в кобуре, стал говорить участковый Егорушкин, – сегодня вечером у меня уже намечена беседа о литературе с одной моей родственницей. Так что...

Что именно, участковый Егорушкин договорить не успел по причине обрушившегося на его голову удара бейсбольной биты.

– Брезгуешь, значит? – уже на земле услышал он голос физрука Носова, после чего был избит до потери сознания.

\* \* \*

Очнулся участковый Егорушкин на земляном полу в подвале. Ему было очень больно. Особенно голове. В тусклом свете он различил сидящего на корточках мужчину с рыжей бородой. Воняло кислятиной и перегаром.

– Вот до чего дошли... – заговорил мужчина с рыжей бородой. – Среди бела дня людей избивают и бросают в подвал. Пить будете?

– Воды, – слабым голосом произнёс участковый Егорушкин.

– Воды нет. Только брага и самогон.

– Вот блин! Тогда – браги!

– стакан десять рублей.

Участковому Егорушкину, несмотря на боль, стало очень смешно:

– А! Вы, наверно, отец Пети Лея. Торгуете, значит, самогомом, – давась от смеха, сказал он.

– Да, – нисколько не удивился папа Пети Лея, – дак что будете покупать?

Участковый Егорушкин наконец ощутил свое тело – кости целы, табельное оружие – на месте, голова только гудела, но это ничего, а вот в карманах было пусто. Обокрали.

– Гады! Последние деньги вытащили, – пожаловался участковый Егорушкин.

– Жаль, – разочарованно пробормотал папа Пети Лея. – Значит, не будете покупать. А ведь самогон у меня – мистический. Раньше проза у меня была мистическая, а теперь – самогон. Выпьешь его побольше и попадаешь в разные мистические места. – Он вздохнул, а потом жалобно предложил: – Хорошо. Я вам дам стакан браги бесплатно, только вы со мной побеседуйте.

– О литературе? – приподнявшись на локте, настороженно спросил участковый Егорушкин.

– Нет, зачем же. О моей жене. Мне кажется, она мне изменяет. Я уж всё делал – ну, чтобы мне не казалось. Я, знаете, даже прозу писал мистическую... Я даже написал одну поэму, основанную на реальных событиях... Но меня не опубликова-

ли. Тогда я стал гнать самогонку. Может, это меня избавит от подозрений... Как вы думаете?

Участковый Егорушкин ничего не думал, – он беззвучно, из деликатности, давился смехом.

– Вижу, как вам больно, – посочувствовал папа Пети Лея. – Хорошо, давайте, если хотите, побеседуем о литературе. Например, побеседуем о Прусте.

Участковый Егорушкин прекратил смеяться и неожиданно вскочил на ноги:

– О Прусте, говорите! Нет уж, спасибо! Я пойду. До свидания.

Но уходя, он вдруг обернулся и неприятным ментовским тоном спросил:

– Интересно, а где это вы трудитесь? И кем?

– В ЖЭКе, дворником, мету. По совместительству раньше мистическую прозу писал, а теперь...

– И борода у вас, значит, настоящая? – перебил участковый Егорушкин.

– Конечно. А какая она должна быть?

– Искусственная! – зло прошипел участковый Егорушкин и, грязно ругаясь чему-то своему, внутреннему, прихрамывая, удалился.

### **Из служебной книжки участкового уполномоченного отдела милиции № 2 г. Вологды л-та Егорушкина**

#### **ТОЛИК И КНИЖКИ ЕГО МАТЕРИ**

«С Толиком я познакомился ночью на улице. Мы были нетрезвы и разговорчивы. Я дал ему свой телефон. Как-то вечером он мне позвонил и предложил двухтомник Бродского за бесценок. Я, конечно, согласился. Прибежал по указанному адресу. Вы видели дом Толика? Двухэтажный перекошенный дом с нависшим над землей балконом. На этом балконе, грозившем рухнуть, стоял Толик – лысый, маленький, очень смешной.

– Ты что, пьян? – приветствовал я его.

– Да. Заходи.

Я с трудом открыл тяжёлую грязную дверь и зашёл, в полумраке поднялся на второй этаж. В большой комнате, имевшей форму призмы, среди пустых перевернутых шкафов на пыльном полу сидел Толик и глупо улыбался.

– Принёс? – спросил он.

– Что? – спросил я, робко оглядываясь.

– Деньги!

Я протянул Толику двадцатку. Он немедленно принялся колотить кулаком по полу. Тут же прибежали какие-то бабки и продали Толику бутылку самогона. Я слегка оцепенел, но все же спросил:

– Толик, а где Бродский?

– Вот, – ответил Толик и достал из старинного чемодана толстенную книгу в бархатном переплете бордового цвета. Естественно, это не был Бродский, это был каталог. Мелким почерком в нем были записаны все мыслимые книги Земли! Все книги! Всей Земли! На всех языках...

– Здесь нет только пергаментов и рукописей в свитках. Ну и, само собой, – того, что уничтожено, чего нет вообще, – раздался голос Толика.

– Господи! Что это?

– Это каталог книжек моей матери. Есть ещё деньги?

Я протянул Толику двадцатку. Он стал колотить лбом об пол, прибежали бабки...

Я очнулся в вытрезвителе.

Вечером мне позвонил Толик.

– Ты по-испански читаешь? – спросил он.

– Нет, а что?

– Плохо, раз не читаешь. Ну, тогда на русском покупай у меня Борхеса. Пять книжек за двадцатку.

Я достал из заначки все деньги и побежал к Толику.

Он постучал рваным ботинком по полу. Прибежали бабки...

– Где Борхес? – строго спросил я.

– Вот, – ответил Толик и достал из-под дивана каталог книжек его матери – огромную книгу в бархатном переплете бордового цвета.

– Толик, Толик! Подожди! – запротестовал я. – А где твоя мать? А где все эти книги?

– Мама умерла, а книжек пока нет, – ответил Толик, глупо улыбнулся и принялся прихлебывать из щербатой чашки самогон.

– Что значит – пока?!

Толик не отвечал и зверски колотил ботинком по полу. Прибежали бабки, приносили самогон...

Я очнулся в вытрезвителе.

Вечером позвонил Толик и сказал:

– Покупай за двадцатку...

– Эй! Подожди! – заорал я в трубку. – Какого чёрта? Что вообще происходит?

– Покупай за двадцатку Беркли, но учти – на латыни.

Я прибежал к Толику и снова заорал:

– Вот! Вот последняя двадцатка! Где Бродский? Где Борхес? Где всё это?! Беркли – где?

– Потихе, – сказал Толик, глупо улыбаясь, и подал каталог книжек его матери. И опрокинул пустой стеллаж на пол. Прибежали бабки...

Мы пропили всё из моей квартиры. Осталась только кровать со сломанной ножкой. Через неделю я очнулся. Толик не звонил. Мы и телефон, и телефонные провода пропили. Просто пришла милиция, меня забрали и вот я здесь...»

– Бред какой-то, – сказал следователь, прочитав.

– Возможно. Я вас понимаю. Сам когда-то был ментом, – слабым голосом произнёс я. – Но ведь всё так и было.

– Ладно, подпишись под каждым листом и иди.

– Подождите. А Толик где?

– Пить надо меньше. Толик твой под поезд бросился.

– Господи, дак он что – мёртв?

– И очень даже сильно. Еле от рельсов отскребли. Видимо, белая горячка. Иди домой.

И я пошёл домой. Там я упал на уцелевшую кровать и так лежал три дня. Без воды (мы и сантехнику всю пропили), без еды, без сна. Лежал, пока ко мне не стали колотить в дверь и кричать:

– Открывай! Мы знаем, что ты здесь.

Я добрался до двери и открыл. На пороге стояли два мужчины в синей форме.

– Вы кто?

– Я начальник вокзала, – ответил один. – А это – начальник почты. На твоё имя пришло семь товарных составов. Быстро распишись и забирай их на фиг! Они движению мешают.

– А что в них?

– Книги всякие.

– Книги?

Сознание моё помутилось. Все книги Земли – теперь мои! Все. На всех языках. Кроме, конечно, пергаментов и рукописей в свитках. Ну и, само собой, тех, что уничтожены, и тех, которых вообще – нет...

Что касается Толика, то он бросился под один из поездов, шедших на мое имя. Несмотря ни на что, он сейчас в раю, а там ведь не нужны книжки. Разве что каталог его матери, в бархатном переплете бордового цвета.

\* \* \*

Офицеры МВД в глубине души очень несчастны. Большинство от нечистой совести, а некоторые – такие как участковый Егорушкин – от личной неприязни к Мировому Злу. Это самое Зло в их микрокосме превращается в бесконечное неделимое множество и скрывается за пределами Вселенной. На деле же оно – всего лишь кучка убогих делинквентов, дурных психопатов, больных, в общем, людей. Но осознать сей факт таким офицерам МВД не дано. Вот они и мучаются от внутреннего диссонанса.

Так считала тёща участкового Егорушкина, Эмма Константиновна, эффектно молодящаяся дама.

– Ну как? – спрашивала она у зятя. – Добился гармонии микрокосма и макрокосма?

– Не знаю, – хмурился участковый Егорушкин.

– Ни черта ты не добился! Если бы добился, давно бы пошёл к своему брату в ИЧП. На самосвале возить... Что он там возит-то?

– Навоз возит! – отвечал участковый Егорушкин и начинал звереть.

– Вот, вот. Фекалии, значит. А фекалии что в психоаналитической символике обозначают?

– Не знаю, – цедил сквозь зубы участковый Егорушкин и чувствовал, что готов пристрелить тещу.

– Деньги обозначают! Давно бы уж деньги грёб лопатой. И не жила бы моя дочь с тобой в эдакой халупе, и сигареты бы давно курил приличные, а не эту дрянь!

– Знаете что, мама!..

– Я одно знаю. Мой покойный муж пистолетом в носу не ковырял.

Далее следовал банальный скандал, а затем, после примирения, инициатором которого всегда была Елена Павловна, наступало время для беседы о литературе. На этот раз тема, которую обычно заявляла Эмма Константиновна, была следующей: «Почему Кафка боялся своего тела, и как это повлияло на мировой литературный процесс». Участковый Егорушкин хмурился, слушал хриплый голос Эммы Константиновны и, не ощущая вкуса, жевал домашнюю выпечку с маленькими яблочками – китайкой. Выпечка была делом рук Эммы Константиновны. Под окном у неё росла яблоня с китайкой, поэтому яблочки никогда не переводились в жбане на балконе. Эмма Константиновна сама их не употребляла, а использовала в приготовлении выпечки, которую



непрерывно таскала с собой, когда ходила к кому-нибудь в гости. Экономно и культурно.

У участкового Егорушкина тупо болела голова. Ему было жалко себя. На его избитую внешность ни жена, ни тёща не обратили внимания. Последняя небрежно бросила: «Полюбуйся, дочь! Опять твоего напинали!» На что участковый Егорушкин возразил: «Почему опять? И почему напинали? Меня бейсбольной битой били!» Но в ответ удостоился лишь презрительной усмешки.

Свой приключенческий роман участковый Егорушкин писал при помощи «Ицзин». Втайне от жены он ночами запирался на кухне, пожирал китайскую вермишель, дергал дверцу холодильника, подбрасывал монетки и по выпавшим гексаграммам строил перипетии и сюжетные ходы. Дописав роман до половины, участковый Егорушкин не без торжественности предал свой труд на суд Эммы Константиновны. И сейчас он слушал беседу о Кафке, не перебивая, – терпеливо ждал вердикта: быть его роману участником мирового литературного процесса или же просто блеснуть и сгинуть в мейнстриме...

Эмма Константиновна работала в театре гримёршей, там-то она и научилась изредка эпатировать слушателей нецензурной бранью. На этот раз она не упустила момента:

– Да-к вот, Лена. Ладно – Кафка. А то ведь и твой чумоход кое-что написал, вместо того чтобы деньги зарабатывать! Вот, блядь, уёбок, постмодернист хуев!

Участковый Егорушкин дернулся и переменился в лице. Эмма Константиновна достала рукопись его романа и продолжила:

– Вот послушай, Лена, что он тут пишет. Наугад читаю: «"Это конец", – подумал майор. И правда, это был конец, он опоздал. Мутанты окружили майора. Один, самый мерзкий, с десятью зубастыми головами, росшими из пальцев, попытался схватить майора за ухо». Так, вот ещё: «Изгнание упадка не вышло. Её кишки падали на белый кафель, радужно переливаясь в лучах зари. Но это было лишь начальная трудность». Джойс чуханый выискался! Что скажешь, Лена?

Елена Павловна ничего не сказала, она громко ойкнула и так и осталась сидеть с приоткрывшимся ртом и круглыми глазами.

– Это ещё ладно, – не унималась Эмма Константиновна. – Вот ещё, наугад: «Сопли у подвешенного к потолку человека-сунса были ядовиты. Одна из них упала на руку майора и прожгла её до кости. Майор стерпел и лишь мужественно скрипнул зубами». Да-а... Это уже не смешно.

Никто и не смеялся. Елене Павловне стало даже страшновато – не ожидала она, что отец её ребенка пишет вот такое. А участковому Егорушкину стало невыносимо горько. Он встал со своего кресла, подошёл к Эмме Константиновне, взял у неё рукопись, аккуратно сложил её стопочкой, положил в служебную папку и как можно бесстрастнее произнес:

– Я давно хотел сказать, Эмма Константиновна, что наш сын вас боится. Говорит, что вы накрашенная баба-яга. Когда вы к нам приходите беседовать о литературе, мы его оставляем на ночь в садике.

– Ну и что? – искренне удивилась Эмма Константиновна. – Ребёнок свободен в оценке людей. Тем более кровных родственников.

– А ещё, – добавил участковый Егорушкин, направляясь к выходу, – ваша выпечка кислая и невкусная.

– Придурок! – раздалось ему вслед. – Она кисло-сладкая!

Но участковый Егорушкин уже захлопнул за собой дверь и этого не слышал.

\* \* \*

Физрук Носов проснулся от звонка, открыл дверь и тут же получил в морду. Участковому Егорушкину не составило труда найти его местожительство. Очнувшись на полу, физрук Носов увидел сначала удивлённую морду мастифа Музиля, хозяином которого он являлся, а потом строгого, но в то же время отчего-то грустного участкового Егорушкина.

– Ну что, блин, физрук Носов, – сказал участковый Егорушкин, – побеседуем о литературе?

– Я не против, – ответил физрук Носов, не вставая с пола, – только у меня водка кончилась. Разве что занять у кого? Или продать чего?

– У меня, физрук Носов, принцип: денег не занимать, – ответил участковый Егорушкин.

Они продали футбольный мяч физрука Носова с автографом вратаря Мышкина и очень сильно напились. Участковый Егорушкин читал отрывки из своего романа, а физрук Носов плакал. То ли от чувств, то ли ему просто было жалко мяч. В минуты просветления участковый Егорушкин говорил:

– Я тебя, физрук Носов, блин, всё равно посажу за организованное нападение на служителя Закона, то есть на меня.

– Не сади! Прости дурака! – жалобно просил физрук Носов, а мастиф Музиль подвывал и пускал слюни.

– Хорошо, – соглашался участковый Егорушкин. – Не посажу. Потому что мне твоего пса жалко. Вон как он к тебе льнет. Но ты, физрук Носов, должен помочь мне поймать маньяка.

– Это не пёс. Это собака. Я помогу. Мне только его приметы нужны. Опиши их.

Участковый Егорушкин описывал приметы. Медленно приближалась ночь. Когда четвёртая бутылка была допита, физрук Носов и участковый Егорушкин взяли железную цепь со строгим ошейником, собственность мастифа Музиля, и пошли ловить маньяка.

*Вологда.*

Фёдор Яковлев

## Бомж-маньяк

1

Тот день был необычным с самого начала. Проснувшись, Илья Семёнович не ощутил привычного сожаления об отнятом сне, оборванном так резко и бесцеремонно. Прежде чем утрата сна была осмыслена, импульс радости от сиявшего на небе солнца помог вскочить без всякого усилия. Первым побуждением было лицезреть источник радости, но вместе с солнцем в расчехлённое окно проник образ мусорных контейнеров и копающегося в них бомжа.

Кому-то может показаться неправдоподобным такое соединение солнца и помойки, но у нас не Париж и не Петербург с их мрачными колодцами-дворами, так что контейнеры находят своё место под солнцем.

«Прежде всего надо вынести кусок хлеба голодному человеку», – решил Илья Семёнович. Он был несколько наивен и не совсем отчётливо представлял, что в мусоре, как правило,

роются не в поисках съестного, а в поисках бутылок. Как бы то ни было, совершив водные процедуры и облачившись соответственным образом, Илья Семёнович направился на улицу, прихватив изрядную горбушку чёрного хлеба.

К счастью (или к несчастью), этот (а может, уже другой) бомж был на месте.

– Возьмите, – сказал Илья Семёнович, протягивая ему хлеб в полиэтиленовом пакете.

– Пардон? – спросил бомж, не делая ответного жеста.



В оформлении использованы детские рисунки 1950-х годов

Рука Ильи Семёновича опустилась, а неловкость ситуации заставила его взглянуть в лицо бомжу, неумытое и небритое. Но в глазах сквозь мутность похмельной заспанности проглядывали паническое замешательство и лихорадочная работа мысли. Илья Семёнович был смущён и поражён такой бурной реакцией на своё невинное обращение.

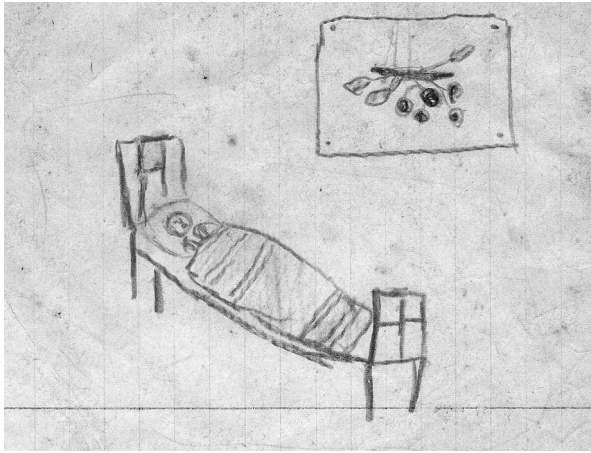
– Извините, – пробормотал он, собираясь уйти.

– Минуточку, – уверенно и раскованно произнёс бомж, и его сильный голос не вязался с интонацией коммуникабельного человека. – Простите, как вас зовут?

«Попросит денег?» – мелькнуло в голове у нашего доброхота. Он похлопал себя по карманам, давая понять, что там ничего не звенит. Бомж досадливо поморщился. И опять слишком заметно было несоответствие между этой гримасой и тем зачичканным лицом, на котором она появилась.

– Эдуард Андреевич. – Бомж непринуждённым жестом протянул руку.

– Илья Семёнович... – Чумазая рука была принята не без внутреннего содрогания, с тайной мыслью: «Чесотка? Педикулёз? Гепатит?..»



– Вот и славненько, – рассеянно пробормотал бомж, напряжённо соображавший что-то. На мгновение Илье Семёновичу показалось, что он чувствует на себе неумолимые объятия утопающего. В то же время в поведении собеседника не было никаких признаков агрессии и злого умысла. – Простите, что я вас задерживаю. Вы интеллигентный человек, ради бога, дайте мне минуточку собраться с мыслями. – Нужная мысль ускользала,

а Илья Семёнович проявлял нетерпение покинуть его. – Ладно, бог с вами. – Бомж махнул рукой, но в его лице при этом выразилось такое отчаяние, что у Ильи Семёновича не хватило духу ретироваться, не выяснив, в чём тут дело.

– Я не спешу.

– Благодарю. У меня в голове крутится сразу несколько просьб к вам... Я так растерян, что не могу ни на чём остановиться, поэтому перечислю все. Первая. Взглянуть свежим взглядом на мою ситуацию и дать мне совет. Вторая. Съездить к моей секретарше, объяснить положение, в котором я оказался, и попросить помочь мне. Третья. Съездить к моей жене с той же самой целью.

Илья Семёнович опешил. Одно дело – вежливый общительный бомж. Чего на свете не бывает! Другое дело – бомж, у которого есть жена и секретарша. Чтобы не отвечать молчанием, он сказал:

– Совета просят у специалистов. В остальных случаях предпочитают давать советы, а не принимать их. Вы уверены, что я специалист по проблеме, вызвавшей у вас затруднение?

– Проблема такого рода, что специалистов по ней не существует, а значит, все люди – ценные специалисты.

– Насколько я понял, вы ожидаете от меня совета, исключающего вторую и третью просьбы?

– Именно.

– То есть вы не уверены в разумности и целесообразности этих просьб?

– К сожалению.

– Тяжёлый случай.

– Наконец-то это до вас дошло, – не смог сдержать своей досады бомж.

– Я вижу, вам хочется сформулировать просьбу, не вводя меня в курс дела, и вы никак не можете сделать этого, – последовал ответный укол со стороны Ильи Семёновича.

– Вы правы, но причина этого не в моей скрытности и недоверии к вам. Я сам ничего не могу понять. Да и бесполезно рассказывать, что со мной произошло. Всё равно вы не поверите.

– Однако нельзя без конца кружить вокруг да около. Попробуйте.

– Дело в том, что вчера я уснул в своей постели. А сегодня проснулся в буквальном смысле под забором, с головной болью, ломотой в костях, ноющими печенью и сердцем, грязный и одетый в какие-то затасканные обноски.

– Вы хотите сказать, что вчера ещё не были бомжем?

– Я и сейчас не бомж. Моя квартира не испарилась и прописка никуда не исчезла.

– Вы вчера сильно перебрали?

– Вчера я лёг в свою постель совершенно трезвый.

– Вы сказали, у вас есть жена? Выходит, это её проделки?

– Уж не думаете ли вы, что меня во сне испачкали, переодели в отрепья и отнесли под забор?

– А у вас есть другое объяснение?

– Я делал деньги из воздуха, чересчур увлёкся этим, и бог наказал меня.

Илья Семёнович засмеялся.

– Может быть, вам покажется смешным и то, что я стал меньше ростом, у меня чужие руки, чужие ноги? Я не смотрелся в зеркало, но чувствую, что у меня чужие зубы, чужие губы, чужие щёки.

– Вы меня пугаете.

– Давайте только без этого самого, – сказал бомж, покрутив у своего виска пальцем.

«Как раз это и есть, – подумал Илья Семёнович. – Но он, слава богу, не буйный. Интересно, что скажет он, посмотрев на себя в зеркало?»

– Давайте я схожу за зеркалом. Может быть, ваши опасения по поводу своего лица окажутся напрасными.

– Если бы у меня имелась хоть капля надежды на то, что я сохранил своё лицо, я первым делом побежал бы искать зеркало, а не затруднял вас просьбой съездить к моей секретарше. Узнаваемое для неё лицо позволило бы мне самому объясниться с ней даже в этой одежде.

«Интересно, куда направит меня этот сумасшедший? – подумал Илья



Семёнович. – В любом случае это неплохая развязка для нашего странного знакомства». А вслух произнёс:

– Как вам будет угодно. Я к вашим услугам.

– Запомните или запишете? – И бомж назвал адрес какой-то финансовой конторы под громким названием Банкирский дом «Достигаев и другие». – Секретаршу зовут Ирина Васильевна. Но вы не похожи на нового русского. С такими она не очень церемонится. А ведь в двух словах изложить своё дело вам не удастся...

– Чего вы хотите от неё? – перебил Илья Семёнович.

– На первое время мне достаточно убежища, где бы я мог помыться, переодеться, похавать по-человечески и прийти в себя.

– Не хило.

– Если бы вы знали мой капитал, такое желание не показалось бы нескромным.

– Так-то так, но ведь сами вы не решаетесь идти с этой скромной просьбой, а посылаете меня.

– Вот я и хочу подсказать кое-что, чтобы облегчить вашу задачу. Скажите ей, что она срочно понадобилась Эдуарду Андреевичу, который прислал вас за ней. Скажите, что ситуация настолько пикантная, что тратить время на объяснения не приходится. Садитесь на кольцевой трамвай и катайтесь до тех пор, пока не сумеете убедить её в том, во что сами не верите.

– Легко сказать. Признаться, во время разговора с вами у меня появлялось желание улизнуть. Если и у неё появится такое желание?

– Скажите ей, что никто кроме меня не может знать всех деталей истории моих с ней отношений. Легко будет убедиться, что предьявленный ей бомж – я самый и есть.

– Привести её к вам?

– Только если не будет другого выхода. Мне не хотелось бы показываться ей в таком виде.

– Где вы будете дожидаться?

– Я постараюсь провести время в окрестностях этой помойки, не теряя её из виду, чтобы не прозевать вашего появления. Давайте сюда ваш хлеб.

– Пойдите, а если вас уже всюю ищут, и меня сразу сдадут в руки ментов?

– Не беспокойтесь, для меня привычно появляться после обеда, не уведомляя об этом секретаршу. И знайте, что я умею быть щедрым. Вы бы ахнули, узнав, какие суммы я спускал в казино. Вы никогда не пожалеете, что оказали мне эту услугу. А если обманете... вы видите, в каком я крайнем положении... у вас могут быть неприятности...

В ответ на это Илья Семёнович только махнул рукой.

## 2

Войдя в приёмную, Илья Семёнович увидел секретаршу, сидевшую в одиночестве с телефонной трубкой в руке. Задумчиво отвернувшись к окну, она не обратила никакого внимания на его появление.

– Ирина Васильевна, – окликнул он, торопливо подойдя к столу. Встретив её вопросительный взгляд, продолжил встревоженным тоном: – Вы срочно нужны Эдуарду Андреевичу.

На лице секретарши появилось недоумение.

– Какому Эдуарду Андреевичу?

– Вашему шефу, – уже не так уверенно ответил Илья Семёнович.

– Почему же он не вызовет меня?

– Он прислал меня за вами.

– Вы шутите?

Илья Семёнович был поставлен в тупик, от этого он почувствовал раздражение.

– Что странного вы находите в моих словах?

– Странно то, что вы пришли с улицы, а Эдуард Андреевич – у себя в кабинете.

– В кабинете? Тогда... я к нему.

– Эдуард Андреевич не может вас принять.

В это время дверь из кабинета приоткрылась, и оттуда бочком, втянув голову в плечи, вышел человек холёной наружности в дорогом костюме. Он был плохо умыт, плохо причёсан, без галстука. Пиджак на нём сидел так, как будто был напылен второпях и не было времени его одёрнуть. Секретарша вскочила и бросилась к нему со словами: «Эдуард Андреевич, вы куда?»

– В туалет, – сочным баритоном, но тихонько и конфузливо произнёс человек.

– У вас там всё есть. – Секретарша взяла его за локоть и повлекла обратно в кабинет, попутно сделав знак Илье Семёновичу выйти. Последний не обладал наглостью и нахрапистостью, но удалиться сейчас – значило бы нарушить драматургию события, в которое он оказался вовлечённым.

– Вы всё ещё здесь? – вырвалось у секретарши, когда минуты через две она вернулась в приёмную. Илья Семёнович невозмутимо сидел на стуле и даже не шевельнулся, услышав её возглас. Он принял скромный вид посетителя, терпеливо дожидаящегося приёма. Ирина Васильевна поняла, что раздражение было бы проявлением непрофессионализма, и миролюбиво проворковала:

– Эдуард Андреевич нездоров. Давайте я вас запишу, завтра придёте.

– Мне позарез нужно уладить своё дело сегодня же. Дело горячее. Вы же видели, как неудачно я пошутил, войдя к вам. Так я волновался и торопился.

Ирина Васильевна испытующе посмотрела на него.

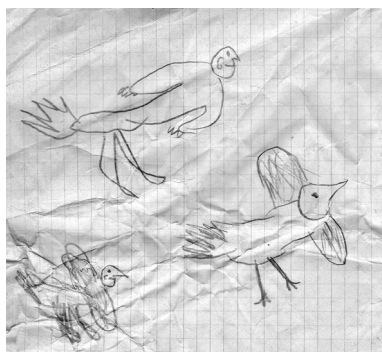
– Постойте, постойте. А не вы ли приложили руку к тому, что случилось с моим шефом? Очень уж подозрительно выглядела ваша шутка. По-настоящему мне следовало бы вызвать охрану и задержать вас.

– Вот это совсем ни к чему. Посудите сами, происшедшее с Эдуардом Андреевичем сразу получит огласку. А это не добавит престижа вашему банковскому дому. Пока же ничего кошмарного нет. Обычная психическая долорозная анестезия, от которой завтра не останется и следа. Результат переутомления. – Илья Семёнович сымпровизировал этот блеф на одном дыхании.

– Серьёзно? – не смогла скрыть радости секретарша.

– Я бы мог сказать увереннее, если бы знал, как происходил переход от его обычного состояния к теперешнему.

– Этого перехода никто не мог наблюдать. Он ложился спать совершенно здоровым, а проснулся таким, каким вы его видели. Беспомощный, напуганный, ничего объяснить не может, хотя никакого нарушения речи не было. На простые вопросы отвечает вполне разумно, только лексикон стал другим. Его жена страш-



но напугалась. Вызывать скорую помощь из психиатрической лечебницы боязно. Да и зачем, если он не буйный? Кому позвонить, с кем посоветоваться? Дело такое, что не всякому доверишься. Решила позвонить мне. Я знала за ней слабость делать из мухи слона, восприняла всё это не очень серьёзно, посоветовала привезти его сюда. Она привезла и уехала к себе на работу. А я уж и не рада, что приняла на себя такой ужас. Дала ему подписать бумагу, а у него и подпись стала совсем другая. Сижу вот, сторожу его, жду, когда жена за ним придет.

– Говорите, подпись стала другая? Это мне не нравится. Но будем надеяться на лучшее. Извините, что досаждал вам в такой тяжёлый час. Но ведь и у меня свои проблемы, для меня это происшествие тоже было до некоторой степени ударом. Персонал ничего не подозревает?

– Я всем объявила, что сегодня Эдуарду Андреевичу лучше не показываться на глаза.

– Я тоже ничего не видел и не слышал. Счастливо вам выпутаться из всех затруднений.

Выйдя на улицу, Илья Семёнович остановился в нерешительности. У мусорных контейнеров его, как избавителя, с нетерпением ждал бомж. С чем он к нему вернётся? С известием, что его последняя и единственная надежда безнадежно рушится? Что его место в прежней жизни занято? Не вызовет ли это у бомжа состояние аффекта? И на что он способен в таком состоянии? По всему видно, нрав у Эдуарда Андреевича был крутой. Не ходить к нему? Но удастся ли пройти в свой подъезд незамеченным? Да и жалко его по-человечески... Точно ли так уж безнадежно его положение? У него напористость, опыт и знания Эдуарда Андреевича. И подлинная подпись наверняка тоже у него. Неужели всё это перевешивается обликом бомжа? А что перевесит для секретарши и жены? И куда девать того заторможенного банкира? Единственно возможный способ решения таких конфликтов – обратиться в суд. А были ли прецеденты в судебной практике? И как в таких случаях применялось действующее законодательство? А как решаются подобные дела в цивилизованных странах? Слишком много вопросов, на которые нет ответа. Необходимо посоветоваться с умным человеком.

### 3

У Ильи Семёновича был знакомый профессор, сосед по гаражному кооперативу. Он придерживался новомодной в научной среде манеры время от времени перемежать свою речь эмоциональными восклицаниями, заимствованными из словаря ненормативной лексики. Автор с сожалением вынужден опустить эти полные сочного юмора комментарии профессора к собственным высказываниям: ничего не поделаешь, письменная речь, в отличие от устной, подцензурна даже при либеральной демократии.

Выслушав сбивчивый рассказ Ильи Семёновича и сразу ухватив суть дела, профессор, собираясь с мыслями, разразился длинной тирадой, какая не удалась бы ни одному пьяному извозчику. Выплеснув, наконец, отрицательные эмоции, связанные с необходимостью мыслительных усилий, он начал:

*«Чтобы понять произошедшее, вам придётся вспомнить гегелевские категории Абсолютного духа в себе и Абсолютного духа для себя. Абсолютный дух познаёт себя, отчуждая себя в нас. Взглянуть на себя со стороны он не может иначе как нашими глазами. Для этого ему необходимо каждого из нас сделать субъектом, каждому передать частичку духовности.*

*Отчуждением Абсолютного духа занимается абсолютно-духовное агентство небесной*



связи и информации, с которым каждого индивидуума связывает отдельный канал. Более точной аналогией будет не канал, а предоставленный каждому из нас номер мобильного, по которому мы подпитываемся абсолютным сознанием. Именно этот канал или номер определяет осознание каждым человеком своего «я». Из-за того, что каждый человек содержит в себе крупницу Абсолютного духа, он кажется самому себе центром Вселенной. С этого же номера каждый индивидуум передаёт в центр свои мысли и ощущения, которые для Абсолютного духа ценны так же, как для почвы ценна микрочастичка связанного азота, выработанная отдельной бактерией. Вот эти-то каналы, связывающие с центром бомжа и банкира, по невыясненным пока причинам оказались перекоммутированными.

Самым интересным для меня в вашем рассказе было то, что вы заметили присутствие в голове бомжа опыта и знаний банкира. По моим представлениям, у них должны были наблюдаться лишь признаки деперсонализации и дереализации. Видите ли, нам привычно думать, что головной мозг хранит информацию, накопленную человеком в процессе жизни. А ваши наблюдения заставляют склониться к аналогии с компьютерной сетью, сервер которой является хранилищем общего программного обеспечения и общей памяти. Так что автономность каждого субъекта в этой сети не так значительна, как принято считать. Получается, что в процессе обучения происходит не запись информации в клетках коры головного мозга, как считалось ранее, а всего лишь активизация этих клеток, тренировка их для приобретения способности обмениваться информацией с центром сознания.

Всё это очень интересно, и я с большой охотой повозился бы с вашим бомжем. Но у нас туго с финансированием. Я немедленно позвоню своему немецкому коллеге. Там с деньгами на науку не жмутся. Не сомневаюсь, что он тут же вылетит к нам и с помощью консульства займётся вашим протезе с целью переправки его в Германию. А пока я пойду к ректору, и, думаю, он выпишет энную сумму из представительских для контактов с породнённым университетом. Я сниму одноместный номер в гостинице, а бомжу, чтобы избежать пространных объяснений, вы скажете, что его сняла секретарша. Дальнейшие контакты с ним я беру на себя. У меня уже складывается в голове план нескольких психологических опытов. Мои аспиранты – толковые, расторопные и любознательные ребята. Они помогут уладить дела с его одеждой и питанием. Сейчас я провожу вас в читальный зал. Когда всё будет готово, я приду за вами. Вам останется только свести моего аспиранта с этим ходячим феноменом».

– Неужели немецкий профессор и германское консульство решатся на такую скользкую с правовой стороны затею?

– Для всего мира российские законы – это законы криминального государства. Никто их не уважает, не признаёт и не считается с ними.

– Согласится ли бомж уехать в Германию? Ведь это значит примириться с потерей своего капитала.

– Он поймёт, что у него нет шансов снова вступить во владение своим делом. А для цивилизованной юриспруденции его капитал нелегитимен.

...Илья Семёнович с аспирантом долго делали концентрические круги переменного радиуса вокруг помойки, но пересечься с бомжем им так и не удалось. Илье Семёновичу было чрезвычайно неловко перед аспирантом, а наипаче перед профессором. Утомлённый и расстроенный, вернулся он домой, включил телевизор. Его внимание привлекло следующее сообщение:

«Трагическое происшествие случилось сегодня на улице Юных Ленинцев возле Банкирского дома «Достигаев и другие». Владелец дома с женой вышел на улицу и остановился в ожидании своей машины, припаркованной в нескольких



десятках метров. Неожиданно к ним метнулся находившийся неподалёку бомж, схватил бизнесмена за горло, повалил на землю и стал душить. Женщина громко завизжала. Напуганные её визгом прохожие шарахнулись в стороны. Шофёр от волнения слишком сильно нажал на ключ и повредил замок зажигания. Пока он безуспешно пытался запустить двигатель, его хозяйка заметила, что муж уже хрипит, вспомнила про свой травматический пистолет, достала его из сумочки, приставила к голове бомжа и выстрелила. В результате выстрела бомж скончался на месте, так и не разжав пальцев. Прибывшие на место сотрудники органов правопорядка зафиксировали смерть обоих мужчин. Остаётся непонятным, почему истощённый, заурядной антропометрии бомж сумел справиться с крепким, атлетического сложения предпринимателем. По данному факту ведётся расследование. Возбуждено уголовное дело по статьям «Несчастный случай, повлекший гибель двух и более человек» и «Разжигание социальной розни».

Городские обыватели много толковали в этот вечер о том, что бомжи революционизируются и становятся опасными для людей.

*Иваново.*

## Из семейного архива

*Наша большая семья была литературной. Писали чуть не все. Мой отец, Яковлев Ананий Фёдорович (1910 – 1997), был профессиональным журналистом и историком. Мама, Яковлева (Борисова) Анна Ивановна (1914 – 1998), сочиняла стихи «для себя». Старшая сестра Вера, по мужу Евдокимова (родилась в 1935 году), выпустила несколько книжек стихов и прозы, вступила в Союз писателей России. Другие мои сёстры и братья, имевшие пристрастия к точным наукам, временами также небезуспешно предавались литературному труду.*

*В середине 1970-х годов я, будучи студентом, стал издавать – собирать, редактировать и печатать на машинке в трёх экземплярах – семейный Литературный Ежегодник. Успел выпустить шесть увесистых томов. Впоследствии возможность работать и публиковаться в «настоящих» журналах оторвала меня от этого занятия, о чем сейчас можно только сожалеть.*

*Ниже представлены два автора семейного Ежегодника – воспроизведены совсем старые его страницы и добавлены более свежие сочинения, которые могли бы войти в очередные выпуски.*

*Сергей Яковлев*

АННА ИВАНОВНА ЯКОВЛЕВА

X X X

Наш майский сад предстал передо мною —  
Одет он в лучший праздничный наряд.  
Покрты белым цветом, как фатою,  
Невестами черемухи стоят.

В раздумии хожу тропой заросшей,  
Поражена природною красой:  
Так нежно греет ласковое солнце!  
В душе моей и радость, и покой.

А в том углу, где заросли малины,  
Где тень рябины лапистых ветвей,  
Свой голос подает певец любимый —  
Вдруг засвистел, защелкал соловей.

И яблони в преддверии расцвета  
Уж источают сладкий аромат,  
И ждет моя весна свиданья с летом,  
Идет к концу чарующий парад.

И если жизнь положит мне уделом  
Покинуть старый дом и этот сад —  
Он снится будет мне в цветенье белом,  
Одетый в майский праздничный наряд.

1977 г.

X X X

Что-то прекрасное, что-то лучистое  
Нежно коснулось души:  
Вспомнились детство и реченька чистая  
В милом поселке, в глуши.

Детство всегда вспоминается солнечным,  
С узкой тропинкой во ржи, —  
Как мы с подружками, вставши ранехонько,  
В лес по малину бежим.

Пыль на дороге лежит, не вздымается,  
Плотно прижата ночною росой.  
Так хорошо по ней, мягко ступается,  
Словно по вате, ногою босой.

Речка с лугами покрыты туманом,  
Кажутся нам голубым океаном,  
На горизонте стоит дальний лес —  
Кажется он опояском небес.

*Воскресенье*

Лес уж близко, но девчонки,  
Чтобы время не терять,  
Побежали вперегонки —  
Так, что ветру не догнать.  
Пробежали, но немножко:  
Ведь в одной руке сапожки,  
А в другой — то кузовки.  
В кузовках при сильном беге  
Стали прыгать узелки.  
Что-то мамы положили  
Им на завтрак в туески?  
Был вчера какой-то праздник,  
Верно, лакомы куски.  
У Маруси и Верушки  
Мать пекла вчера ватрушки,  
У Марины пекла плюшки,  
А у Нади — колобки  
И с картошкой пресняки.

Вот увидели подружки  
Чудо-диво на опушке:  
Сколь охватывает взгляд,  
Все деревья по колению  
В море розовом стоят!

Всю опушку, словно клумбу,  
Разукрасил иван-чай.  
Будто здесь садовник умный  
Понасеял невзначай...  
Очарованы стояли,  
Все дивились красоте.  
А туда ли мы попали?  
Вроде здесь места не те...  
На пригорочке присели,  
Поделились и поели,  
И солидно, как большие,  
Похвалили матерей.  
Взяв корзинки, поспешили  
На работу поскорей.

Лес наполнен птичьим гамом,  
Всюду свист и пересвист.  
Утро ясное встречая,  
Здесь ликует каждый лист.  
К нашим ягодам заветным  
Нет тропинки полосой,  
А стоит трава по пояс,  
Вся пропитана росой.

Замолчали тут девчата,  
Разбрелись по сторонам.  
А уж спелая малина  
Красно смотрит тут и там.  
Солнце сильно пригревает —  
Ничего не замечают,  
Так старательно берут.  
На язык не попадает,  
Все в корзиночки кладут.  
От росы подошвы мокры,  
Ну да это не беда —  
И в сапожках и в ботинках  
Звучно хлюпает вода...

Вот движенья стали вялы,  
Притомились и устали,  
Да и ягод понабрали —  
Хоть и взрослому подстать.  
Зааужали подружки,  
На пригорочке сошлись,  
Оглянулись на опушку —  
Да и к дому подались.



А уж солнышко высоко  
И печет-печет до слез!  
От него не закрывает  
Тень ажурная берез.  
На дороге пыль просохла  
и пушиста и легка:  
Если чуть ее затронешь -  
Поднимает облака.

Вот бы в речку окунуться!  
Но уж близко и река:  
Стало видно луг зеленый  
И крутые берега.  
Все ж обратный путь короче,  
Хоть корзинки не легки...  
По бокам тропинки узкой  
Засветились васильки.

1978 г.

X X X

За окошком дождик,  
Смутно на душе,  
Рассветет немножко —  
Вновь темно уже.

Сиротливо бьется  
Неопавший лист.  
В опустевшем поле  
Только ветра свист.

Осень прописалась  
На свое жильё.  
Только нам осталось  
Утвердить ее...

х х х

Седина подкралась незаметно,  
В старость путь совсем уж недалек.  
Осень жизни стала все приметней,  
Все смелей ступает на порог.

Осень жизни, подожди немножко,  
Слишком рано ты ко мне пришла!  
Постучись сначала у окошка —  
Может, адрес нужный не нашла?

Ведь сейчас не горестно живется.  
Сколько дел на этой стороне!  
Ну а если умереть придется —  
Пусть родные вспомнят обо мне...

1977 г.

п. Судиславль,  
Костромской обл.

Воскресенье

ВЕРА АНАНЬЕВНА ЕВДОКИМОВА

х х х

В старых кадрах – быль, а не игра.  
Перебежки, взрывы, тишина,  
Пот на скулах, копоть от костра,  
Что зажгла чужая сторона.

В раненых снегах лежит боец.  
Отчужденность губ и боли мгла.  
Так похож... Да это мой отец!  
Что же дочь на помощь не пришла?

Вот склонилась каска над отцом.  
Санитар... И все. Других солдат  
Камера снимает под свинцом –  
Оператор в том не виноват

Пушка откатилась и молчит.  
Уцелевшим – отдых наконец...  
Диктор про Воронеж говорит,  
Под Смоленском ранен был отец.

1977 г.

## РЕКА

Когда Костромка взламывала лед,  
И гул речной врывался к нам в жилище,  
Как мне хотелось в трепетном восторге  
Бежать за бурной вешней водой  
И поглядеть, куда она уносит  
Расколотые зимние тропинки,  
Щепу и мусор, ветки и коренья.

...Безудержному детскому порыву  
Взамен приходят страхи, беспокойство,  
Когда случится в пору ледохода  
Стоять над мутной пенистой рекой.  
Скрежещут льдины, и торчком меж ними  
Темнеют бревна старые с пазами, —  
Избу подмыла иль свалила баньку,  
Жестока у рушительницы сила!  
Не за потоком, шумным и враждебным, —  
Подальше бы: не видеть и не слышать.

...Манит воды осенняя прозрачность:  
Придонные подвижные травинки  
Перебирает ласково течение,  
И кажется, рукой легко достанешь  
Жучка, что мшистый камень стережет  
На дне глубоком...

X X X

Хожено? Хожено, снобы московские!

Я не стыжусь.

Ни от Есенина, ни от Твардовского

Не отрекусь.

Вам по душе пустота с выкрутасами?

Бог вас спаси!

Чу! Просыпается муза Некрасова

В новой Руси.

Сути и боли сиротства рубцовского

Мне не избыть.

Всюду – от святости и до бесовского

Выпадет плоть...

Если случаются пустоцветения,

Короб пустой, –

Мнимое душу обрушит строение,

Рядом – не стой!

Ноябрь 2006 г.

X X X

В светлой горнице с бревенчатой стены  
Прилетают тепло-радостные сны.

Из разрозненных этюдов давних дней

Я рисую очертания корней.

А этюды – из преданий, из молвы.

С дедом, с бабушкой не встретила – увы!

И ни разу не видала их во сне,

Лишь портреты потемнели на стене.

Здесь девчонкой не топтала я траву,

Лишь на склоне лет узрела наяву –

Как прадедову березу в день Ильи

Ураганом расщепило до земли.

В дом, что дедушка сработал на века,

Приезжают внуки младшие – пока.

Но безлюдует округа, как страна.

Чистый воздух, треск цикад – и тишина...

Ноябрь 2006 г.

## ДЕКАБРЬ

Распуржилось, разметелилось, расснежилось.

Ни дороги, ни тропинки, ни лыжни.

Поглощаются сугробною безбрежностью

Укороченные серенькие дни.

Мглится во поле, и полдень — да бессолнечно.

Стежки контурно наметаны черты.

Только галки суматошно и беспомощно

Посылают мне сигналы с высоты.

Тверди снежной уж невидимые прочерки.

Шаг на ощупь. Чуть правее, чуть левой —

И в сугробы оскользаюсь. Но не хочется

Возвращаться с убаюканных полей.

И деревню не угадываю в замети.

Ни навстречу, ни за мною — ни души.

Только образы, запрошенные памятью.

Только некуда и незачем спешить.



## О ЛЮБВИ

Декабрьский заспанный рассвет.

Ознобный холод из окна.

А в памяти из толщи лет

Ожогом вырвалась весна.

Мне улыбались млад и стар.

И редко — он, душой оглох.

Тушила взгляд, чтоб не застал

Сомнения моего врасплох.

Я бормотала пустяки

В ответ на простенький вопрос.

Поток неведомой реки

На стрежне щепкою понес.

Поток — внутри, пожар — внутри.

Летала я, не чуя ног...

До самой утренней зари

Терзала скомканный платок.

Когда черемуховый цвет

Залил подножия домов,

В его глазах прочла ответ.

А мой вопрос и не готов...

X X X

Дымит знакомая труба  
За дальней кромкой елей.  
В полях — застывшая гульба  
Неистойвой метели.  
Она тропинку погребла  
В причудливых наносах.  
Луна прозрачная взошла,  
Столкнувши день с откоса  
Небесной сферы, но пока  
Вполне хватает света.  
Слегка тускнеют облака...  
Приветствую и это!

X X X

Брату Якову

На крыльце гуляют сквозняки.  
На душе ненастно и тревожно.  
Холодом повеяло с реки,  
С поля – настроением дорожным.

Он с тобой проститься не готов,  
Старый дом. Забота и отрада...  
Друг мой, сохрани свой теплый кров  
Под напором долгих снегопадов.

Август 2006 г.

## О БУДУЩЕМ РОДОВОГО ГНЕЗДА

Последний встретит предпоследнего.  
Заря расстелется в тумане.  
За скудной трапезой обеденной  
Воспоминаний не достанет.

А водопад речений истовых  
Иссякнет, времени подвластный.  
И неразгаданная истина  
Уйдет из дома встреч и счастья...

Август 2006 г.

г. Пересвет Сергиев-Посадского района  
Московской обл.

*ЛАД – важное слово в нашей жизни*

*«Вологодский ЛАД» – журнал,  
который поможет наЛАДить  
нашу жизнь*

Литературно-художественный журнал «Вологодский Лад» выходит с августа 2006 года. Он продолжает традицию журнала для семейного чтения «Лад», который издавался в Вологде в 1991 – 1994 годах. В нем печатались произведения известных вологодских писателей – Василия Белова, Александра Романова, Варлама Шаламова и других. Журнал рассказывал о литературе и об искусстве, о памятниках истории и культуры, об экологии той исторически сложившейся природно-культурной общности, которая называется Русским Севером. Несмотря на скромный внешний вид («Лад» выходил объемом всего 64 страницы небольшого формата, печатался на газетной бумаге), журнал имел широкую читательскую аудиторию: в первый год издания тираж превышал 20 тысяч экземпляров. Люди писали в редакцию письма, с одними публикациями спорили, с другими – соглашались, предлагали темы, авторов...

Но в 1995 году журнал перестал выходить – в то время предпочитали тратить деньги на издания, окупающиеся моментально: детективы, женские романы. Если издавали исторические книги, то, как правило, разоблачающие – точнее, очерняющие – российскую историю и её видных деятелей. Если печатали прозу – чаще всего то, что прежде не пропускала советская цензура.

Однако люди помнили «Лад». Многие понимали, что необходим такой журнал, говорящий о наших исконных ценностях и традициях, об истории и культуре, нашей прозе, поэзии... Было несколько попыток возрождения «Лада», удалось в 1995 году выпустить один номер, причём с цветной обложкой, увеличенного формата. Но прошло ещё десять лет, и только тогда обстоятельства позволили наладить регулярный выпуск журнала – правда, под несколько изменённым названием.

В 2006 году вышел первый номер «Вологодского Лада», который издаёт информационное некоммерческое партнерство «ФЕСТ». Изменились формат и объём, красочной стала обложка, появились цветные вклейки. Среди авторов разделов «Поэзия», «Проза», «Критика» – не только вологодские писатели Василий Белов, Ольга Фокина, Борис Чулков, Сергей Багров, Александр Цыганов и многие другие; с «Вологодским Ладом» охотно сотрудничают лучшие российские литераторы из разных краёв.

Один из основных разделов, как и в прежнем «Ладе», – «И ныне, и присно», посвященный Православию. Здесь публикуются ответы священников на вопросы о Боге, вере и Церкви, рассказы о людях Церкви, святых местах. Благожелательно относится к журналу архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан, он нередко предоставляет редакции «Вологодского Лада» свои фотографии (владыка – замечательный фотохудожник, выставки его работ демонстрировались и в нашей области, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Австрии).

В разделе «Живая память» печатаются интересные мемуары, свидетельства – и о Первой мировой войне, и о середине XX века...

Постоянный раздел «Вологодского Лада» – «Искусство» – повествует о лучших вологодских художниках-реалистах: Валерии Страхове, Жанне Тутунджан, Владиславе Сергееве, Александре Савине...

Такой журнал – визитная карточка Вологодской области. Редакция старается делать его красивым, ярким – без аляповатости, популярным – без примитивности, научным – без занудности, элитарным – без снобизма.

«Вологодский Лад» – журнал, который может помочь наладить нашу жизнь: глядя в прошлое, думая о будущем, учитывая реалии настоящего.

## «БИЙСКОМУ ВЕСТНИКУ» – 5 ЛЕТ

В 2003 году вышел первый номер альманаха «Бийский вестник». Тогда это издание воспринималось многими как одно из многочисленных, которые то возникают, то пропадают в небольших городах вроде Бийска. Этакая «потаённая, сокровенная провинциальная мечта» о Нью-Васюках.

Однако пять лет прошло, а «Бийский вестник» живёт. За это время в свет вышло 18 номеров, на страницах издания успело погостить более 150 авторов. Самых различных. Историки, краеведы, литераторы...

Как отметил обозреватель «Литературной газеты» Борис Лукин, здесь органично соседствуют «известный Владимир Башунов и молодой Дмитрий Чернышков». Быстро расширяется и география издания: Бийск, Алтай, Томск, Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Псков, Кубань, Сыктывкар, Екатеринбург, Москва...

За это время выработалась основная концепция альманаха. Он стал более интересным по содержанию, более целенаправленным по подбору материалов. Не случайно сегодня о «Бийском вестнике» серьёзно говорят многие ведущие ученые и писатели страны. По результатам 2006 года альманах был признан одним из самых видных новых региональных изданий и награждён Почётной грамотой Правления СП России «За бережное отношение к русскому языку».

Материалы, публикуемые в «Бийском вестнике», настолько разнообразны по своей тематике и по охвату различных сторон нашей жизни, что подшивка альманаха уже сегодня становится, как заметил один из авторов – историк Александр Старцев, своеобразной энциклопедией жизни города, края, Сибири...

«Бийский вестник» – это ещё и повод к общению с интересными людьми. По приглашению редколлегии альманаха, Бийск посетили с творческими визитами писатели Александр Казанцев из Томска, Сергей Донбай из Кемерова, Юрий Перминов из Омска. Все они не только авторы, но и хорошие друзья альманаха, а последние двое с этого года – члены редакционной коллегии. Эту серию встреч с писателями Сибири и России редколлегия и руководство Бийского отделения Демидовского фонда намерены продолжить под девизом «К 300-летию Бийска».

С этого года администрация Бийска изыскала возможность оказывать альманаху не только моральную, но и существенную материальную поддержку, взяв на себя значительную часть расходов на его издание. Это позволило улучшить качество полиграфии, сделать цветную обложку и иллюстрации. Надеемся, что такое заинтересованное отношение руководства города к «Бийскому вестнику» сохранится и преумножится в дальнейшем. Ведь уже сегодня альманах становится своеобразной визитной карточкой города.

## МНОГОГОЛОСИЕ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

*Жизнь можно унизить, искалечить, исказить, в конце концов отнять, но пока она есть, даже в самом последнем углу, на исчезающе малом пространстве последней свободы, она полна собой: своей мыслью, любовью, надеждой, своей единственностью, своим цветом.*

*И.А. Дедков*

**Р**усская общественная мысль, о которой иногда говорят почему-то в прошедшем времени, не отошла в прошлое. На деле это живой непре-секающийся процесс, выдвигающий вперед всё новые идеи и фигуры. Общественную мысль в России невозможно подменить партийными программами или популярными нынче “технологиями”, имеющими дело с обезличенными массами людей. Она традиционно обращена к человеку, его внутреннему миру, возможностям его самосовершенствования и связывает воедино вещи, казалось бы, несоединимые: политику и нравственность, быт и эстетику, экономику и народные идеалы.

На огромных просторах России течёт своя жизнь, далёкая от столичной, идёт напряжённая и вполне оригинальная мыслительная и творческая работа. Об этой работе мало что известно. Важно знать историю идей, произрастающих на отечественной почве. Но не менее важно знать, над какими «проклятыми вопросами» бьются сегодняшние наследники русской общественной мысли, наши с вами современники. Видеть их лица.

**ИМЕННО ЭТОМУ СЛУЖИТ НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «ПИСЬМА ИЗ РОССИИ».**

Ещё одна задача журнала – положить начало литературной летописи народной жизни последнего двадцатилетия, времени радикальных переворотов и катастрофических сломов, горестными масштабами сравнимых только с революционными десятилетиями начала XX века. С каждым днём уходят подробности. Важно зафиксировать жизнь в её сегодняшней и недавней подлинности, не пропустив ни одну человеческую трагедию.

**ПО ЗАЯВКАМ БИБЛИОТЕК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!**

(Доставка – за счет получателя.)

*Шлите нам статьи, очерки или эссе, стихи, рассказы, повести, просто письма. Наиболее интересные произведения и мысли появятся на страницах очередного номера.*

*Рассматриваются произведения любых жанров объёмом не более 4 авторских листов (1 авт. л. = 40 тыс. знаков). Рукопись должна быть набрана на компьютере и прислана по электронной почте ([sayakovlev@yandex.ru](mailto:sayakovlev@yandex.ru)). Принимаются иллюстрации (рисунки, графика) и документы, представляющие художественную ценность либо имеющие общественное значение.*

**ДОСТОИНСТВО РОССИИ, ОСМЫСЛЕННОСТЬ РУССКОЙ ЖИЗНИ –  
ДЕЛО ВАШИХ УМОВ И ТАЛАНТОВ!**



